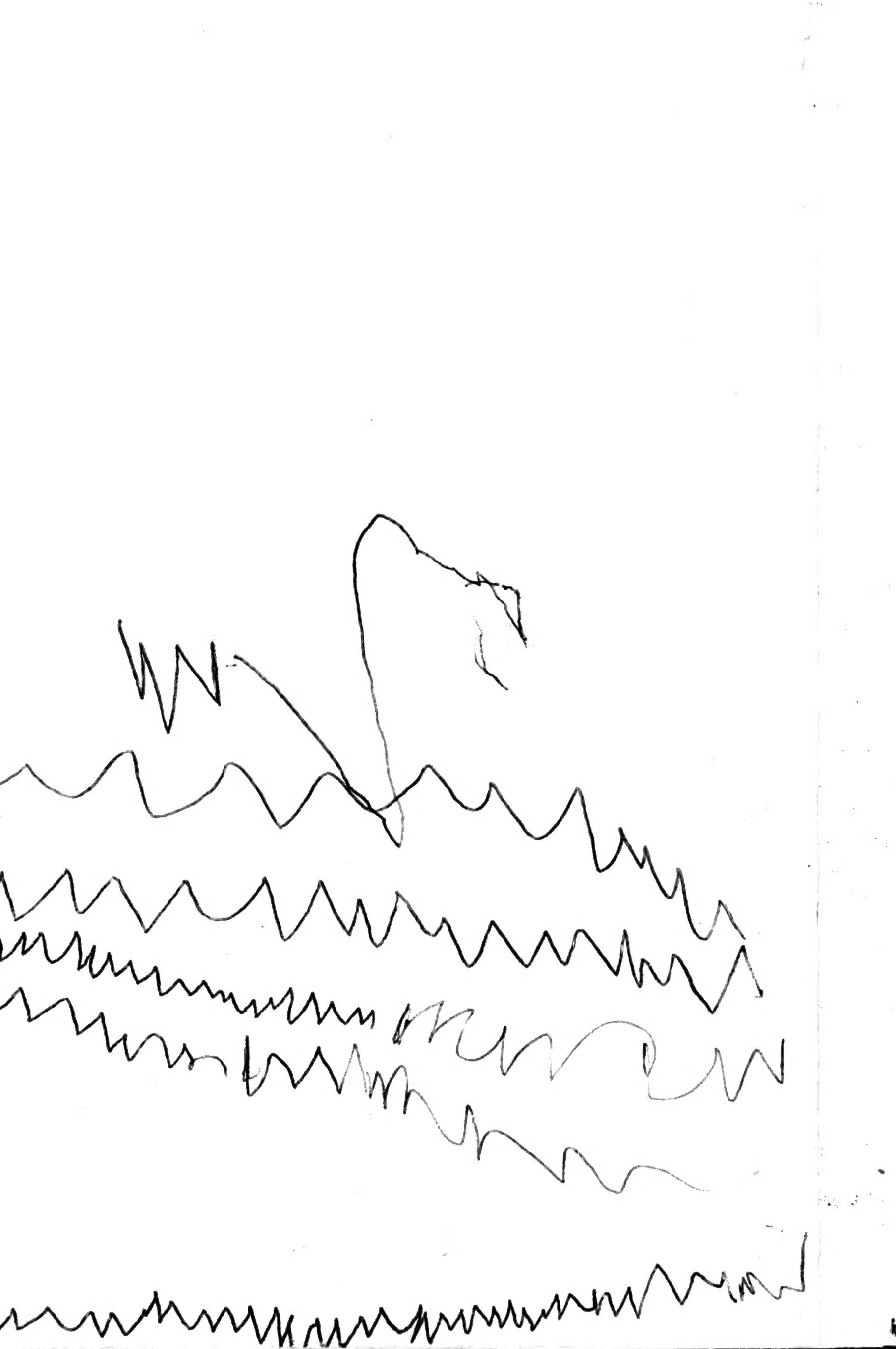
А. Леднев

Парни нашего двора



Анатолий Леднев

Парни нашего двора

Роман

«Современник»
Москва
1978

Р2
Л39

Леднев А. Ф.

Л39 Парни нашего двора. Роман. М., «Современник», 1978.
352 с. (Новинки «Современника»).

Эта книга о становлении и формировании характера в переломный период жизни человека — период юности.
О поиске своего места в послевоенном мирном времени вчерашнего солдата-победителя.

Л $\frac{70302-152}{М106(03)-78}$ 37—78 Р2

Часть I

Глава первая

Долгожитель-вяз, в черствых корявинах коры, сторожем прикорнувший у ворот, стоит и поныне, только с каждой весной все заметней в его шатровой кроне оголенные сучья. Как не глубок стрежневой корень, а древность, видать, сказывается.

У каждого двора своя, особенная физиономия, что-то не броское, но присущее ему. Сразу-то и не заприметишь, а вот в долгой отлучке вспомнишь вдруг, каким ты покинул этот двор, таким и привидится он.

Из двухэтажных тесовых, на каменной основе домов, с глухой кирпичной четвертой стеной — никаких радующих глаз видов. Окна скупо малы, смотрят в одну сторону — в глухую стену соседнего дома. Вроде бы и вперед смотрят, да все шабру в спину. А вот с крыши на окрестности не наглядеться! Видна стальная лента реки Самары с ажурным в три перекида мостом. Вправо лента потемнее и пошире, словно кузнецы расковали ее, — это Волга. За куртинами острова Коровьего обе ленты в одну сплетаются и вьются, серебряные, к Сызрани, Хвалынску и далее.

Не видать бы этой красотищи, но мальчишки на крышах частенько бывали: то бумажного змея запускать взберутся, то голубей шугать. Голубятников по пальцам не перечтешь! Ну а клеенных из драни да бумаги, с трещотками «самолетов» самых различных форм запускают не только мальцы. Когда держишь рукой подрагивающую бечеву «змея», и впрямь чувствуешь себя в полете.

В нашем дворе — три дома и три скамейки, по одной перед каждым. На них днем и вечерами, главным образом женская половина двора, делится последними

вестями и прогнозами. Позднее, после рабочей смены, собираются тут и главы семейств. Тогда разговор крупнеет до международного масштаба. О базарных да магазинных новостях мужики толковать не любят.

А еще позднее, когда ночь зачернит сумерки и свет в скупых окнах гасить станут, скамейки оккупируют парни с девушками, некоторые прочно — до петухов. Мест зачастую не хватает, но есть еще улица, что обрывается оврагом, а за ним — берег реки Самары, — гуляй там, если есть на то охота.

Промеж домов во дворе — сараи-дровяники, в них погреба, с ранней весны набитые снегом, для холода. У кого нет сарая с погребом, дрова и солености, картошку и прочие припасы хранят в подполье, поделенном дощатыми перегородками. Такие подполы в каждом двухэтажнике. До революции и подвалы были заселены, а после Октября приспособили их под кладовки прежние жильцы, переселившись в верхние этажи. В гражданскую в тех подвалах мать моя с бабкой красноармейцев раненых прятали от белочехов.

В знойную пору, спасаясь от духоты, дворовый люд на ночь выбирался из квартир на крыши сараев, а то просто ставили топчаны и кровати вдоль стен. Спалось на воздухе, словно в заречных лугах, сладко и весело.

В дровяниках — не только духовитые поленницы дров. Почти в каждом станок или верстак какой. Тисы, наковальни, набор инструмента.

«Дзинь да стук, стук да дзинь!» — слесарили, кузнечили свободные от заводской смены. Починяли ведра, замки мастерили, паяли примусы, точили деревянные ножки к столам и стульям. И все это не потому, чтобы зашибить деньгу. Мастеровые не шабашили, просто руки по делу зудят, выдалась минута — что-нибудь да сделай.

За взрослыми и подростки тянулись. Под стол еще пешком ходит, а с напильником в дружбе.

— Тятя подарил! — закусив губу, пиликает несмышленыш по железяке. Шмыг-шмыг носом, — глядишь, мастерит. И получается. Родитель подправляет, похваливает. Малец и рад-радешенек. А тут еще мать встрянет:

— Кормилец, господи, растет!

Как не радоваться, не заботиться! Подумаешь, что из парней и девчат нашего двора одни медники, столя-

ры да жестянщики шли? Добро бы и так, а по-разному случалось. Дед мой каменщиком был. Не помню его, в тифозном году до моего рождения помер. Второй дед — извозчик, отец — шоферил, бабка карамель крутила на фабрике, дядья — слесари, токари. Кем же быть племянникам, сыновьям, внукам? Как бы там ни было, а к зубилу, ручнику и напильнику с детства привычны. Может, кто и не стал рабочим человеком — по сей день держит ручник, тисы, пилу-ножовку. Жена его пилит — что, мол, за хлам, жилплощадь засоряешь, а он бережет и отвечает заученно:

— На случай...

И случаи выпадают. С каждым годом механизации в квартирах все больше: водопровод, канализация... Чуть чего произойди у тебя или соседа — инструмент и понадобился.

Приловчившись сызмальства к молотку да зубилу, однажды вдруг понимаешь — не обойтись без них. Исподволь народилось и созрело в человеке чувство инструмента, неуемная тяга к нему.

Времена инженерно-технического прогресса. Человек вроде бы уже не тот, не рабочий прежнего полета, у иного диплом инженера. И живет он не в том двухэтажнике с глухой стеной и скупыми окнами. Может, и не взбирается на крышу запускать «змея» и шугать голубей? Не мечтает о крыльях летчика? Нелюбы ему речки-речушки, озерки-озера? Может, и не говорит он зазнобушке, с любимой, мол, рай и в шалаше. Не построишь шалаша в современном городе.

Так вроде бы все и не так. Какой он человек, если толку в инструменте не разумеет, если нет у него того исподволь рожденного чувства, любви к земле и тяги к высоте?

Когда еще в нашем дворе каретник стоял, уходил я на завод, в свою первую рабочую смену. Мать, провожая, всплакнула. Не сказала, как еще недавно говаривала, любуясь сынишкой, что мастерил ключ к замку:

— Растет кормилец!

По тому времени каждому мальцу прочили будущность инженера, начальника, в крайнем случае — доктора или учителя, а я на завод подался. Успокаиваю мать: «Посмотри на ребят, заводскую спецовку с форсом носят, а я чем хуже?»

Пришел впервые в цех и растерялся — уши будто заклинило, шум такой. Страх. Подходит ко мне девушка, кричит в самое ухо, а я еле улавливаю, будто от нее стеной отгорожен:

— Будешь со мной работать. Браковщицей.

Гляжу на девушку, вижу: смешинки брызгами из глаз.

Только после я понял, почему она смеялась. Контролерами ОТК в цехах одни девушки, и я, выходит, не парень, а девушка, — по должности. «Не на век, — твержу себе, — такое. Приживайся и не хмурь бровей!»

Работа поначалу показалась интересной, освоился быстро: все же семь классов не за спиной, а в голове. Да плюс наша дворовая рабочая выучка.

Подходит ко мне шлифовщик-станочник клапаны для трактора ЧТЗ сдавать. Шустрый, вижу, парень. Кепчонка на левом глазу, на правом — чуб копной. «И как он смотрит?» — думаю.

А парень ящик с плеча — бряк! — в годные и мне на ухо:

— Хлебец у девчат отбиваешь?

Я смолчал. Беру привычно клапан, замеряю шаблоном стержень, еще теплый от шлифовки. Не проходит стержень. Второй беру — та же кинокомедия.

— Постой-ка, шустряк! — говорю парню. — Забери свой брак!

— Ты что мине учишь, девушка? — и улыбается, трясет чубом, кепчонку — на затылок, а рукой за локоть меня. — Работать не умеешь? Выйдем — научу...

— Выйдем, — отвечаю. Вытер я ветошью руки — в масле они, в эмульсии, и пошагал за парнем в курилку...

Вернулся я в цех с подбитым глазом. Был бы чуб — спрятал бы синяк, а я под бокс острижен. Иду по пролету и чувствую, смотрят мне вослед ребята с девчатами. словно даже слышу спиной: знай наших, подворонят!

Встал за свой стол, шаблон взял, работаю, губы кусаю, чтобы усмешку спрятать. Видят девушки—ребята, как шустряк-станочник — очи долу, нос лепехой — прошмыгнул к станку.

Поняли, наверное, не стоит проверять меня, выражаясь языком отековцев, на «твердость», на «излом» и «сжатие». Все мы были если не чубатые, то ершистые.

Скоро приелась мне «девчачья» должность. Освоил я проверку лекалами, шаблонами, на индикаторе округлость головок клапана проверял, шатунные болты, валики вентиляторов, поршневые пальцы...

Выберется свободная минута — курсирую по цехам. В кузнечном — дымно, но интересно. Здесь из прутков стали пакуют болванки клапанов. Есть цельные, а есть сварные: из двух сортов стали — хромо-никелевой и сель-хромной. Для чего это, думаю. И вникаю — стоимость клапана снижают за счет стали. Цельный дороже получается, сварной — качеством хуже.

Возьмешь поковку за стержень — шмяк о наковальню: головка отлетает. Брак. Выдержала заготовка, не видно трещин по шву — пошел клапан на механическую обработку. Из механического — в термический.

В термичке жарко, но тоже интересно. Учусь определять на глазок температуру в печи, по цвету. Определение сверяю по стрелке пирометра. Совпадает — радуюсь, словно необитаемый остров открыл.

Клапаны снова из термички — в механический, после шлифовки-полировки, опять же ко мне. Будто и не видно трещин на сварном шве, а иной стукнешь — головка прочь. Незадача. Тут и технологи, и рабочий класс голову ломают. Ну и я конечно. Какие такие тайны-секреты у металла?

Вспомнил я к этому времени, как еще в школьной столярке ножи из дерева мастерил. Решил сделать стальной нож. Благо, есть все возможности. Стали — завались. Наждаки — по всему цеху: резцы токари затачивают. Закалить — тоже все возможности, хоть в масленой ванне, хоть в соляной. И отпуск делай — пробуй. Соблазн велик! Не удержался я.

Подыскал плоский пруток стали. Попробовал на наждак. Крупные красные полетели искры с мягким потрескиванием.

— Слабоват металл. Не та сталь, — решил я. Подыскал другой пруток. Опять — к наждаку. Искра бледная, жесткая, наждачный круг сердито гудит. Поднажмешь — горит сталь, а не сдается.

«Вот это да!» — решаю я и начинаю обработку. Отпускаю в огне, кую, затем вытачиваю, закаляю, отпускаю. Точу. Нож получается, как нож, направить — и бриться можно. Но мне этого кажется мало. Испытываю нож — гнется, мягкий. Не то, — думаю. Попро-

сить совета? А для чего, скажут. Мы ножи не производим. Подумают еще чего...

Стал примечать, что мой мастер Петр Петрович поглядывает за мной подозрительно. Я в термическом нож закаливаю, не знаю уж какой вариант, а Петрович тут как тут, появляется. Трубкой дымит, вроде бы за газировкой — в термичке она в баллонах, подходи и пей.

Мастер вроде бы меня не замечает, нальет бутылочку газводы и в механический уходит. А я смикитил: опыты с ножом надо кончать. Достиг вроде бы желанного. И на «твердость» испытал, и на «излом». Испытывая на приборах, я каждый раз записывал в блокнот данные. Они менялись в зависимости от режима обработки: калки, отпуска. Научно, в общем, вел работу.

Двинулся я к проходной, вышел из цеха и остановился. А если меня задержат? Украл, скажут? Чувствую на лбу крупинки пота. А потом вдруг решаю:

— Мой нож. Я сделал! — и смело направляюсь прямо на вахтершу — пусть обыскивает. Нож-то в сапоге.

И шагу не шагнул — Петрович загородил дорогу. Попыхивает в прокуренные усы и говорит, загнав в угол рта мундштук трубки:

— Дай деталь-то. И шагай за мной. Веселей! — Я подал ему «деталь» — нож, завернутый в ветошь, и тенью поплелся за мастером через весь цех. И опять казалось, как в тот раз с подбитым глазом, все смотрят на меня. Шустряк-станочник усмехается, девчата не прячут улыбок. «Вот теперь-то тебя подворонят. Прыткий шибко».

Да, видать, кончилась рабочая карьера. Привел меня мастер к металлургу завода, к тому, что над сварными клапанами больше всех корпел, даже аппарат придумал для выявления трещин внутри детали без излома ее.

Инженер оглядел мой нож. Снял очки и спросил:

— Сам?

— Угу...

— А если тебе закажут по нарядам сделать десяток таких ножей, сможешь?

— А чего не смочь? — похрабрел я. — Запросто. Теперь я по расчету. Хоть сотню могу сделать...

— По расчету, значит. Ну, а где, интересно, расчет?

Сунул я руку в комбинезон, вынимаю блокнот. Ну, думаю, пропал...

Металлург надел очки и принялся за мои расчеты с такой серьезностью, словно научное открытие делал.

Покончив с расчетами, опять, теперь сквозь очки, поглядел на меня. Потом подошел к прибору, на твердость испытал, на другом приборе на излом проверил. Ну, теперь, думаю, на растяжение и сжатие на «Амслере» будет испытывать, была такая у нас машина. Нет, не стал. Через лупу исследовать принялся.

Петрович сидит на табурете у лабораторного стола, глаз не отрывает от инженера. Я присесть не решаюсь. Вокруг оглядываюсь. Чисто здесь, в заводской лаборатории. Приборы ярко блестят никелем, красной медью. Каких только нет приборов: и на столах-шкафах, и прямо на полу, малые и большие, на станки похожие. Есть слесарный верстак с тисками, миниатюрный токарный станок, сверлильный. Несколько наждачных установок, наверное, с разными камнями, мелкозернистыми и крупными. Термические печи — в десятки раз уменьшенные цеховые. Гальванометры, пирометры, термопары. Да чего здесь нет! Цельный завод в миниатюре. Вот бы поработать!

Инженер окончил исследование моей «детали», как назвал нож мастер, наверное, в насмешку.

— Как, Иван Иванович, деталь-то?

«Опять эта «деталь»,— думаю.

— Отличная деталь. Подойдет ваша кандидатура. Не ошибемся авось? — Инженер снял очки, а мастер аж подскочил на стуле. В глазах у старого сверкнуло.

«Ну, начнет», — подумалось мне. Вот как помог матери-то. Сразу видно, растет без отцовского догляда. В самовольстве уличен, в краже... И так далее и тому подобное скажет мне мастер, выйдем вот из лаборатории.

— Молодец! — говорит Петрович, как только мы очутились за порогом. — Будешь, брат, работать лаборантом. В одну смену. А доверие оправдаешь — в техникум пошлем. Понял?

Откуда мне было понять, что мастер заприметил во мне «рабочую жилку» — любовь к металлу, дотошность, а металлург подыскивает сметливого парня контролером на дефектоскоп, тот, что трещины внутри деталей обнаруживает.

Оказывается, за мной следили не только задиры-шустряки да улыбчивые девчата.

Началось интересное, захватывающее. Я калил образцы сталей, менял режим обработки, изменял структуру, добивался наивысшей упругости, вязкости, термостойкости. Раскрывались секреты — тайны металла.

Я нашел свою дорогу. Здесь она, на заводе. И нет у нее тупика. Со временем стану настоящим металлургом! Закончу десятый класс и поступлю в институт. Тогда мне любой металл покорится. Новые сплавы изобрету, невиданные сорта стали.

Есть у меня любимая. Девушка что надо! Познакомился я с ней при условиях несколько необычных. В городской сад ходили, случалось, не по билетам. На каждый раз где рублей наберешься? Через забор лазали. Тут-то меня и сдернула с изгороди бригадмилка. А на другой вечер я ее выручил. Хулиган напал на нее. Познакомились. Подружились.

Бегаю на свидания. Наверное, поженимся вскорости. Хожу и посматриваю на чердаки домов — где бы мезонин какой-нибудь нежилой в комнату переделать. Тогда это было обычным делом, жилья в городе почти не строили. И отыскал я такой чердак. Две боковые каменные стены даже есть, поставить четвертую, дверь навесить, оконную раму вставить — третья стена будет стеклянная — стало быть, свету больше! Ну печь-голландку, конечно, трубу. Хотел было поделиться своими планами с девушкой. Пошли мы на Самарскую бухту купаться. Там, думаю, и скажу. Только через линию железной дороги перебрались к Судоремонтному заводу — народу, глядим, у громкоговорителя, что у проходной на столбе укреплен — целая толпа.

— Война!

Страха это слово у меня не вызвало. Не понимал, почему женщины, больше пожилые, завопили, словно по покойникам, а мужчины враз похмурели. Они знали, что такое война...

* * *

Из тоннеля на перрон тянулись рабочие парни — кто с чемоданчиком, кто с небольшим мешком. Густо, толпой выкарабкивались к эшелону ребята с огромными мешками — «сидорами».

— Деревня! — усмехнулся я. Мы, то есть мать и

моя девушка с подругой, стояли у красного вагона с цифрой девять, написанной мелом на двери.

— Не знаю, чего ты от сухарей отказался? Голод не тетка, — заметила мать.

— Ничего, выдюжу. А сухари тебе да Вовке с Милкой сгодятся, — оправдывался я, ссылаясь на малых: сестренку и братишку.

— По вагонам! — пробасил чей-то голос на перроне. И начали повторять старшие вагонов разными голосами:

— Па ва-го-нн-ааа-м!

— ...Вагоааамм! — неслось в хвост эшелона.

Перрон задвигался, засопел, послышались крики женщин, вопли, словно по покойникам. Дрожь прошла по всему телу, но виду я не показывал и в вагон, как другие, не торопился.

— Ну, мама, не горюй, не грусти, — сказал я матери, и сразу мне стало не по себе. — Живы будем, встретимся, мама...

Мать смотрела на меня строго-снисходительным взглядом: мальчишка, мол, не понимаешь, что на смерть идешь. Я отлично знал, каких сил стоит ей сдерживать себя; знал, что она будет плакать дома и никому не покажет слез. Как-то неловко я обнял мать и поцеловал. Она положила свои натруженные руки мне на плечи:

— Будь здоров, сынок. Пиши, не ленись.

Руки ее, ладонь в ладонь, скрестились у меня на шее, она рывком притянула меня к груди и, трижды поцеловав, отстранилась.

Девушка, с которой я дружил, стояла тут же, и глаза у нее как-то блестели особенно.

— Ну, вот... — вздохнул я. — И простились...

Она шагнула ко мне и, не обнимая, уткнулась носом в мою еще ни разу не бритую щеку, всхлипнула, и я почувствовал ее горячие губы. И опять мне стало неловко, оттого, наверное, что мать все это видела. Поцелуй был крепким и долгим. Черная бархатная шапочка еле держалась на виске девушки, пальцы нервно сжимали какой-то конверт. Глаза ее, два голубых озерца, переполнились слезами. Я крепко прижал ее к себе и целовал, забыв, что рядом мать.

Плач на перроне не затихал, но тут же рядом лихо отплясывали, пели. Гудок паровоза — зычный, густой — на несколько мгновений заглушал все.

— Прощай, — тихо сказал я.

— Не прощай, а до свидания... — Она опять поцеловала меня.

Раздался второй паровозный гудок и почти тотчас — третий. Лязгнули буфера, эшелон медленно пошел мимо нас, я не слышал плача и криков провожающих. Девушка сунула мне в руку конверт:

— Береги себя... — проговорила она напоследок.

Я схватил конверт, вскочил на стремянку какого-то вагона, оглянулся и увидел мать. Лицо ее неестественно кривилось, слезы текли по щекам.

Я стоял на стремянке, но уже ничего не видел; я тоже плакал.

На первой же станции я перебежал в свой вагон и вскрыл конверт. Там лежала небольшая записка и фотография.

«...Я любила тебя всегда, и люблю, и никогда не забуду. Даю тебе слово: буду ждать. Милый, трудно мне писать, но и сказать я тебе не сумею то, что думаю. Но ты понимаешь меня. Прости, если я причиняла тебе обиды...».

Я бережно обернул запиской фотокарточку и спрятал ее в комсомольский билет.

До войны я не собирался стать военным, хотя военные были в моде. Каждый десятиклассник, насмотревшись таких фильмов, как «Если завтра война», норовил попасть в военное училище. А как засматривались девчата на молоденьких лейтенантов! Я тоже восхищался красными конниками, танкистами и летчиками...

Во время финской мы с товарищами решили бросить школу и пробраться на фронт, показать белофиннам, что такое ворошиловские стрелки — значок стрелка уже тогда украшал мою грудь. И по лыжам ребята нашего класса держали первенство в школе. Все было готово к побегу: лыжи, теплая и легкая одежда, вещмешки с сухарями и прочим продовольствием. Не хватало только денег на проезд, хотя бы до Ленинграда. Пока доставали деньги, наступило потепление, а на фронте — перемирие, которое закончилось миром. И опять я вместе со всеми бодро напевал:

Если завтра война, если завтра в поход,
Если темная сила нагрянет...

«Вот именно, — думал я, — если завтра эта темная

сила нагрянет, я возьму винтовку. А к чему мирное время проводить с оружием в руках? Пусть это делают те, кому охота».

Даже к предстоящей действительной я относился спокойно: пойду в пехоту, там самый малый срок службы.

Война все смешала. Я бегал в военкомат, просил, требовал, чтобы меня взяли на фронт, и меня взяли, но в народное ополчение.

Город наш к этому времени, как говорится, трещал по швам. От Москвы и Сталинграда, Харькова и Гомеля хлынули в Куйбышев потоки беженцев, вселяли их почти в каждую квартиру, в клубы, в сараи, лабазы и просто в палатки на пляже за Волгой, а когда поняли, что здесь не уместиться, потянулись беженцы — или, как их называли, эвакуированные — дальше, в Сибирь и Среднюю Азию. Положение на фронтах становилось все тяжелее.

Проводили меня на фронт, а попал я в глубокий тыл, на Дальний Восток, в небольшой город, в полковую школу. Не воевать, а служить, проливать не вражью кровь, а собственный пот.

...За короткое время мой земляк Эдик Лавров в сухую жердину превратился. Были у него часы «Сума» — хорошие часы. Понес он их повару. Обещал тот за часы кормить Эдика кашей ежедневно. Заулыбался мой земляк:

— Рядовому часы, — говорит, — ни к чему. Перекур! Становись! Подъем! Отбой! Все по особому циферблату.

Не согласиться с Лавровым нельзя было. Занимались мы по двенадцати часов и знали, что и как будем делать каждые полчаса. Но свои часы, нашего завода имени Масленникова, менять на кашу я не был согласен. Сказалось, наверное, то, что и дома-то я живота не распускал. Военная норма подошла мне в самый раз. А у Эдика мать завмагом работала, вот и сдал он на курсантских харчах. Не ноги в обмотках, а два кривых саженца, замотанные в тряпье от мороза.

Питался Эдик добавочной кашей за свою «Суму» дня три. А потом видим: стоит мой земляк у раздаточного окна, долго стоит, а повар будто не замечает его.

— Не узнает, что ли? — пожаловался мне парень.

— Где тебя узнать! Откормил!

Глаза Эдика сверкнули — не до смеху ему. Да и только ли ему — в каждой тарелке рассольник — пол-огурца, полпомидора, и ни единой звездочки. На второе две ложки каши, а хлеб? Сожмешь в ладони — глина.

Решил я помочь земляку. После занятий купил картошки. Убежали мы на летнюю кухню — там чай для всех кипятили, в топке всегда угли оставались. Разгребли золу, добрались до горячих углей и зарыли в них картошку. А тут командир полка с дежурным по части в обход пошли.

— Что это там дымится? — спросил полковник дежурного, завидев дымок из летней кухни.

А это Эдик не утерпел и на угли хвороста подбросил, он и задымил.

— Чай кипятят! — ответил дежурный. Он, видимо, нас хотел от взыскания уберечь или себя от неприятностей: не пойдет, мол, полковник проверять. А тот пошел. Его и сопровождающих я вовремя заметил. Спрятался за котел, зову Эдика: бежим, мол, пока не поздно. Но не тут-то было, разве можно бросить уже испеченную, так вкусно пахнущую картошку. Тащу я его за подол гимнастерки, а он прямо из огня выхватывает картофелины и сует за пазуху, а полковник и сопровождающие его — вот, рядом. Побежал я к казарме один, Лаврова в перепачканной гимнастерке, лицо все в саже, привели в казарму. А там уже на вечернюю поверку роту выстроили. Думалось, что не заметили меня, что Эдик был один, но нет. Отрапортовал ротный командиру полка, принял тот рапорт и пошел вдоль строя. Стою, не шелохнусь, не вижу, что и у меня руки в золе. Вернулся полковник к центру строя и спрашивает:

— Кто был с курсантом Лавровым у летней кухни?

Молчит рота, головой ни один курсант не шевельнет. Молчит и полковник, ждет, а я решаю, что делать. Откуда он может знать, что я был на кухне? Ниоткуда. А раз ниоткуда — значит, и сознаваться нечего. Вот если бы на фронт за эту картошку отправили, я бы сразу сознался. Да разве за такой подвиг наградят фронтом! Молчу.

— Значит, трус был с товарищем Лавровым?

Слова полковника словно подстегнули меня, — я вышел из строя, остановился в трех шагах от командира:

— Не трус, товарищ полковник, а я был, курсант Снежков.

Как ни прятали командиры едва заметные улыбки, я их увидел на уголках губ и в чуть прищурившихся глазах.

Лавров храбростью не отличался, но службу нес исправно. Грех — как и где только можно набить жратвой желудок, а при случае и вещмешок про запас — ему нами прощался. Да и кто был сыт тогда?

Пришло мне письмо. Прочитал я его и ахнул: моя любимая ушла добровольно на фронт. Девчата на фронте, а мы, парни, сидим здесь. Правда, сидеть нам было нелегко, но все же...

После этого письма я и совершил первую попытку «дезертировать». Смешался с маршевой ротой, но в проходных воротах военного городка был задержан. И снова попытал свое счастье. На этот раз мне удалось с маршевиками проникнуть в эшелон, но старший вагона, мой земляк, татарин с улицы Обороны, якобы для моего же благополучия, выдал меня. И я получил пятнадцать дней и ночей...

На гауптвахте отсидеть не пришлось. В ту же ночь роты первого батальона подняли по тревоге, в полном обмундировании и совершенно без вооружения, погрузили в вагоны.

Эшелон наш долго мытарили на станции, перегоняли с одного пути на другой. Только на рассвете он тронулся, но, увы, не на запад. И я загрустил.

Опять увозят меня дальше на восток. Стоит ли еще раз бежать? Может быть, смириться и ждать своей очереди? Ведь на петлицах у меня уже красный треугольник. Начальство лучше знает, где тебе быть. А если война завтра кончится и ты не убьешь ни одного фашиста, как не убил ни одного белофинна?

Вагон тарахтел колесами, скрипел рассохшимися стенами, во многих местах светился пулевыми и осколочными пробоинами — он побывал на фронте и, может, не один раз, а ты лежи здесь на нарах и жуй сухари. Чертовски обидно.

За окном уже ночь, все товарищи спят. Огня в вагоне нет, слышен только храп. Мимо открытой двери летят искры от паровоза. Путь так изогнулся, что паровоз стал виден, над трубой его черным султаном в небо клубится пронизанный искрами дым. Кружась,

отступают, словно разбегаются в темноте, лесистые сопки. Скоро Хабаровск. Здесь совсем близко граница, по ту сторону ее стоит Квантунская армия, может быть, она нападет — и откроется фронт. Но едва ли осмелятся самураи, наших здесь много. Нет, на запад мне нужно, на запад.

В Хабаровск прибыли утром. На путях стояло несколько воинских составов. Я вышел на перрон и сквозь решетчатый забор увидел привокзальный базар-толкучку. Покупать мне ничего не надо было, но я решил из простого любопытства пройтись по базару. Навстречу мне шел лейтенант, не старше меня, из тех, которых мы звали «инкубаторскими», то есть прибывшими с трех-, четырехмесячных курсов или досрочно аттестованных. Этот именно такой, он и шел-то какой-то цыплячьей походкой и тощ был, как мой земляк Лавров. Я почувствовал превосходство над ним, нас в полковой школе куда лучше выпестовали. Пока я так размышлял, лейтенант поравнялся со мной, и тут я увидел у него на рукаве красную повязку. Хотел поприветствовать, но было уже поздно: надо за три шага до встречи начинать приветствие, переходя на строевой. «Вот, — думаю, — влип так глупо, а может, сойдет?» Нет, не сошло.

— Товарищ младший сержант, — командир приложил руку к козырьку. При этом пальцы его растопырились, а ладонь по отношению к локтю выглядела далеко не прямой линией. Я не сдержал улыбки. — Почему не приветствуете старших?!

«Нашелся — старший...»

— Не заметил, товарищ лейтенант, — ответил я, ловко козыряя. Он видел мою выправку и понял мою улыбку. Белесые брови его нахмурились.

— Ваши документы!

Я предъявил красноармейскую книжку. Лейтенант долго изучал ее. В графе прохождения службы — свежая запись, а печати почему-то нет.

— Выбыли в другую часть? — краешки губ лейтенанта дрогнули, глаза несколько повеселели. «Попался, голубчик», — говорили они. — А где эта часть?

— Не знаю, — отвечая, я не лгал. — Нам не говорили, где наша часть.

— За мной, шагом марш! — скомандовал лейтенант и пошел, уверенный, что я последую за ним, а я повер-

нул к перрону. — Вернитесь, товарищ сержант! — лейтенант сразу повысил меня в ранге. Младший или старший — кричать тяжелее. Я вернулся, и мы пошли в комендатуру.

С комендантом я вел себя как положено и, кажется, понравился ему. Меня отпустили.

— Бегом, сержант. Эшелон ваш отправляется, — крикнул вдогонку комендант.

Я побежал, но состав, как говорят, хвост мне показал. Я задумался: положение серьезное, можно действительно угодить в дезертиры. Оставалось возвратиться в комендатуру и всю вину свалить на цыплячьего лейтенанта. Я уже ненавидел его и мысленно ругал, как могли только ругаться самарские грузчики да ломовики.

— Эй, младшой, никак рехнулся? Сам с собой калякаешь! — Услышал я это и все ругательства позабыл. Смотрю, подходят ко мне двое в черных кирзовых куртках и танковых шлемах.

— Не из Самары ли? — спрашиваю обрадованно, словно братьев родных встретил.

Ребята действительно оказались моими земляками. Поведал я им о своей беде, совета попросил.

— Может, с вашим эшелоном свой догоню?

— Разве через Берлин только! — улыбнулся чернявый высокий парень, старший сержант.

— Так вы на запад?

— Да, браток. На фронт. Немец к Москве рвется. Туда мы литером «А», без задержек, значит, — продолжал старшой. — Был бы ты — ну, радистом, что ли. А пехоты у нас комплект полный...

— Я разведчик. Я знаю рацию... — заторопился я.

— Какую?

— Шесть пэка, что на горбака да по сопкам дэвэка. — Пришлось мне с этой пэка за плечами по тайге полазить. Вот, думаю, и пригодилось. — А еще, ребята, я на заводе работал, на «Автотрактородетали». Клапаны, пальцы поршневые и прочее. Сам делал.

— Невелик багаж, но земляка попытаемся устроить. Двигай с нами...

— Постой, парень. Сдается, что давненько мы знакомы? Не признаешь? — старший сержант снял танкошлем. — Приглядись. Ты-то, понятно, вырос. Ведь тебя я, брат, мальцом помню. В штанишках до колен. Не

ты с Вальком Гусаковым в Уфу за маслом-мясом бегал?

— Было, — говорю и признаю. — Вы тот самый, веселый рыбак? Сергей Скалов с нашего двора?

— Он самый, брат. Почернел. Облупился. Война, брат. Ну еще раз здорово. Давай лапу — и двигаем...

Эшелон с танками на платформах стоял на запасном пути. Мы подошли к штабному вагону, и старший сержант поднялся в него. Минут десять его не было, а мне казалось: пропадает он там целую вечность. Наконец его голова показалась в проеме полуоткрытой двери, он кивнул: влезай, мол. Я расправил гимнастерку под ремнем, все складочки на спину угнал, пилотку, как положено, на два пальца от брови сдвинул и вскочил в вагон.

Вагон был разделен надвое. На одной стороне нары двухъярусные, на другой — что-то вроде канцелярии, столы и за ними — люди. Ищу глазами старшего по званию и делаю шаг к капитану, представляюсь. Капитан строго смотрит на меня, по глазам не понять, что он думает.

— Вольно, — вдруг говорит он и приглашает меня к столу, придвигает грубо сколоченный табурет. — Садись. И все, что есть, о себе выкладывай.

Я сел, вначале говорил как-то робко, нескладно. Не привык с командирами в сидячем положении беседовать.

— Но пойми, ты, голова садовая, — прервал капитан. — Тебя разыскивать станут, домой военкому письмо пошлют, родным сообщат: дезертир, мол, ваш сын... Понимаешь, позор какой! А ведь ты командир, комсомолец! Ведь и нам позор! Правильно, Скалов? — Капитан взглянул на чернявого старшего сержанта Скалова.

— Так точно, товарищ капитан, — ответил тот и щелкнул каблуками.

— Я хочу воевать! — повторил я упрямо.

— Тебе нет восемнадцати, не понимаю, как в военкомате прохлопали.

— А коль нет восемнадцати, меня и судить не будут! — нашелся я.

— Это тебе известно? На это и надеешься? — Капитан встал с табурета, вскочил и я.

— Нет, товарищ капитан. По военному времени могут и осудить. Не простят. Ну и пусть. Больше вышки

не дадут, дальше фронта не пошлют. Так или эдак, а фашиста бить придется!

— Э! Да ты вон какой, с гонором! Где в Куйбышеве-то жил?

— На Крестьянской...

— На Ворошиловской, выходит?

— Да, товарищ капитан. Рядом с Музеем Ленина...

— А где шинель? Вещи, снаряжение? — оглядывая меня, уже по-другому спрашивал капитан.

— В эшелоне. Я же не преднамеренно...

Капитан взял со стола зеленую полевую фуражку, надел ее, ладонью заправил выбившиеся из-под околыша светлые волосы и указал мне на дверь:

— Пойдем в комендатуру...

Я умоляюще смотрел на командира, и он, наверное, понял меня, подтолкнул в спину:

— Не робеть, коль в танкисты метишь!

Капитан вошел первым, я за ним. Комендант сразу заметил меня, хотя я и пытался спрятаться за широкой спиной капитана.

— А, старый знакомый! Отстал?

— Так точно!

— Вижу, что точно. — И комендант вздохнул. — Что мне с тобой делать?

— Семен Федорович, — обратился капитан к коменданту.

— Что, Евгений Александрович? — в тон ему ответил комендант.

— Парень — разведчик, немецкий знает, на рации работает. А я, ты сам знаешь, стрелка-радиста своего у тебя на станции в госпиталь положил. Давай этого парня в замену...

— Ах, вон оно что, — улыбнулся Семен Федорович. — А в трибунал сдать этого парня ты меня не попросишь, как старого друга? Не хочешь, да? А я обязан это сделать, доставить в часть на показательное заседание в полку!

— Обязан, обязан... Да мы были обязаны бить врага на его территории... — вспылил капитан.

Семен Федорович прикусил нижнюю губу, стрельнул взглядом на цыплячьего лейтенанта.

— Пройдем, капитан, ко мне, — и толкнул дверь в кабинет. В приемной комендатуры мы остались вдвоем с цыплячьим. Он пыхтел, но не говорил ни слова.

Что творилось за дверью кабинета, я не знал. Пока там шел разговор, нижняя рубаха у меня прилипла к телу, и я чувствовал, как по желобку спины крупными каплями стекает пот.

В приемную командиры вышли тоже словно из парной, но повеселевшие. Комендант взял мою красноармейскую книжку и в графу «прохождение службы» вписал: «Направляется в распоряжение танковой бригады...»

Дальше я читать не стал, сунул книжку в карман:

— Разрешите отбыть для прохождения дальнейшей службы...

— Разрешаю. Да молите бога, что вам нет восемнадцати!

— Служу Советскому Союзу! — бодро ответил я. Даже цыплячий лейтенант вскочил с места и встал по стойке смирно.

Так попал я в танкисты.

От Хабаровска танковый эшелон шел без больших остановок. Тревожно колотилось сердце, и все еще почему-то не верилось, что фронт, полыхающий огнем и металлом, уже надвигается на тебя — серо-дымный, пока еще невидимый за ясным горизонтом. Бой, к которому ты рвался, скоро грянет. И может быть, никогда ты не увидишь этой щетинистой густой тайги, то убегающей от путей, то вплотную подступающей к составу — протяни руку, и можешь пожать лохматую лапу сибирской ели.

Может быть, никогда больше не поедешь по этой дороге, где выскочи на малом полустанке, ступи на шаг от полотна — и очутишься в море сизой голубицы, черпай ладонью, словно ковшом, листья скользнут меж пальцев, а в ладони останется горсть кисло-сладких ягод.

«Не один я так думаю», — мысленно говорил я, поглядывая на товарищей. Свесив ноги, они сидели на полу открытого вагона и жадными взглядами провожали бегущую к хвосту состава землю.

Тайга вдруг сменилась широким, глазом не охватить, полем. Хлеба уже убрали, но в полях еще работали, свозили солому ближе к селу. Работали одни женщины, они приветливо махали нам. Две девушки ехали на подводе по проселку почти рядом с полотном.

Эти махали по-другому: ладонью не от себя, а к себе, и мы понимали их: желают нам поскорее возвратиться.

Уж какие сутки без останова летел и летел наш состав. Мелькали леса, поля и опять леса и поля, города и села, села и города. И везде — народ, народ. На каком-то полустанке поезд замедлил ход, у стрелок появился священник в шитой золотом рясе и благословлял, крестил каждый вагон.

Ой, велика ты, Россия! Как много людей живет на твоих просторах, сколько тружеников сейчас под ружьем, а, кажется, не поубавилось народу. Стоит проехать от Владивостока до Москвы, увидеть хотя бы то, что возможно увидеть из дверей товарной теплушки, — и в грудь вливается такое, что тебе и сам черт не страшен, не то что какой-то там фашист.

Про нас говорят, что мы, сибирские войска, — те, что остановят немца. Это слышали мы на станции, об этом толковали нам и комиссары. Мы соглашались молча, не перечили. Сибирь велика — значит, и мы великие. А Россия еще больше — значит, какие же мы?

В нашем экипаже, начиная с комбата, все волжане, только один страшина — украинец, у него и фамилия особенная, один раз услышишь — на всю жизнь в памяти — Подниминоги. Во, какая фамилия у этого украинского сибиряка! Есть среди нас люди из Сибири, но большинство — со всего Советского Союза, просто формировали наши части за Уральским хребтом, за Байкалом да Амуром-батюшкой.

Боевую подготовку как танкист я проходил только во время нашего сверхскоростного рейса, а длился он всего двенадцать дней. Комбат капитан Стрельцов лично экзаменовал меня и остался доволен.

— Вроде бы не ошиблись мы, ребята? — обратился он к членам экипажа.

— Ни, товарищ капитан, хлопец гарный! — за всех ответил старшина Подниминоги. — Вот только с вождением как? На платформе не обучишь нашему делу. А теоретически я его еще натаскаю...

Но «натаскивать» меня старшине не пришлось.

Я что? Салажонок, а ребята хлебнули лиха. Дорогой от Хабаровска до Подмосковья я многое узнал от них самих, скупо рассказывающих о себе, а больше от танкистов других экипажей.

Скалов до войны служил башенным стрелком. Под-

ниминоги, как и сейчас, — водителем у Стрельцова, а Стрельцов тогда командовал ротой. Танковая бригада стояла верстах в трех от Бреста в Южной, военном городке, к которому близко подступали густые леса, а у самой ограды поблескивало шоссе на Варшаву.

В ночь на 22 июня 1941 года рота старшего лейтенанта Стрельцова ушла в караул. В два часа ночи Подниминоги заступил на пост. Поеживаясь от предрассветной свежести, он зорко оглядывал заросли акации, окружавшие склад горючего. На душе у танкиста тревожно. На учениях он попытался по дну форсировать водную преграду, для чего специально подготовил машину, но попытка не удалась, танк затонул. Его вскоре вытащили, а водителя строго наказали. Делом занялись следователи, могли и под суд отдать. А ведь самую малость не учел смышленый танкист. Кому ни говорил он о своей выдумке, от него только отмахивались. Стрельцов пытался защитить водителя, но и его предупредили. Иван боялся не за себя — хорошее дело пропадает...

— Не дают ходу! — вслух сказал танкист и вздрогнул. Тишину словно разорвало. Гигантским костром рассыпались в небе разноцветные точки-звезды. Из-за Буга, закрыв полнеба, пошли эскадрильи за эскадрильей.

— Что это? — провожая их взглядом, проговорил часовой и нажал кнопку постовой сигнализации.

Зарницами полыхнула сопредельная сторона. Огневые трассы разлиновали небо, и оно треснуло, как разорванный под самым ухом сухой коленкор. Земля вздрогнула и вздыбилась, метнулась красно-бурыми фонтанами к небу и, не долетев, рассыпалась осколками стали, щебенкой, золой и пылью.

Рвались бочки из-под горючего. Огненные ручейки зазмеились по темной траве складского двора. Огонь подбирался к часовому, но пост не оставишь. Подниминоги забросил карабин за спину и пытался песком из пожарного ящика остановить огонь. Уже два огнетушителя разрядил он, а разводящего все не было. Огонь надвигался, скоро захлестнет и человека и склад.

По частым разрывам, по трескотне винтовок и пулеметов, уханью и лопотанью мин в полете было ясно, что

неподалеку идет жестокая схватка. Но почему часового не снимают с поста, неужели забыли? Или все погибли?

Ныряя в дыму и пыли, к Бугу промчались танки, по моторам узнал Подниминоги: свои машины.

— Бой... там бой... — твердил водитель. — Может быть, уже не нужен этот склад, он, того и гляди, взорвется.

Неужели немцы сбросили пограничников, одолели Буг? А наши боевые части? Они не в силе отбросить врага?

Через Буг шесть мостов, почему их так много и почему их не взорвали? А может, немцы по дну танками прошли реку?

Ответить часовому никто не мог, огонь уже крался к бетонным стенам хранилища.

— Эй, эй, где ты? — услышал Подниминоги и одновременно увидел вынырнувшую прямо на него машину с открытым люком. В люке стоял Стрельцов. — Скорее в машину. Война...

Водитель в два прыжка очутился около танка и прыгнул в люк.

— Вперед, к Бугу! Там бой, — услышал Подниминоги голос Стрельцова в шлемофоне. Гулкий взрыв качнул танк, это взлетел на воздух боесклад.

Рота Стрельцова вовремя подоспела на помощь своим, развернулась с ходу и фронтом пошла в атаку.

Внезапным налетом бригада смяла передовые отряды немцев на восточном берегу Буга. Комбриг на своей единственной в бригаде «тридцатьчетверке» лично распоряжался боем. Открытым текстом, без кода, гремели его команды. Он высунулся из люка и первым заметил, как немецкий десант на лодках из русла Буга просочился в воды Мухавца и двинулся в обход Бреста.

Рота Стрельцова разворачивается, подлетает к самому берегу реки. Гремят танковые пушки. Столбы воды и щепы поднимаются над рекой. Тонут фашисты, настигнутые огнем пулеметов... Но противник, накопив десятикратное превосходство, уже занял половину Бреста, окружил крепость.

Комбриг решил на короткое время оторваться от немцев. Маневр удался, но бригада получила приказ: наутро нанести контрудар и отбросить врага.

Всю ночь готовились к этой операции, хотя комбриг и командиры понимали, что на успех надеяться нельзя.

Машин осталось меньше половины, горючее на исходе, боеприпасы тоже.

Рота Стрельцова охраняла мост через Мухавец у Жабинки. Немцы, отчаявшись захватить переправу лобовой атакой, пошли на хитрость.

На берегу Мухавца появилась колонна, хвост которой не был виден. Впереди двигалась черная «эмка», за ней трехтонки, с которых вели огонь по фашистам красноармейцы.

— Наши прорываются! — услышал Стрельцов голос башенного стрелка Скалова.

— Вижу, — ответил Стрельцов, в бинокль рассматривая колонну. Губы ротного кривились в усмешке. — Приготовиться к бою! — скомандовал он. — А ты, Сергей, проберись к мосту, взорви мины. Ты мастер на эти дела!

Башенный стрелок кинулся выполнять приказ Стрельцова. Почему с колонны ведут огонь, а ни один немец не падает! Маскарад! — разгадал маневр немцев Стрельцов.

Черная «эмка», грузовики и несколько танков подскочили к мосту и смело двинулись на восточный берег.

— Эх, не успел, Сергей... — пожалел старший лейтенант своего башнера и зло крикнул: — Вперед! Огонь!

Колонна наполовину переправилась. Танкисты ринулись навстречу ей, охватив с флангов, короткий бой был жестоким. Батальон мотопехоты немцев, переодетый в нашу форму, был смят и уничтожен.

Немцы двинули на мост танки. Скалов успел поджечь бикфордов шнур, но на него кинулся неизвестный в гражданском и ударил немецким штыком, норовя в бок, а потом оборвал шнур.

Скалов быстро пришел в себя, штык только слегка задел его. Сергей выхватил наган, но патронов в нем не оказалось. Башнер схватился с гитлеровцем врукопашную.

Танки громыхали над ними. Одолев мост, передние разворачивались для атаки. Стрельцов перестраивал роту для контрудара, он готов был сгореть, но не пропустить врага. В этот момент Сергей изловчился, рукоятью нагана в висок оглушил своего противника и снова поджег шнур.

Мост взлетел на воздух с полувзводом вражеских

машин. Стрельцов знал, в чем превосходство немецких танков над нашими: пушки у них большого калибра и броня тяжелее. Наши машины легче, поворотливее, и с коротких дистанций пушки бьют безотказно. Значит, ближний бой! Стрельцов повел роту на сближение, и ни одному немцу уйти не удалось, хотя у Стрельцова осталось не больше десятка боеспособных машин. Снарядов и горючего почти не было, а к мосту подходили новые немецкие танки. Они переправлялись под водой. Пришлось снова принять бой...

Человек десять уцелело из защитников переправы и — ни одной машины. Изодранный, в полуобгоревших комбинезонах, Стрельцов повел людей в лес, сгустившаяся темнота помогла им оторваться от противника. Шли всю ночь, боясь преследования, стараясь скорее выйти к своим. Шли, пока путь не преградила река, вброд ее не одолеть, решили сделать привал. С рассветом снова двинулись на восток.

Как ни трудно было, Стрельцов вывел свою десятку из окружения. Отдыхать не пришлось, да танкисты и не стремились. Они получили новые совершенные машины, о которых только мечтали, поглядывая на танк своего бывшего комбрига.

«С такими людьми, как Стрельцов и его ребята, не пропаду», — думал я.

* * *

Эшелон остановился. И поплыл прямо с запада зловеще нарастающий гул. Я сразу почувствовал себя ниже ростом, да и все почему-то сутулились, с беспокойством поглядывая на небо. Осеннее солнце давно закатилось, но западный край неба пылал, горизонт казался порванным, столбы огня и дыма перемежались. Глухо доносились разрывы. Там, в нескольких километрах от нас, был фронт.

Началась разгрузка. Танкисты торопились, в любую минуту могли налететь самолеты. Танки сердито рычали моторами. Трещали настилы. С платформ на разгрузочную площадку скатывались автомашины с боеприпасами и продовольствием.

Головной танк нашего комбата стоял еще на платформе. Ждали капитана. Он руководил рузгрузкой ба-

тальона и, кажется, забыл про свой экипаж. В это время и налетели бомбардировщики. Сначала завыло небо, потом завизжало, и грохнула вокруг эшелона земля. Вспыхнули платформы и вагоны, к счастью, уже пустые.

Я захлопнул люк, и тотчас нашу машину подкинуло, я больно ударился о броню головой, от шишки спас меня толстый налобник танкошлема. По левому борту словно пневматическим молотом застучали, а потом ударили по башне. Это, как я узнал после, били по танкам в упор пикировщики.

Наш танк, кренясь на левый борт, стал медленно куда-то проваливаться. Подниминоги вцепился в рычаги и выжал газ на полный, включил главный фрикцион, машина сделала скачок куда-то вниз, выровнялась и понеслась по шпалам. Я еще раз ударился головой о триплекс, и опять танкошлем спас меня.

— Упрись ногами! — услышал я в шлемофоне хриплый голос старшего сержанта Скалова.

Машину подкидывало то справа, то слева: это рвались бомбы. Гул пикировщиков то нарастал, то удалялся. И в тон этому гулу колотилось сердце.

Почему я так боюсь? Неужели я трус?

Зловещий гул самолета накрыл нас, не стало слышно собственного мотора.

Ну, это конец, не уйти...

Спина Подниминоги выпрямилась, он опустил рычаги — гул пронесся над нами, впереди громыхнуло, танк бросился зверем вправо, и снова Подниминоги включил фрикционы. Танк, словно заколдованный от фашистских авиабомб, делал невероятные зигзаги, мчался вперед, а куда — никто из экипажа не знал, только бы уйти, выжить, спасти машину.

Наконец воздух над нами перестал дрожать, растаяли где-то на западе до тошноты противные завывания «фоккеров». Танк остановился. Я приоткрыл люк. Увидел полоску темно-серого неба и край луны за легким облачком. Шире открываю люк — и небо ширится, вот оно стало круглым.

— Да вылезай, не бойся! — крикнул Скалов. Очень громко крикнул, словно я был глухим. Оказывается, его оглушило сильнее меня, он собственного голоса не слышал.

Я высунулся по пояс из люка. Теперь небо надо

мной было огромным, усеянным множеством звезд и звездочек. Радуясь, что жив, я огляделся. Танк стоял, уткнувшись в забор какого-то железнодорожного склада. Позади нас догорали остатки платформы, с которой Подниминоги рывком толкнул машину и спас ее.

— Вот и фронт, хлопцы! — раздался в шлемофоне голос механика. Открыв люк водителя, он курил, глубоко затягиваясь.

— Снежок! — опять громко крикнул Скалов. — Включай рацию, ищи наших.

Еще в дороге мою фамилию Снежков ребята превратили в Снежок. И Снежок стало моим именем, отчеством и фамилией для всех, кто меня знал.

Я включил рацию, но связаться с кем-либо не успел. Откуда-то из темноты вынырнул автоматчик.

— Бог миловал? — Он вскочил на броню, умостился рядом с люком водителя. — Комбат меня прислал, запаливай свой самовар, и марш на сборный...

— Торопкий ты, хлопец, — остановил его Подниминоги. — Потери есть?

— Без потерь боя не бывает, — ответил пожилой крепыш в стеганке с автоматом на груди. — Сгоретых нет, а подбитые есть.

Машина развернулась и пошла в сторону фронта. А там все еще гремело, пламя пожарища то взлетало высоко в небо, то рушилось вниз, искры истлевали, как падучие звезды, только уж очень много было этих звезд.

Все сильнее пахло гарью, оттого, наверное, и казалось, что воздуха стало меньше, едва хватает для дыхания, несмотря на то, что движемся мы с открытыми люками.

Прямо с разгрузочной площадки, из-под бомбежки, бригада выходила на выжидательные позиции. Мне почему-то стало легче, спокойнее, словно капитан Стрельцов мог отвести все беды от экипажа или даже целого батальона.

Остановились в каком-то лесу. Где — никто из нас пока не знал, да и не интересовался, знали одно: фронт рядом. Сюда уже долетали, выдыхаясь на излете, дальнобойные снаряды, но рвались в стороне.

— Бесприцельно лупят, пугают! — говорил старшина Подниминоги.

Мы помалкивали. Скалов все прыгал на одной ноге,

стараясь прогнать глухоту, как купальщик с залитым водой ухом. Костров жечь не велели, а было студено, трава и листья покрылись изморозью. Курили в танках или накрывшись брезентом.

Неподалеку от нашей машины стояла полевая кухня, прицепленная к трехтонке. И как ни укрывал повар топку, оттуда пробивался жаркий отсвет пламени, все гуще пахло щами. Горячего давно не ели, питались сухим пайком и теперь этот вкусный запах гнал слюну — и куревом не удержишь.

По надобности я отошел далеко от боевых машин, ступил в какую-то канавку, огляделся: передо мной лежало шоссе, а канава была кюветом. Только я расстегнул ремень и присел, на шоссе появились машины с открытыми фарами, и тотчас где-то на западе громыхнуло, послышался нарастающий свист нарядов. Фары погасли. Я прижался к земле в кювете. Снаряды, казалось, летели прямо на меня, и я не выдержал, побежал к танкам, путаясь в комбинезоне, пистолет захлопал меня уже по икрам. Снаряд накрывал, я ловил открытым ртом воздух, но он словно пропал. Я упал и кубарем закатился под танк. И в то же мгновение ночь сменилась днем и опять наступила ночь.

Там, где стояла кухня, вился столб пламени, вихрем поднимаясь в небо. Щами не пахло. Не было ни кухни, ни повара. Снаряд, от которого я бежал к танку, прямым попаданием угодил в котел.

Тут и курить перестали, ждали, что после артиллерийского удара налетит авиация. Зло, вполголоса, ругали шоферов, что ехали с зажженными фарами. Водой размачивали сухари и концентраты, жевали усердно — утром бой, а на пустой желудок и с бабой не повоюешь, как заметил тот же Подниминоги.

Поначалу странным казалось — никто никому ничего не приказывал, каждый делал свое дело. Подниминоги осматривал моторную и ходовую часть, Скалов — боекомплект и орудие, я — пулемет и диски к нему, рацию. Капитан наш с командирами рот и взводов уехали на рекогносцировку.

Готовились всю ночь, а под утро, несмотря на то что гул на передовой усилился, почти все спали. Правда, не все, не мог уснуть я. Какой тут сон! Слушаешь каждый вопль снаряда и гадаешь, где он ухнет. И все же я уснул, хотя и во сне решал все те же проблемы.

Проснулся я после обеда. Слабо пригревало солнце. Гул на передовых не умолкал, а мы все еще стояли на прежнем месте. Смотрю: люди пишут письма — на броне, на пнях, всюду, где можно примоститься. Вот Скалов пишет, положив лист бумаги на кобуру пистолета, кобуру — на колено. Он уже закончил письмо, сложил треугольником, написал адрес, потом помочил слюной палец и провел по строчкам, и они сразу посинели, словно были написаны не химическим карандашом, а чернилами.

— Так никогда не сотрется! —подмигнул он мне. — Подниминоги научил. А ты что не пишешь?

Я отстегнул пистолет, приладил кобуру на колене и принялся за письмо, свое первое письмо с фронта. А может, это письмо будет последним? И все же верилось, что не последнее, поэтому я писал неправду:

«Здравствуй, мама. Служу по-старому, в тылу. Все идет хорошо, кормят сытно...»

А хотелось написать, что я уже танкист, добровольно ушел на фронт, что можете гордиться своим сыном.

А как послать весточку своей девушке? Адреса ее нет, уехала, наверное, — ни одного слова от нее...

Я вырвал из блокнота листок и крупно написал:

«Мама, пишу перед боем. Это мой первый бой. Погибну — прости, не уберегся. Передай, ты знаешь кому, если вернется она, что любил я ее до последнего».

Я послюнявил палец, провел по строчкам, и они стали яркими, чернильными. Подождал, пока высохнут, потом сложил листок и спрятал его в карман к комсомольскому билету: погибну, товарищи отошлют, а треугольник, первое письмо матери, отдал почтальону.

Ночью на малом газу, осторожно, не зажигая фар, бригада вышла на исходные рубежи. И потому, что снаряды рвались позади нас далеко в тылу, каждый понимал, что маневр совершен удачно. Немцы не обнаружили нас и ведут бесприцельный огонь или бьют по прежним нашим позициям.

Самолеты всю ночь бомбили передний край. Небо пронизывали сотни трассирующих пуль, ракеты гасли одна за другой. Бригада ждала приказа.

Комбат позвал старшину, и они куда-то ушли. Скалов и я остались в танке. Глухота все еще не отпуска-

ла Серегу, поэтому я включил танкопереговорное устройство. И как только в шлемофонах зашуршало, Скалов спросил:

— О чем думы, Снежок?

— О любви, Серега...

— Ты уже того... любил?

— Да, Серега. — По шороху в шлемофоне я почувствовал его улыбку. — А ты не смейся...

— С чего ты, Снежок, взял? Вовсе я не смеюсь. Верю тебе: дети никогда не врут...

— Хочешь, чтобы я отключил тебя?

— Шучу, Снежок, шучу. Где же твоя любовь?

— Не знаю. А ты любил?

— Баб имел. А любить не довелось.

— Дрянь дело. Убьют, и не узнаешь самого главного, — начал я.

— Брось, Снежок, философию. Лучше послушай. Я, право, не такой грамотей, как ты. Четыре класса кончал да один коридор и на жизнь смотрю проще. И о том, что у меня любви не было, — не страдаю. И ты выбрось ее из головы. Без лишнего багажа на войне легче. Загрустишь, задумаешься, позабудешь, где ты, — тут тебя косая и прихватит.

Вернулись из штаба комбат и старшина. Командир занял свое место, Скалов перебрался к орудию.

— Все в порядке? — спросил комбат. Каждый из нас поочередно доложил. — Идем в разведку. Командую я... — И капитан поставил задачу.

Три боевые машины быстро покинули исходные позиции, забирая влево, на юго-запад. Там, в стыке немецких соединений, имелась брешь, по ней мы и должны выйти в тыл противника. Ехали около двух часов в сплошной тьме. Вот и место, где должна быть эта брешь, но оттуда навстречу нам летел плотный рев моторов. Комбат приказал развернуться и занять огневые позиции в лесу у дороги, по которой мы только что двигались. Три ствола рассредоточенных машин уставились на дорогу.

— Без моей команды огня не открывать, — приказал комбат.

— Есть! — отвечали командиры машин по рации. И все сознание мое переполнилось гордостью: рация работала отлично.

Я волновался, от меня зависело многое. Я — уши

и язык комбата. Я ни в коем случае не должен сплоховать и подвести своих товарищей.

Мимо наших машин с оглушительным треском промчались мотоциклисты. Я еле сдержал себя от соблазна дать по ним очередь из пулемета. За мотоциклистами показались немецкие танки, земля натужно дрожала под ними. Шли они не торопясь, нахально шли, колыхая хоботами орудий. Белые кресты на темной броне хорошо видны, люки у машин открыты. Что это, беспечность? Ведь по русской земле идут.

В тот мой первый поиск я еще не понимал, что фрицы уверились в своей силе, думали, что все наши танки сгорели в боях еще в припограничной полосе, дорога на Москву открыта, вот они и маршировали спокойненько, даже без боевого охранения на флангах, выдвинули вперед взвод мотоциклистов, и все.

Капитан следил за немцами через перекрестье прицела, губы его шевелились: не доверял комбат одной только зрительной памяти и вслух считал машины.

Я ждал выстрела. Позиция наша — лучше не надо, под прицелами борта, самые уязвимые места для снарядов. К тому же огневой налет будет неожиданным, в темноте не разберешь, откуда и кто бьет. Ну а когда вспыхнут немецкие танки, можно уйти.

Так думал я, а капитан выполнял задание штаба, он вел разведку и только в крайнем случае имел право ввязаться в бой.

Шифровкой передали мы в бригаду о движении противника и получили новый приказ: сопровождать колонну, а когда завяжется бой, ударить по ней с тыла. Комбат улыбнулся: приказ, видно, пришелся ему по сердцу.

Взвод выехал на дорогу. Еле доносился грохот немецких машин, мы не отставали от них, даже, наоборот, дистанция между нами сокращалась. И когда впереди загремело — вступили в бой противотанковые батареи, — мы были на хвосте у немцев, которые не успели развернуться, колонной ринулись вперед. Завязался бой. Наш взвод пошел на сближение. Немцы не думали отворачивать, они с ходу решили смять пушки. Но за батареями стояли готовые к бою наши танки, о них-то враг и не подозревал.

Две или три машины немцев уже горели. Пушки нашего взвода ударили по тылам. Вот тут-то фашисты

и не выдержали, стали заворачивать, но с исходных на них уже мчался второй батальон.

Откуда ни возьмись, на лесную опушку выкатилась большая штабная рация на трехосном «газике». К ней повернул немецкий танк. Из машины выскочил шофер и юркнул в кусты. Дверцы кузова открылись, и оттуда выглянула радистка, лицо — словно известью выбелено. Страх ее был настолько велик, что она даже не пыталась бежать.

Я не сразу понял, почему и девушка и рация так быстро увеличиваются в моих глазах — неужели и меня охватил ужас? Я толкнул плечом шарнирный приклад пулемета, стараясь врасти в сиденье. И вовремя. Подниминоги на предельной скорости шел наперерез немцу, потому-то все росла и росла перед глазами рация.

— Стоп! — скомандовал Стрельцов, и тотчас машина дернулась. Не успела вылететь гильза — танк снова мчался.

«Так вот что значит стрелять с коротких остановок», — подумал я и почувствовал сильный удар. Подниминоги смял немца, но и наш мотор заглох. Скалов выскочил из танка и побежал к рации. Радистка только сейчас пришла в себя и кинулась к лесу, но Скалов махнул ей рукой. Она вернулась, вскочила в кабину к Скалову, через минуту радийная машина умчалась по лесному проселку.

Подниминоги никак не мог завести дизель, пускач выдыхался, но только он смолкал — глох и дизель. Комбат развернул башню в сторону отступающего врага, две другие наши машины стояли рядом, стволы их ежеминутно вздрагивали и освещались вспышками выстрелов. Немцы бездорожьем отходили в сторону, бригада преследовала их огнем. До конца в этом бою участвовать мне не пришлось. Комбат перебрался в другую машину и уехал вслед за батальоном, а к нам подошел тягач и на буксире потащил в тыл, ремонтироваться.

Глава вторая

В тылах бригады на другой день увидел я спасенную Скаловым рацию, ее тоже ремонтировали.

Но что произошло со старшим сержантом Скало-

вым? Его словно подменили, возился возле орудия и напевал, правда, не совсем веселую фронтовую песню, но в его исполнении звучала она не очень грустно:

Кругом бои идут жестокие,
Мой край огнем охвачен весь.
Смотри в глаза мои, глаза глубокие,
Глаза живые, пока я здесь.

Скалов улыбался и подмигивал мне: так вот, мол, брат. Вечером секрет преображения Сергея открылся. Я пошел погулять в лесу, над берегом небольшой речушки, побыть наедине со своими мыслями о девушке, от которой я не получал никаких вестей. Знал бы ее адрес, написал бы о своем боевом крещении — страшно было, но вроде все прошло. Это, наверное, то же, что неумеющему плавать в воду прыгать — ужас один, а набрался смелости, прыгнул, заработал конечностями — и поплыл, поплыл.

И вдруг я услышал голоса, приглушенные шумом речного переката. Я шагнул на береговой выступ и замер. Голосов уже не было слышно, да мне и не нужны были голоса, я видел собственными глазами на самом краю обрыва Серегу Скалова и девушку-радистку. Они не разговаривали, они целовались. Потом, обнявшись, стали спускаться к реке, галька сыпалась из-под ног и, долетая до воды, булькала. На берегу лежало бревнышко, на него-то и уселись они и опять обнялись. Луна в это время зашла за тучу, вечер сразу потемнел, и мне почему-то стало грустно, защемило, заныло сердце. Нехотя вернулся я к машине. Подковки сапог скользнули по броне, она гулко отозвалась. Я лег на брезент, закурил, спать не хотелось, к тому же скоро на пост, к снарядным ящикам — вон их целый штабель навозили. Мерно, взад-вперед ходит возле них автоматчик.

Где-то на западе ворочается орудийный гул, а здесь тихо, словно и нет никакой войны, и Скалов целуется совсем как в гражданке. Ему-то сейчас хорошо, а вот каково чувствовать себя одиноким. В голову лезли нехорошие мысли, прямо-таки дурные.

А может быть, и моя залетка, как эта вот радистка, целуется сейчас с каким-нибудь. Нет, не может быть, она не такая. У радистки, наверное, в гражданке не было парня, она не связана словом и, значит, права. А моя? Нет, нет. Надо верить.

В воздухе потянуло сыростью, из черного неба без грома и молний закапал дождь, пришлось завернуться в брезент основательнее, и не только от дождя, но и от холода. Не лето на дворе — глядишь, вместо дождинок к утру полетят белые мухи.

Разбудил меня старшина Подниминоги.

— Вставай, хлопец, пора на пост, — услышал я его добродушный голос. В эту ночь он был разводящим. Я откинул брезент, и сразу же меня передернуло от холода и сырости. Дождь лил как из ведра.

— На вот плащ-палатку накинь, — снова послышался голос старшины.

Ночью тропинка к складу снарядов показалась длинной, я то и дело поскальзывался на мокрой глине.

— Стой, кто идет?! — раздалось впереди.

— Смена! — ответил старшина.

Замолкло чавканье сапог по грязи, и я остался один на один с ливнем в глухом прифронтовом лесу. И тут полезло в голову черт-те что. Крупные капли дождя дробно ударяли по опавшим листьям, словно по броне стучали. Не знаю, сколько прошло времени, но мне послышались шаги, примерно там, где должна быть речка. Я вскинул автомат и весь напрягся. Минуту простоял, а может, и больше. У речки все стихло. Я облегченно вздохнул и опустил автомат. И тут опять услышал непонятный говор, мне показалось даже, что это немецкая речь. И слышится она почти рядом, шагни в кусты — и вот они, те, что сговариваются.

Склад с танковыми снарядами — объект опасный. Метни гранату в штабель ящиков, укрытых брезентом, и все вокруг взлетит на воздух. Допустить такого нельзя, но что делать? Говорили бы они погромче да было бы посветлее. Вдруг в кустах все смолкло — значит, решились на что-то. Я опять вскинул автомат, прижался спиной к ящикам. До рези в глазах стараюсь увидеть тех, разговаривающих, и не дать совершить диверсию, пусть для этого придется уложить их автоматной очередью. Немецких диверсантов в глубокий тыл заброшено немало — парашютисты и прочая шваль, — а здесь прифронтовая полоса.

Я боялся шелохнуться, чтобы не выдать себя. Они могут подумать, что часового вообще нет на складе, вот тут и покончу с ними. Я ждал, но из лесу никто не выходил, а говор опять вроде бы послышался.

Мне приходилось стоять на постах, было страшно, но такого я никогда не испытывал. Старослужащие рассказывали, что один молодой постовой корову пристрелил, другой — козу, приняв их за злоумышленников. Но какие здесь коровы и козы, здесь и собаки-то за весь день не видели, потом — животные не могут разговаривать.

Не знаю, сколько бы я еще простоял так, если бы не услышал знакомого чавканья сапог по грязи.

— Стой, кто идет?! — радостно крикнул я.

— Смена! — ответил Подниминоги.

Я доложил старшине о своих опасениях, он усмехнулся, вынул электрический фонарик, прислушался, а потом смело шагнул в кусты. Яркий луч фонаря вырвал из темноты лужицу воды между корнями дуба. Старшина посветил дальше. Блеснула еще лужица, ниже. В нее, по мере поступления воды в верхнюю, падали то капли, то стекали целые струи. Они-то и создавали что-то похожее на говор.

— Вот твои диверсанты! — старшина опять улыбнулся.

Наутро Подниминоги повел машину в батальон. Бригада остановила немцев на нашем направлении и заняла оборону. Бои идут тяжелые. Не считаясь ни с какими потерями, рвутся фашисты вперед. Говорили, что Гитлер собирается 7 ноября принимать парад своих войск на Красной площади. Да мало ли о чем говорили в то время, но никто из нас не верил в это. Я тоже не верил и сейчас на передовую рвался также, как из полковой школы на фронт. Правда, я еще мало испытал страхов, но уже знал, что любой страх побороть можно.

Танк медленно пробирался по гати, проложенной саперами через Гнилое болото, которому, казалось, и конца не будет. Настил из свежесрубленных сосен под тяжестью танка вминался в трясину, отдельные бревна вставали дыбом, с них стекала зловонная жижа. Бурая, как нефть, она проступала в прогалах между лесин, положенных в несколько слоев.

Но вот вроде бы дорога стала тверже, не слышно хлюпанья под днищем и гусеницами. Теперь можно не опасаться, что утонешь вместе с настилом в этой каше. Показался взгорок, поросший леском. Там Гнилому болоту и вовсе конец. Неожиданно на взгорок выско-

чил немецкий зеленый, с желтыми полосками, бронетранспортер. Выскочил и остановился. Стволы его пулеметов холодно посматривали в нашу сторону. Я захлопнул люк. Но и в башне было не по себе. Меня защищала надежная броня, но под прицелом пулеметов казалось, что я в одной гимнастерке. Руки не слушались, дрожали. Еще мгновение — и я не выдержу, открою огонь. А вот Серега Скалов спокоен, он зарядил пушку и наблюдает через перекрестие прицела.

Неужели Серега не боится? А может, он просто так ненавидит немцев, что и страха не ведает?

Между тем две боевые машины стояли друг против друга и не открывали огня. Скалов мог одним снарядом смести этот немецкий гроб с дороги. Но почему немец не стреляет? Лупанул бы — да наутек. Что-то здесь не то. Наверное, фашисты поняли, что не уйти им от русского танка, и собираются спасаться пеши. Дверка транспортера открылась, на дорогу выпрыгнул плотный мужчина в советской командирской фуражке и телогрейке, без знаков различия, и направился к нам. Шел он медленно, но уверенно. Синие галифе с красным кантом, русские сапоги. Он подошел к танку и пистолетом ТТ постучал в люк водителя.

Иван открыл.

— Майор Иванов, — сухо сказал плотный человек. — Везу пленных офицеров. Уступите дорогу! — последнюю фразу он произнес приказным тоном.

— Дивлюсь, товарищ майор, таким приказам, — спокойно начал Иван Подниминоги. — Та я ж утопну по самую башню в этой трясине.

— Вы отказываетесь выполнять приказ?

— Ни, шо вы! — продолжал Иван. — Сворачивайте вы. Утопнете — я вас як былинку на тросе вытяну. А танк гробить... Извиняюсь, за это в трибунал угождают...

Бронетранспортер в моем воображении стал еще больше походить на угластый железный гроб, суженный к передней части и поставленный на колеса.

Стволы крупнокалиберных пулеметов зловеще поблескивали.

Подниминоги, будь перед ним не майор, а генерал, наверное, не свернул бы в болото. А плотный майор выходил из себя. Приказ его был довольно странным

и явно неразумным: каких бы там пленных ни везли, не стоит из-за них рисковать боевой машиной. И тут у меня в наушниках словно дятел застучал: точка... тире... точка...

— «Волга-два», «Волга-два». Я «Десна»... — перевел я морзянку.

— «Десна», «Десна». Я «Волга-два». Прием, прием...

Я замер. «Десна» требовала от комбата-два, нашего комбата — немедленно остановить немецкую танковую колонну, что прорвалась через позиции третьего батальона и выходит к Гнилому болоту, в тылы бригады. «Десна» назвала свой шифр. И я понял, что принял приказ комбрига.

Машина работала на малых оборотах, мне было плохо слышно, о чем там спорят майор и Подниминоги, но я почему-то подумал, что бронетранспортер и есть головная машина немецкой колонны. Просто тянут время, пока подойдут главные силы. Грохнули почти одновременно: люк водителя и выстрел майора. Танк, рванулся вперед, полетел по бревнам, торопясь выбраться на сухую землю. Из бронетранспортера ударили длинными очередями, бронебойными. Тогда Скалов почти в упор выстрелил. Снаряд угодил в мотор. Немец встал на задний мост столбом и развалился от взрыва.

Я передал радиограмму старшине по танкопереговорному устройству. Но Иван раньше меня раскусил липового майора. Когда тот вытянул руку, чтобы указать место, куда должен свернуть танк, из рукава русской телогрейки высунулся черный рукав эсэсовского мундира со знаками различия. Старшина успел загородить себя люком — и танк смял гада.

Но торжествовать победу было рано. Комбат-два — это мы, единственная машина. Гнилое болото — за нами, а впереди немецкая колонна. Ни вправо, ни влево ей не свернуть, засосет трясина. Мы, не разворачиваясь, задним ходом можем уйти, если даже придется отстреливаться. А как же приказ? Что будет с тылами бригады? Там ни одной боевой машины, пушчонки какие-то стоят, и все. И потом, где наш второй батальон? Есть ли он? Может, разбит, как и третий?

— Будем стоять! — раздался голос старшего сержанта Скалова.

На дороге показались мотоциклисты. Увидев горя-

щий бронетранспортер, они остановились, сбились в кучу.

— Осколочным!

Я подал снаряд.

— Выстрел!

Со звоном вылетела дымящаяся гильза, башня наполнилась едким дымом.

— Осколочным! — командовал Скалов.

Побросав мотоциклы, гитлеровцы кинулись кто куда.

— Пулемет!

Спаренный с пушкой и мой, в шаровой установке, ударили по бегущим.

— Экономьте боезапас! — раздался в наушниках голос старшины.

На дорогу выползал танк. Показалась задранная к небу пушка, затем тупорылый корпус. Немец шел на подъем, на какое-то время он открыл брюхо, и бронебойный прошил его. Из подбитой машины посыпались черные фигуры, но уйти они не успели. Машина взорвалась и накрыла их огнем. Я забыл о собственной безопасности. Я ликовал и не сразу понял, что за удар толкнул нашу машину. Она дернулась, словно присела.

— Гады. С закрытых тяжелыми бьют. Меняем позицию.

Дизель взревел. Сделав прыжок вперед, танк снова выстрелил. Теперь осколочным — немецкие автоматчики по болоту обтекали нас, снаряд прижал их к земле.

И опять на дороге, чуть правее горящего немца, мелькнуло днище нового танка. Скалов успел вспороть и его. Теперь дорога была забаррикадирована. Когда взорвалась вторая машина, мы подошли к черным дымящимся корпусам еще ближе, прикрылись ими.

Но враг рвался в прорыв, ему нужно расширить его, смять бригаду и в этом направлении выйти к Москве. Немцы подобрались к горящим танкам, затралили их тросами.

Полусгоревшие чудовища, уже мертвые, вдруг ожили и поползли, но не на восток, а на запад. Мы тоже стали отходить. И опять болванки Скалова просвистели вовремя. Третий немецкий танк завертелся с перебитой гусеницей.

Скалов изменил тактику. Теперь он, меняя прицел, бил бронебойными и осколочными в глубь колонны.

Впереди слышались разрывы не только наших снарядов. Рвались и горели автомашины с пехотой и боеприпасами врага. Всю колонну лихорадило.

От такой пальбы в танке дышать было нечем. Вентиляторы не успевали выбрасывать пороховую гарь.

— Открой задний люк, — приказал Скалов. — Будем отходить.

Но отходить нам было некуда. Немецкие танкисты и артиллеристы своим огнем уничтожили бревенчатую гать через болото. Отрезали они путь и нам и себе, дорога горела. Наша машина при попытке переправиться сразу же осела и стала погружаться в болото. Как Подниминоги ни старался вырвать ее, она не слушалась. Трясина затягивала нас.

Немцам удалось выкатить противотанковую легкую пушку на прямую наводку. Но лобовая броня «тридцатьчетверки» не сдавала.

Скалов изловчился, уловил момент и накрыл эту пушку, но на ее месте появилась другая.

Угодил снаряд под маску нашего орудия. Башню заклинило.

— Покинуть машину! — приказал Скалов.

Выбрасывались мы через верхний люк, кинув перед танком две дымовые шашки, которые не давали врагу вести прицельный огонь. Корпус танка уже сидел в болоте. На поверхности торчала башня с задранным орудием. Один за другим мы кинулись по кочкам в лес. Скалов снял пулемет и прикрыл нас. Вскоре и он присоединился к нам.

Только тут я увидел лица своих товарищей, они были черными, одни зубы да глаза блестели. Дышали мы так, словно воздуха и на воле не хватало. А его действительно не хватало. Переправа горела, застилая беловатым дымом весь лес. Немцы потеряли нас из виду. На опушке мы залегли, отдышались малость.

— Ну, ребята, двигаем дальше, — тихо сказал Скалов.

— Не могу! — ответил Подниминоги.

— Мы выполнили приказ. Немцы здесь не пройдут. А пока наводят переправу или ищут обходные пути, подоспеют наши, второй батальон.

— Да есть ли он? Погорели, видно, хлопцы. Мы только и остались.

— Не узнаю тебя, Иван!

— Что узнавать-то? Машину я не брошу. Живая еще она, старушка!

— Да она утопла!

— Вот и скажут: опять Подниминоги машину утопил. Помнишь, у Бреста?

— То, Иван, другое дело.

Я взглянул на старшину. Четыре светлые змейки, промытые слезами, белели на его закопченном лице, а копоть — что окалина.

— Не тужи, Иван, верь мне, еще вернемся сюда и вытащим нашу старушку. Что ей поделается, отмокнет только. А сейчас подымайтесь. — И Сергей Скалов подтолкнул меня, а потом старшину, сам пошел замыкающим, с танковым пулеметом на плече.

Думалось, пройдем немного, переправимся через болото и попадем к своим, но болото превратилось в сплошную трясину. В одном вроде бы подходящем месте, где и земля видна и травка на ней, решили переправляться. Осмотрелись. На запад от нас стеной стоял унылый осенний лес, в прогалах между голых стволов нет-нет да и проглянет зеленое пламя ели или сосны. Безлюдно. Глухомань. За лесом слышен гуд — значит, там фронт. Впереди, на восток — буро-рыжая бугристая корка Гнилого болота. За болотом пока тихо — значит, туда немец не прорвался.

Скалов с пулеметом выдвинулся на опушку, прикрыть нас в случае появления врага.

— Ну, хлопец, пошагали, — сказал Подниминоги и двинулся по рыже-бурой земле. Один шаг только и сделал он, трясина расступилась. На моих глазах уходил старшина в землю. Я кинулся на помощь.

— Стой! — закричал Сергей. Он бежал с опушки с длинной жердиной. — Держи, Ваня! Мать ее так, эту гниль. Опасней фрица...

Подниминоги ухватился за жердину, и мы вдвоем еле вырвали его из болота.

— Костерок бы. Обсушиться, — не попадая зуб на зуб, проговорил старшина. — Да, как бы на дым немец не забрел...

— Ничего. Мы бездымный организуем. Сушиться всем требуется.

Мы промокли до нитки, когда бежали по болоту от танка, прыгая с кочки на кочку. Иная ходуном ходила под ногами, а иная проваливалась, а вместе с ней и

тот, кто был на ней. Только там, под огнем, грязевые ванны были не так страшны: как-никак они от пуль и осколков укрывали. А сейчас в относительной безопасности, глядя на лязгающего зубами старшину, и мы со Скаловым уже не в силах были сдерживать дрожь.

— Давай-ка, Снежок, за хворостом. Ты знаешь, какой сушнячок нужен, — сказал старший сержант и первым направился в лес.

Хворосту, сухих сучьев в лесу вовек не перетаскаешь. За какие-то минуты набрали мы их целый ворох. Костер решили развести в глубине леса, так, чтобы издали заметить нельзя было.

Кинулись — спички все промокли, сера так и отваливается. Где их высушишь? Пальнуть в тряпицу, обсыпанную порохом из разряженного патрона, рискованно.

— Ну, где вы там? — раздался голос старшины. Он оставался на опушке с пулеметом, охраняя нас на всякий случай.

— Топай сюда, старшина. — Голос у Скалова какой-то глуховатый, как у человека, потерявшего что-то ценное, чего уже не вернешь. Скалов, пока не обнаружилось, что спички промокли, выглядел бодро, он вдохновлял и меня и старшину. Старшина, как только утонула его «тридцатьчетверка», осунулся, сгорбился, стал каким-то безвольным и во всем подчинялся Скалову.

— Дрянь дело, Ваня. Сушиться на ходу придется. Нет огонька...

Подниминоги глянул на две развалившиеся коробки из-под спичек — мою и старшего сержанта.

— Поправимо, хлопцы. — И впервые за это утро улыбнулся. Как-то тепло стало на сердце от этой улыбки. — Есть еще порох в пороховницах, — продолжал Подниминоги уже словами Тараса Бульбы, извлекая из нагрудного кармана гимнастерки круглую, в медаль «За боевые заслуги», зажигалку.

Весело затрещали сухие ветви. Мы быстренько разоблачились и предстали перед огнем в чем мама родила. Сначала обогрелись сами, а потом развесили на шестах одежку. С лица мы походили на папуасов, а тела у всех белые. Все же три шкуры — куртка, комбинезон, гимнастерка да вдобавок нательное белье — оказали достойное сопротивление грязи, а вот водицу сдержать не могли.

— Ты что это, Снежок, уставился на меня? — заметив мой любопытный взгляд, с усмешкой в голосе спросил Скалов. — Росписей таких не видел? На индейца похож, а? — Скалов засмеялся.

— Нет. Скорее на блатного. Индейцы раскрашивали себя, когда выходили на тропу войны!

Теперь Сергей захохотал, да так громко, что Подниминоги с опаской оглядывался по сторонам.

— Тише ты, бисова душа. Свихнулся?

— На тропу войны, говоришь? — Скалов оборвал смех, нахмурился, но провел пятерней, словно расческой, по ершику смоляных волос. — Слышал ты про двадцать первый год?

— Слыхал.

Я тоже нахмурился, я бы тоже провел пятерней по ершику, но меня остригли наголо.

— В тот год, говорят, у нас в Поволжье человечиной, того... не брезговали. А меня угораздило родиться, — Сергей усмехнулся и уже полушутливо продолжал: — Меня, как видите, не скушали, а завернули в мешковину, веревочками перевязали и подбросили. А куда подбросили? Подумать только, к дверям Самарского губисполкома. Родители мои, будь им неладно, верили Советской власти. Ну и правильно делали, что верили. Не сгинул я, вырос. Нянечка рассказала мне обо всем этом, имя дала и фамилию свою. Нас, Скаловых, по Руси тьма-тьмущая, что Ивановых.

Старший сержант вздохнул.

Я подбросил хвороста в огонь и тут заметил, что портянка моя затлела.

— Нет у меня обиды на детдомовскую жизнь. Туговато приходилось. И наколок на моем негрешном теле много потому, видимо, что прямо из мешковины ступил я, можно сказать, на тропу войны. И сейчас по ней иду. Вот так, Снежок, знай, но не жалей меня. Отца с матерью не помню, не знаю — цыган или болгарин, знаю одно — русский я, советский, и есть у меня Родина, для кого-то это слово символ и прочее, а для меня она воистину мать...

Он говорил, и словно лачком покрывались его черные, действительно не совсем русские глаза. Мне стали понятны его поступки: и как он вел себя в бою, спасая радистку, и как хладнокровно расстреливал сегодня немецкие машины, как гнал нас из танка, а сам вышел

последним и всю дорогу шел позади, готовый прикрыть нас огнем пулемета.

— А любил я, ребята, больше самого себя ночевки за Волгой, рыбалку. Рыбешки-то там себе наловишь, а варишь, копошишься, — рассказывал Скалов дальше, но его прервал глубокий вздох старшины. Он и сам сглотнул слюну, облизал губы. Со вчерашнего вечера у нас во рту и маковой росинки не было. Выехали чуть свет, довольствие сухим пайком получили. Сейчас наши харчи пожирали, наверное, обитатели Гнилого болота.

О еде думали, но словом никто не обмолвился, и о другом разговор не клеился. Принялись почаще поворачивать пáрящую одежду, чтобы поскорее просохла, а когда оделись, старшина оглядел нас:

— Гарно, хлопцы. Пошагали.

Я понял: значит, воспрянул духом наш Подниминоги. Мы переглянулись с Сергеем и понимающе улыбнулись.

Старшина повел нас по берегу болота. Должно же оно кончиться. Но чертово Гнилое тянулось и тянулось. Противоположный берег едва виднелся. Решили повернуть на запад, рискуя напороться на немцев. Вышли на опушку, прочесав не очень широкую гриву сосен и березняка, и увидели метрах в трехстах группу немецких солдат. Они шли в том же, что и мы, направлении — наверное, искали дорогу, огибающую Гнилое болото. Шли они быстро, уверенно. Наверное, у них есть карта, не как у нас горемычных.

— Атакуем? — предложил Сергей. — У фрица в ранце всегда съестное есть.

Старшина строго посмотрел на Скалова.

— Подтяни ремень!

— Некуда больше, Ваня, на последней дырке. Разве что еще штыком проколоть? Да штыка нет, у немца отбивать придется.

— Выходит, бисов сын, снова атакуй?

— Так точно, товарищ старшина...

Они могли шутить, а я чуть держался на ногах и от голода, и от пережитого за эти полсуток, особенно за минуты боя — мне казалось, он длился целую вечность. А тут еще атакуй шестерых фашистов, вооруженных до зубов...

Мысли мои оборвал свист снаряда. Мы грохнулись в пожухлую колкую траву, фрицы побежали. Первый

снаряд разорвался, не долетая до них, второй — впереди. Фашисты заметались. Третий снаряд пришелся впору. В воздухе повис комочек ваты и взорвался.

— Шрапнельный! — крикнул Скалов. — С трех снарядов накрыл. — Как артиллерист он не мог не восхититься меткой стрельбой невидимых отсюда пушкарей. — И корректировщик у них, гад, опытный.

— Почему же гад? — удивился я.

— А потому, товарищ младший сержант, что стреляют не наши, а немцы. Тренируются, так сказать, — пояснил Скалов.

— А почему же по своим? — продолжал удивляться я.

— Попробуй на таком расстоянии разбери, свой ты или чужой. Знают, что район не под немцем, а если не под немцем, кто здесь может быть? Русские. Вот и бьют. А командир разведки, видно, не предупредил артиллерийского командира, что послал туда своих. Вот и результат. А результат говорит о том, что немец в расстройстве. Такого у них раньше не наблюдалось...

«Сколько знает Скалов! А я? Да что я? Еще ни одного фрица собственноручно не убил».

— И нам можно такому случаю порадоваться, — продолжал Сергей.

— Что-то не поднимаются фрицы? — проговорил молчавший старшина. — Неужто всех положили?

— Все может быть. Шрапнель, она такая, сверху накрывает. Поживем — увидим, Ваня.

— Ждать? Нет, Серега, давай ноги уносить...

— Думаю, что не надо. Лежачих нас не заметишь, и если мы по-пластунски...

— Хочешь ползти к фрицам за харчем? — понял Скалова старшина.

— Подождем малость. Может, и не укокал он их...

Ждали с полчаса, молча покусывая травинки. Гитлеровцы не поднимались, артиллеристы не стреляли. Командир разведки и артиллерийский командир, наверное, разобрались. Сейчас вышлют новую разведку и стрелять сюда не будут. Эти выводы делал я по методу Скалова, а Сергей словно знал, о чем я думал:

— Пока дойдет сюда разведка, есть гарантия на полнейшую тишину. Правильно, Снежок?

— По логике, да!

— Все обосновано научно. Двинем, старшина!

— Что же, голод не тетка. Только осторожно, хлопцы. Ты, Серега, с пулеметом поотстанешь, случай чего, прикроешь нас.

— Есть прикрыть!

Полз я, стараясь не отстать от старшины, голова в голову, и старался ни о чем не думать. В конце концов у меня в пистолете полная обойма да еще граната есть. Фрицы, если они и живые, не ждут нас. Все разом не кинутся, а если и кинутся, Серега покосит их. Хорошо, когда прикрытие надежно.

Первое, что я увидел, это блестящий сапог с широким и коротким голенищем. Увидел и замер. Старшина пополз к этому сапогу, я решил не отставать, не уронить себя в глазах старшего. Фриц лежал навзничь, весь в крови, рядом валялась каска. Чуть поодаль на боку лежал второй, тоже мертвый. А четверо не успели разбежаться, так и свалились друг на друга. Видно, в страхе не знали, в какую сторону кидаться.

Я не мог прикоснуться к трупам, меня тошнило. Старшина глянул на меня, покачал головой. И тогда я подполз к тому, что лежал на боку, и вынул у него из ножен штык-кинжал. Хотел перевести дыхание, а потом уж срезать ранец и забрать противогаз. Я уткнулся лицом в траву. Ветерок, как показалось мне, зашелестел травой, я вздохнул полной грудью и тут почувствовал, что кто-то тычет меня в бок. Я быстро повернулся и обмер: мертвый фриц ожил, глаза его блестели. Теперь он лежал на животе, в руке вороненой сталью поблескивал парабеллум, ствол которого упирался мне в бок. Когда я повернулся, ствол пистолета уставился в грудь, а глаза фрица — в мои глаза. Какое-то мгновение я ждал выстрела, почему-то верилось, что фриц промахнется, но тут же я понял: на расстоянии вытянутой руки промаха не будет, просто фашист никак не может попасть пальцем в спусковую скобу. Но вот он попал в нее, сейчас выстрел...

Страшная сила подбросила меня, но я не вскочил, я просто повернулся на живот, а рука вонзила немецкий тесак в грудь немцу. Он дернулся и затих, из руки упал пистолет. Я вскочил, как обожженный.

— Ложись! — громко прошептал Скалов и дернул меня за ногу, я упал. — Возьми эту штучку. Тобой честно заработана. — Он протянул мне парабеллум и пять обойм к нему. — А харчем займусь я. Не впервой.

Не затошнит... А ты давай по тропе войны, в лес. Оттуда нас с Иваном прикрывать будешь.

Я охотно послушался его.

Случилось то, чего я хотел и не хотел. Я убил. Убил собственноручно. Заколол. Почему я не обезоружил фрица, а пригвоздил его штыком к земле? Может быть, не стоит об этом думать? Разве раньше я не убивал? Я подавал снаряды к пушке, которая отправляла на тот свет целую кучу людей. Я бил длинными и короткими очередями из пулемета не в белый свет. Я сидел в машине, которая давила фашистов... Да, да... Не людей, а фашистов! Фашистов, черт возьми!

— Ну, а теперь, хлопцы, дай бог ноги! — сказал старшина, появившись на опушке. За ним шел Сергей, нагруженный ранцами и трофейным оружием.

— А чуть было, Снежок, этот обер не сыграл с тобой злую шутку. Вовремя ты, браток, очухался. А мы церемонились поначалу, в июне. И сколько нас полегло, боженька ты мой! Брось думать. На-ка вот, жуй. — И Скалов сунул мне галету.

— Оставь хлопца, — буркнул Подниминоги и протянул мне кусок сахару. — Ешь, все заешь. Или вот глотни для аппетиту.

Старшина поднес мне открытую флягу шнапса. И я глотнул. И закусил салом.

— Настоящее сало, украинское, — продолжал старшина. — Еще на Украине намародерничали. У-у, сволотня...

Закусывали, запивали из фляг немецким кофе и шли не останавливаясь. Теперь у нас была карта. Где-то километрах в восьми болото кончалось, там в него впадала узенькая речка. Нам предстояло добраться до нее, найти брод или еще какую переправу. К этому месту, по всей вероятности, торопились и немцы. На речке, у впадения ее в Гнилое болото, на карте стоял крестик.

Осенний день короток. Начало смеркаться, когда мы завидели эту речку.

Старшина опустил в воду руки, умылся, при этом он крякал, не столько от удовольствия, как от холода. Поняли и мы со Скаловым, что в такую воду можно лезть разве что под огнем. Походили по берегу — ни бревнышка.

— Вот что, хлопцы, — нашелся старшина, — соби-

райте хворост в лесу, свяжем из него какой ни на есть плотишко.

Так мы и сделали. Старшина отбирал небольшие длинные снопики, а мы их привязывали один к другому, как бревно к бревну, на один ярус клали второй, но уже поперек, потом третий.

— Серега-то давно во все посвящен. А ты, вижу я, все в книжонку записываешь. Так и обо мне черкни при случае. Война-то, она ведь, знаешь — сегодня жив, а завтра тю-тю...

До призыва в армию, рассказывал Иван, шоферил в колхозе, женился, родилась у него дочка.

— Ксаной нарекли, смешливая такая, пухленькая. Под немцами семья-то, — вздохнул Иван. — Как от Бреста ушли мы, так ни одной весточки. Может, и в живых нету. А мне ведь они живыми помнятся. Мать, поди, ждет. И винца для встречи припрятала, и погребное — моченых яблок. Она и под немцем сготовить сумеет. Дотошная она у меня. А Маринка, значит, жена, души во мне не чаяла, криком кричала, когда последний раз, перед войной, из отпуска провожала. И Ксана такая грустненькая, обняла меня за шею ручонками и не оторвешь.

Старшина умолк.

За лесом, с той стороны, откуда мы пришли, послышался гул моторов.

— Самолеты! Транспортные! — определил Сергей и поднялся.

— Десант! — отрезал старшина и схватился за пулемет. — Ну, хлопцы, дай бог ноги. Сюда они целят. Плот двоих подымет. Приказываю: старшему сержанту Скалову и младшему сержанту... Голос старшины звенел сталью, куда делась задушевность, что только была в нем. Глаза, серые большие глаза, смотрели строго. Даже Скалов не мог возразить ему.

— Я прикрою вас. Успеешь, Сергей, — вернешься за мной. Не успеешь — дуй до батальона. Передай карту, укажи место, где возможна переправа немцев. Ты не сможешь, — ты пойдешь, — взглянул старшина на меня. — Все! — И Подниминоги шестом оттолкнул плотик, а сам побежал с пулеметом выбирать позицию на опушке леса.

Скалов торопился, орудуя длинным шестом. Течения почти не было, и плотик быстро, гуляя из стороны

в сторону, продвигался по ледяной воде. Не успел он ткнуться в берег, как на опушке заговорил наш «дегтярев» танковый, а рев моторов стал удаляться.

— Высадились... — зло сказал Сергей и последним толчком шеста приткнул плотик к берегу. С опушки послышалась автоматная стрельба, потом опять пулеметная. Старшина бил поочередно, создавая видимость, что на опушке он не один.

— Дай-ка твой автомат, магазины. Одну гранату оставь себе, парабеллум тоже. И марш что есть духу в наши тылы. Связывайся со штабом бригады, батальона. Передашь все, что сказал старшина. Не возражать! Так надо, понял!

Я не успел ничего сказать, как он оттолкнулся и поплыл обратно. На опушке гремел огневой бой, наш танковый пулемет пока явно перебивал трескотню немцев. Слышались разрывы гранат. К пулемету присоединился звонкий голос автомата. Скалов, значит, вступил в бой. Чего же я стою, надо бежать выполнять приказ. Темнота со всех сторон окружила меня. Слева пахло сыростью болото — значит, я бегу правильно, болото все время должно быть слева, до той самой дороги, по которой мы ехали в батальон и наткнулись на немецкую колонну. Бежал я, наверное, с полчаса, пока окончательно не выдохся. Теперь шел, цепляясь за кусты, как за костыли, меня пошатывало, до умопомрачения хотелось пить. Два пистолета — один в кобуре, другой за пазухой — казались пудовыми. Но выкинуть я их не мог. Я бросил вещмешок с трофейными продуктами, отстегнул флягу, глотнул немецкого кофе, швырнул флягу и побежал дальше. Именно побежал.

— Стой, кто идет?

Я пластом лег на землю. До тылов было еще далеко, я даже до дороги не добежал. Кто же здесь, свои? А может, немцы? После раздавленного нами майора я решил не доверять даже тем, кто чисто говорит по-русски. Я затаился, вытащил парабеллум, приготовил гранату.

Послышались шаги, а потом тихие голоса:

— Осторожно. Вот здесь он шлепнулся, комар его забодай!

«Комар его забодай» — разве так скажет немец, хоть сто лет обучай его русскому языку. Я поднялся:

— Здесь я, товарищ. Свой, «Волга-два»...

С карабином на изготовку ко мне подходили двое.
— Опусти пистоль!
Я сунул парабеллум за пазуху, гранаты в карман и поднял руки вверх.
— Шаг в сторону — стреляю. Марш вперед! — командовал один из солдат. Меня повели.
— В штаб, ребята, да побыстрей! — попросил я.
— В который штаб?
— Все равно, батальона, бригады...
— Бегом марш...
Конвоир, что шел впереди меня, побежал, я за ним.
— Да опусти ты руки, видим, что свой! — крикнул мне задний конвоир. И от сердца у меня отлегло.
— Товарищ капитан, — докладывал я командиру мотострелкового батальона. — Я радист комбата Стрельцова. Наш экипаж ведет бой с немецким десантом. Вот карта, здесь отмечены координаты. Немцы готовят переправу... Нашим помочь надо.
Комбат отстегнул флягу и протянул мне: глотни, мол. Я отпил несколько глотков, спирт обжег меня, но в глазах было еще темно.
— Зорька! — крикнул комбат. — Свяжись с «Волгой-два». Лейтенанта Косоглазова ко мне!
Командный пункт батальона разместился в наспех построенном блиндаже, с потолка свисали свежие ветви, духовито несло смоляным запахом сосны.
— А ты, горемыка, отдыхай пока. — И комбат указал мне на нары.
— «Волга-два» у микрофона, — доложила Зорька.
— Капитан Стрельцов? Тут твой хлопец прибег. Радист Снежков. Живы пока все. Бой ведут. Самолеты, что мы засекли, десант сбросили. Немцы ночью не пойдут, а наутро ждите. Посылаю взвод и бронетранспортер на помощь твоим. Приглядим. — И повернулся к Зорьке: — Накорми хлопца.
Капитан вышел из блиндажа. В распахнутую дверь слабо доносились далекие выстрелы, с той стороны болота.
Зорька села ко мне на нары, придвинула котелок с еще горячей кашей. Я съел ложку каши, вторую — не смог, ложка выпала у меня из рук, и я заснул.
Разбудил меня грохот орудий, завывание мин. В блиндаже никого не было, я приоткрыл дверь и тотчас захлопнул ее. Блиндаж дрогнул, с крыши посыпа-

лась земля, запахло толом. Взрывной волной скосило один угол недолговременного укрытия.

«Вторым снарядом могут накрыть», — подумал я, вспомнив, как фашист своих же с третьего выстрела уложил. Я вскочил на ноги, распахнул дверь и — на волю...

Мимо с грохотом мчались наши танки, туда, откуда вчера прибежал я.

Значит, не ошиблись мы в своей догадке. Значит, я выполнил приказ... А ребята, как они? Поправляя кобуру пистолета, я побежал за танками. Наперерез мне из кустов выскочила Зорька. И я узнал, почему ее зовут Зорькой: спрятанные под кожаный шлем волосы радистки теперь растрепались огненным пламенем. Шлем она держала в одной руке, в другой — автомат.

— Стой! — крикнула она мне и упала, я грохнулся рядом. Разрыв снаряда засыпал нас землей.

— Там, у старой гати, немцы прорвались. В тыл заходят!

— Я сейчас... — Я вскочил, готовый бежать туда, где затонула наша «старушка».

— Куда ты, стой, шалавый! Один на роту? С пистолетами? — Только тут я заметил, что у меня в обеих руках по пистолету — мой и трофейный.

Из леса прямо на нас летел танк. Я кинулся навстречу. Сделал знак руками «Стоп». Танк качнулся и остановился. Я вскочил на броню и пистолетом застучал в люк командира, за мной на танк вскарабкалась Зорька, она была уже в шлеме.

Люк медленно открылся, и я чуть не отпрянул назад. На меня глядел мой комбат, капитан Стрельцов.

— Товарищ капитан, у старой гати немцы, в тыл заходят...

— Марш в машину! Под таким огнем разгуливает... А это кто? Ах, Зорька. И ты полезай...

В машине стало тесно.

— Костров, — приказал капитан командиру танка, — останавливайте первый взвод и ведите его к старой гати. Возьмите с собой радиста.

Лейтенант Костров и его радист выскочили из машины. Когда я уселся на место радиста, капитан спросил:

— Где ребята?

— Там. — Я указал рукой туда, где гремел бой

— А батя где? — спросил капитан присмиревшую Зорьку.

Слезы посыпались из ее глаз.

— Так... — вздохнул капитан и, открыв люк, высунулся по пояс.

Костров и его радист уже остановили следующие в колонне машины, взвод танков повернул к старой переправе. Комбат захлопнул люк, подождал еще немного.

— Как же его? — опять спросил он Зорьку. Она уже оправилась, сидела тихая, строгая.

— На рассвете, в первой же атаке, осколком мины.

По рации докладывали о подходе рот ротные не только нашего батальона.

— За мной. Делай, как я! — передал капитан команду, и танк рванулся навстречу бою. В углу, прислоненное к боеукладке, там, где сидела Зорька, стояло что-то в зеленом чехле, длинное сигарообразное.

«Знамя!» — мелькнула мысль, и я не удержался:

— Вчера я принял приказ комбрига, мы выполнили его...

— Ранен комбриг. В Москву увезли. Комбат-три убит, комбат-один убит, — отвечал мне капитан.

И я понял, что теперь Стрельцов командует бригадой, потому и знамя в его танке.

Машина мчалась вперед не по прямой, а зигзагами, все ее движения повторяли следующие за ней. Ежеминутно рвались снаряды. Немцы били с закрытых позиций, прямых попаданий не было.

Километрах в четырех от переправы бригада развернулась фронтом и встала. Тотчас к машине Стрельцова подбежали автоматчики и замаскировали ее хворостом, срезанными кустами, закидали землей. Капитан Стрельцов выпрыгнул из машины, к нему подошел лейтенант и доложил обстановку.

Ночью силами десанта противник вброд одолел речку Гнилую, занял плацдарм, выбил наш взвод автоматчиков. Началась артподготовка, под нее попал выходящий на позиции мотострелковый батальон и залег. Когда артиллеристы перенесли огонь вглубь, комбат вывел роты к берегу реки и здесь поспешно приказал окопаться. Вот уже три часа идет бой. Немцы бросают на наш берег роту за ротой. На той стороне стоят готовые

к переправе танки. Чего-то ждут. Наверное, атакуют самолетами, а потом и рванут...

— Потери?

— Треть состава выбыла из строя. Артдивизион без снарядов...

— Возьмите у танкистов. Сейчас подойдут резервы, подвезут боеприпасы. Назад ни шагу!

— Есть! — Лейтенант повернулся было, но капитан остановил его.

— Где комбат?

— Там, в окопе. Бойцы не уйдут от него! — Лейтенант приложил руку к виску, пальцы его растопырились, рука полусогнута.

— Веди к нему! — глухо сказал Стрельцов и направился за Косоглазовым. Я чуть не ахнул: да это же цыплячий лейтенант — тот, что задержал меня в Хабаровске.

В глубоком, в рост, окопе лежало тело, накрытое красным байковым одеялом, лицо, страшно знакомое лицо, было спокойно и чисто, как у живого. Глаза закрыты, руки скрещены на груди. Перед нами лежал старый друг Стрельцова, бывший пограничник, а затем комендант станции в Хабаровске, Семен Федорович. Вчера в полумраке блиндажа я не узнал его. Теперь все понятно. Зорька его родная дочь, капитан всюду возил ее с собой, так как семьи у него не было, семья погибла на заставе в первый день войны. Зорька ни за что не хотела расставаться с отцом. Об этом рассказывал Стрельцов еще в эшелоне. Но как все они очутились здесь?

Я не знал, что с того дня, как бригада вступила в бой, мотострелковый батальон пополнялся трижды. С последним пополнением прибыли и цыплячий лейтенант Косоглазов, и Зорька со своим батей...

Стрельцов встал на колени перед старым другом и трижды поцеловал его в лоб. Затем повернулся и долго смотрел на тот берег речки Гнилой.

Немцы окопались на нашем берегу, но все основные средства были на другом берегу и легко простреливали позиции бригады. Положение явно невыгодное. Но отходить — некуда. Ждут свежих частей. Приказано стоять насмерть.

К машинам вернуться мы не успели. Заговорила немецкая артиллерия, минометы. Дымом, распушенной

землей заволокло весь передний край. Немцы поднялись и пошли в атаку, молча, без единого выстрела. Уже видны их разгоряченные лица, поблескивают стволы автоматов.

— Передайте артиллеристам и танкистам: огонь по батареям противника на том берегу! — приказал Стрельцов Косоглазову и выхватил пистолет.

— Есть, товарищ капитан, передать! — доложил через минуту Косоглазов.

Капитан вскочил на бруствер, а за ним все, кто был рядом.

— За Родину! — закричал Стрельцов.

Ноги сами понесли меня за капитаном. Рядом со мной бежал цыплячий лейтенант, он что-то кричал, размахивая стареньким наганом. На бегу я оглянулся, позади нас серой стеной бежали мотострелки. Небо прорезали сотни снарядов и мин, и тотчас послышались разрывы на том берегу Гнилой. Немцы, услышав эти разрывы, растерялись, а с нашей стороны один за другим все еще неслись артиллерийско-танковые залпы.

Атакующие, ничего не понимая, остановились, а потом, не слыша поддержки своих, подавленных нашим огнем, повернули и побежали. Я стрелял с ходу, из обоих пистолетов, и все время бежал рядом с капитаном, за ним я прыгнул в опустевший окоп. Немцы вплавь перебирались через Гнилую, тонули. Вслед им неслись ругательства страшнее пуль.

— Косоглазов! — крикнул капитан. Грудь его высоко поднималась. — Лейтенант! — повторил он.

— Я слушаю... — раздался голос цыплячьего.

— Да не прикладывайте вы руку к козырьку, тут не строевые учения, — зло сказал Стрельцов и, когда лейтенант опустил руку и почувствовал себя сразу свободнее, добавил: — Держитесь здесь, пока возможно. Я организую вторую линию обороны. Снежок, за мной!

Мы бежали, стараясь не смотреть на трупы немецких и своих солдат. Но я все же смотрел, искал черные в куртках. Искал Ивана и Серегу, но их не было, а спросить кого-либо я боялся; у меня все же была какая-то надежда. Вывернутся хлопцы, где-то рядом они, вот придем к машине и встретим их, живых и здоровых.

У машины сидела Зорька, угрюмый на вид водитель и белесый, совсем молоденький командир орудия. Они кинулись нам навстречу и остановились.

— Живы, живы, — проговорил капитан, подошел к Зорьке и отечески тепло обнял ее.

Часа через полтора на позиции бригады налетели самолеты. Стонала и выла земля, опрокидывались танки от разрывов тяжелых бомб, горели от прямых попаданий.

Капитан Стрельцов запросил командование, он требовал приказа на отход и получил отказ. Где-то развертывались резервы, надо выстоять. И бригада стояла.

Захлебывались зенитные пулеметы и спаренные танковые, в упор встречая атакующих «юнкерсов». А тут еще заговорила немецкая артиллерия. Через Гнилую — вот оно воплощение мысли старшины Подниминоги — под водой переправлялись фашистские бронированные, зашпаклеванные простой паклей, смазанные солидолом, с поднятыми выше башни выхлопными трубами фашистские танки.

— Атакуют танки, — доложили из первой линии обороны. — Лейтенант Косоглазов убит...

— Танки прошли окопы, деремся с пехотой...

— Дайте огня, огня на нас... — голос в рации оборвался.

Было видно, как танки врага подходили ко второй линии окопов. Ушли, отбомбившись, самолеты, замолкла артиллерия. Нужно сбросить врага в Гнилую. Резервы на подходе, завтра 7 ноября.

Белесые волосы Стрельцова почернели от копоти, они выбивались из-под танкошлема, мешали смотреть, он зло затискивал их под шлем. Глаза капитана лихорадочно блестят. Какая танковая атака, капитан? Может быть, последняя.

— Знамя! — крикнул Стрельцов.

Огромный автоматчик, знаменосец бригады, нагнулся в люк и вытащил знамя, дернул за шнурок.

— Уступом справа! За Родину! — подал команду Стрельцов открытым кодом по рации.

Знамя пламенем взвилось над танком, машина понеслась, и знамя затрепыхало, запело.

Тщетно немцы пытались сбить головную машину, она казалась неуязвимой. Водитель не хуже старшины Подниминоги. При прямом попадании в броню «тридцатьчетверка» вздрагивала. Рассеивался дым, спадало пламя — и друзья, и враги видели, как танк Стрельцова снова мчался в бой, тараня и при резких пово-

ротах бортом срезая и опрокидывая немецкие машины.

Танковые порядки смешались, прошили друг друга и теперь вели бой пушка в пушку.

— Прикройте комбрига, комбрига прикройте! — летело по всем рациям приказание начальника штаба.

К нашей машине ринулись легкие танки, последний резерв бригады, разведрота. Рота на большой скорости вклинилась в немецкие ряды, просочившиеся через наши порядки, и с коротких дистанций расстреливала их. Немцы повернули и сшиблись со своими же машинами. Образовалась пробка.

Немецкий танк под косым вымпелом — знак командира части — давно пристреливался к Стрельцову, стараясь ударить в борт. Один из снарядов прямым попаданием заклинил башню. Упал знаменосец. Командир орудия, молоденький сержант, подхватил древко. Водитель выжал фрикционы, танк остановился, стрелять мы не могли. Фашист шел на сближение. Я выглянул из люка. «Тридцатьчетверка», крашенная в зеленый цвет, сейчас была черной, краска шелушилась от огня, и ветер сбивал шелуху. Блестящая гусеница с перебитым хребтом, уже не живая, лежала позади машины.

А немец надвигался. К нему подлетел наш танк из разведроты и ударил в упор бронебойным. Немец качнулся — и башня, опрокинувшись, описав при этом стволом пушки дугу в небе, грохнулась наземь.

— Покинуть машину! — приказал Стрельцов.

Из танка выскочил он последним и побежал вперед, к линии окопов. Знамя поплыло за ним. Вот оно замелькало в траншее. От реки двигались автоматчики. Капитан выскочил на бруствер.

— За Родину! — хриплым басом крикнул он.

Знамя качнулось и упало, как пламя, прижатое ветром к земле. Но к нему кинулся человек в черной куртке, подхватил и поднял его. Новый знаменосец оглянулся и прокричал:

— Вперед, капитан!

Это был Серега, живой и невредимый... Меня словно оглоблей ударило по ноге, я упал. А когда очнулся, то почувствовал, что меня кто-то тащит назад, в окоп, я пытался встать и не мог. Впереди к реке бежали все: танкисты из подбитых машин и мотострелки, писари и санитары. Я оглянулся и увидел пламя волос. Да это

же Зорька. Она тащит меня в окоп. И я сдался, сполз, опираясь на плечо девушки.

— Куда тебя? — спросила она, разрывая индивидуальный пакет.

Увидев струйку крови на голенище, я опять потерял сознание. Когда очнулся, страшно захотелось пить.

— Пить! Пить! — шептал я и, почувствовав горлышко фляги на губах, жадно стал глотать приятно холодную влагу. Напившись, открыл глаза.

— Зорька!

— Я здесь. Тебе больно? — послышалось откуда-то из темноты.

— Капитан где? Серега?

— Здесь я, Снежок. — Я узнал голос Сереги.

— Здесь, здесь я. — Над носилками, на которых меня несли, склонилось задымленное лицо Стрельцова. — Отходим, сменили нас свежие части. Немец за Гнилой остался. Завтра на парад с тобой пойдем? Ты был на параде?

— Буду... — тихо сказал я.

— И в Берлине будем! — добавил Сергей.

Глава третья

Заметала метель поля и леса Подмосковья. До земли сгибались под тяжестью снега мерзлые ветви деревьев, скрипели стволы от непомерной стужи. Сковало морозом речки и заболоченные поймы. Хоть пеши иди, хоть на коне скачи — не уходишься в полынье, не увязнешь в трясине.

Где-то в стороне от Наро-Фоминска не смолкая грохочут орудийные залпы, снаряды рвутся на обочинах шоссейных дорог, ведущих к Москве. Немцы держат эти пути под обстрелом, но не по ним отходят ожесточенные, потрепанные части Красной Армии.

Бойцы в одиночку и мелкими группами, оборванные, пропахшие потом и пороховой гарью, кто вооружен, а кто и без оружия, раненые и чудом уцелевшие от осколков и пуль.

До Москвы рукой подать... Не будь метели да унизанного морозными иглами воздуха, наверное, можно было бы различить неясные очертания пригородов столицы.

Рвался немец с севера от Звенигорода и с юга от Наро-Фоминска на Голицыно, а отсюда, замкнув кольцо вокруг пятой армии, оборонявшейся на этом направлении, враг должен был ударить на Одинцово, Немчиновку, Кунцево.

Но стояли еще наши у Нарских прудов, у Акулова и Кубинки, сдерживали напор фашистов. И не смог враг сломить стойкость красноармейцев. Немцы изменили план — от Акулова повернули в сторону Юшкова, Бурцева, Алабина... И опять Москва рядом. А от Апрелевки, что за Алабином, до Киевского вокзала час езды.

Мы стоим на выжидательных позициях. Мы — это танковый отряд в двенадцать машин — все, что могла выставить бригада в те критические дни. После боя на Гнилой речке бригады фактически не существовало, почти все машины остались на поле боя. Но как только сменившая нас дивизия потеснила немцев, танкисты вернулись на берег Гнилой. Заработали тягачи, потянули легко раненные и тяжело подбитые танки на заводы Подмосковья, здесь им меняли орудия, наваривали заплаты из брони, вдыхали жизнь в двигатели. Танкисты не отходили от своих машин, помогали рабочим, торопили их.

Я находился в бригадной санчасти, не лежал, а ходил, опираясь на суковатую палку: осколок не задел кости, и рана быстро затянулась. Чувствовал я себя хорошо, подумывал, как бы поскорее удрать от ласковых «помощников» смерти, как в шутку называли мы наших добрых медиков.

В палату вошел Скалов, за ним двигался — осторожно, чтобы не поднять тревогу в санчасти, Подниминоги. У Сергея в руках узел, он бросил его на пол у кровати.

— Все, как обещано. Облачайся, — тихо сказал Сергей. — Зорька прикрывает, санитара заговаривает...

На прошлой «свиданке» я взял слово с ребят, что они без меня не поедут на Гнилое болото вызволять нашу «старушку» из грязевого плена. И вот они пришли. Сердце у меня колотилось так, словно я снова очутился на прицеле пулеметов сожженного нами бронетранспортера. Натягивая сапог, я охнул.

— Больно? — участливо спросил Скалов, а Подниминоги оглянулся: не услышали ли санитары в своей

дежурке, дверь в которую была плотно закрыта вошедшей туда Зорькой.

— Немного, когда голенище натягивал, а сейчас — порядок, как в танковых частях. Дуем.

Я свернул матрас и накрыл одеялом, вроде бы я лежу. Затем мы тихо, как истые лазутчики, прокрались по коридору и вышли на улицу. За углом стояли два тягача, переговариваясь моторами на малых оборотах. Зорька прибежала минут через пять.

— Ну и санитар! — смеялась она. — Глядит на чучело под одеялом и говорит: «Видите, раненый спит, а коли спит, значит, здоровеет, и будить его не положено. Приходите, товарищ Чепурнова, вечерком». Я чуть не прыснула. Поскорее простилась с ним и бегом сюда.

Старшину Подниминоги в бою у Гнилой контузило, за сутки он отлежался, но еще малость заикался и слышал пока неважно. Комиссии ему никто не назначал, время не такое. В строю боец — значит, годен, и все.

Передовая от Гнилого болота совсем неподалеку, ворочается, урчит, а то раскатисто хохочет — это бьет шестиствольный немецкий миномет. Татакают пулеметы, изредка повизгивают пули и к болоту, шальные, залетают. Откуда такая траектория, не в небо же стреляют немцы?

Там, где затонула «старушка», образовалось целое озеро. Вода подернулась ледком — не вода, а желтая болотная жижа. Ледок трещит под ногами, зыбится. Где же наша машина? Куда ни глянь — никаких примет.

— Рванем гранатой! — предложил Сергей. И все поняли: лед надо убрать, а лучше, чем гранатой, ничем этого не сделаешь.

— Давай, Серега! — согласился старшина. — Марш в укрытие.

Я, Зорька, водители тягачей и старшина спрятались за кочками на берегу. Сергей метнул гранату и тоже, как и мы, нырнул за кочку.

Взрыв поднял столб воды, который рухнул вниз и загремел, как высыпанные из мешка осколки битого стекла. Вода в открывшейся полынье колыхнулась, словно густое масло, и успокоилась. Как ни вглядывались мы в ту воду, так ничего и не увидели.

Подниминоги сбросил полушубок и начал стягивать сапоги.

— Ты что, сдурел? — набросился было на него Скалов, но старшина грозно посмотрел на него: мол, легче на поворотах:

— Командую здесь я!

Когда старшина начинал выражаться в подобном стиле, перечить ему — что в стену горохом палить. Пока он раздевался, тело покрылось гусиной кожей. Но Подниминоги не думал отступать. Скалов достал из кармана полушубка флягу.

— Может, для согрева глотнешь? — предложил он.

— Пока не треба. Готовьте трос... — Подниминоги, поеживаясь и вздрагивая, когда под голую ступню попадала острая корка смерзшейся земли или камень, пошел к полынье.

Вот он, не охнув, сразу же по пояс очутился в воде и быстро двинулся вперед, погружаясь по грудь, а затем и совсем скрылся в болотной жиже. Видать, дно болота твердое, не заметно, чтобы старшина вытягивал ноги из тины, при этом человек обязательно качается из стороны в сторону, а старшина шел прямо и быстро.

Какие-то мгновения находился он под водой, а нам казалось — целую вечность. Да и как не казаться, — всякое может случиться: и напороться можно на штык или другую какую острую железяку, а то и просто провалиться в преисподнюю, по такой густой жиже и плыть-то, наверное, нельзя. Трясина однажды едва не засосала старшину — хорошо, тогда Скалов с жердью подоспел...

Старшина вынырнул и, зафыркав, поплыл. Оказывается, плыть все же можно и по болоту.

— Трос! — хриплым голосом крикнул Иван, присел и по самую шею оказался в болоте. В воде-то, как ни говори, теплее.

Второй раз Подниминоги нырнул с тросом. И долго возился под водой, но нам показалось, что он тут же появился на поверхности. Просто радость от того, что старшина нащупал «старушку», заставила нас забыть о времени.

Подниминоги, покачиваясь, вышел на берег. Болотная вода струйками сбегала с него. Скалов быстро накинул на Ивана полушубок, своим завернул старшине

ноги. Иван не возражал и, когда Сергей протянул ему флягу со спиртом, жадно припал к ней. Два тягача, расходясь немного в стороны, медленно натягивали трос. Вот он зазвенел, как струна. Взревели дизели. Старшина, опустив руку с флягой на колени, тревожным взглядом окидывал то болото, то тягачи.

Трос пел, утоньшаясь, вытягиваясь, но тягачи не могли сдвинуться с места. Тогда старшина вскочил, быстро натянул сапоги и без полушубка, в одном комбинезоне, побежал к тягачу, сел за рычаги.

Натужно работает двигатель. Старшина медленно включает фрикционы, и медленно-медленно тягач трогается с места. Но уже колыхнулась масляная поверхность полыньи, вот ее словно чем-то разрезали надвое — завертелись, замельтешили большие и малые воронки. Тягачи пошли быстрее. Из воды вынырнула пушка, вернее, конец ствола, и тотчас показалась обмазанная глиной башня. Мы кинулись навстречу выплывающему танку.

Старшина поддал газу, и «старушка» рывком выскочила на бревенчатый обгорелый настил.

Подниминоги остановил тягач, выбрался из кабины. Глаза его блестели. Он плеснул на сложенную лодочкой ладонь спирту и протер грязное лицо. Оно сияло.

...И вот наша «старушка», залатанная, возрожденная, окрашенная в белый цвет — под снег — снова шла на позиции. Она — головной танк всего отряда. Командует нами капитан Стрельцов. Раненный в руку, комбриг вернулся в строй и сейчас вновь формирует бригаду, ждет новых машин с Урала, за ними уже выехали команды.

Мы стояли и ждали пограничный полк, штаб которого находился где-то в Больших Вяземах или в Одинцове. Наконец стало известно, что мы входим в сводную группу, которой командует капитан-пограничник Дженчураев, заместителем у него — лейтенант Антонов. Пока для меня это только фамилии. Хотя я и сам в танкистах оказался случайно, но уже как-то свысока смотрел на пехоту и не понимал, почему танкисты подчиняются пехоте, а не она им. За дни боев казалось ясным, что танки — главная сила и в обороне и в прорывах. Правда, пехота сопровождала и поддерживала нас, крепко поддерживала, а все же...

Меня подозвал капитан Стрельцов. За капитаном я стал замечать странное: люди в боях седеют, а наш комбат чернел с лица и волосом, он теперь выглядел русым, а не белокурым.

— Поедешь, Снежков, связным к пограничникам, — приказал комбат.

Мне не хотелось покидать свою «старушку», и впервые я с неприязнью подумал о Зорьке: она все чаще сидела за моей рацией. Но я тут же прогнал эту мысль, девчонка осталась сиротой, самый близкий ей человек — это наш капитан. Куда же она пойдет от него?

— Есть, быть связным. А с рацией как?

— Возьмешь нашу, носимую...

Нагруженный рацией, я прибыл на командный пункт сводной группы. Командира группы на КП не было, меня встретил его заместитель лейтенант Антонов.

— Располагайся, отдыхай пока, — показал он мне на широкие нары во вместительном блиндаже еще довоенной постройки. Здесь когда-то находился военный лагерь. На нарах сидел сержант, и, когда я взглянул на него, он загадочно улыбнулся, я оторопел на секунду и выкрикнул:

— Васька! Карасев Васька!

— Он. Собственной персоной, товарищ младший сержант! — Карасев легко спрыгнул с нар.

И тут я опять, как когда-то в детстве, ощутил его преимущество над собой. Высокий рост, широкие плечи. Васька был старше меня года на три, ушел служить в армию еще до войны. А белый свет мы увидели в одном городе, на одном дворе. Сражались в козны-бабки, в лапту гоняли. Васька над нами, меньшими, всегда брал верх. Выигрывая в свайку, так загонял колышек в землю, что приходилось эту землю зубами грызть, чтобы вытащить колышек. Но Ваське Карасю прощалось все. Когда с соседней улицы Братьев Коростелевых, которую старожилы, а за ними и мы, мальчишки, все еще называли по-старому Уральской, скопом наваливались на нас и подростки и парни, Васька Карась становился впереди нашей ватаги.

— Казаки! — кричал он.

«Казаками» всегда были уральцы, а мы «разбойниками», но от «казаков» наша ребятня не бегала, не пряталась. На крик: «Казаки» — огольцы выбегали со

всех дворов, собирались вокруг Васьки Карася и двигались навстречу «казакам».

Бывали случаи, что на нашу окраину для прекращения «побоища» наезжала конная милиция. И — словно ветром сдувало и «казаков», и «разбойников».

Хорошим парнем был Васька Карасев. Потом он как-то незаметно отошел от нас. Мы винили в этом голубоглазую девчонку с Садовой, а вскоре и сами стали заглядываться на девчат. Василий ушел в армию, а через год началась война. И вот мы встретились...

Василий обнял меня, похлопал по спине, заглянул в глаза.

— Давно из дому? — спросил он и, опустившись на корточки, подбросил дровец в круглую печурку. Пламя осветило его обветренное, сожженное стужей лицо.

— Давно, — ответил я и присел на нары.

— Письма как доходят?

— Редко... — упавшим голосом сказал я.

— Ну, ну, солдату вздыхать не положено по уставу, — заговорил Василий тоном старшего. — Кочуют наши адреса, вот и не угонится за ними почта. Отшвырнем фрица от Москвы, и письма найдут нас, целый вагон писем!

Распахнулась дубовая дверь блиндажа, на пороге показалась высокая фигура в зеленой фуражке. Лейтенант Антонов оторвался от карты, поднялся, вскочил Карасев, за ним и я.

— Здравствуйте. Вольно, вольно...

В блиндаж, гремя шпорами и шашкой на ступеньках, спускался капитан Дженчураев, за ним — ординарец.

— Ну, лейтенант, дали нам задачу... — Дженчураев отстегнул клинок. — Мешается только.

Меняются времена, меняется оружие, — капитан рывком до половины обнажил клинок, по глазам словно полоснуло, я даже зажмурился.

— Прости, дорогой друг, — продолжал капитан, обращаясь к своему клинку. — Немало поработали: басмачей рубали, фашистов. — Обеими руками он поднес клинок к губам и поцеловал — сталь помутнела. Клинок влетел в ножны. Капитан подал его ординарцу. — Прибереги. И давай-ка, друг, валенки. А сапоги тоже прибереги, для парада в Берлине сгодятся! И ты тоже не нужна. — Дженчураев снял щегольскую фуражку с

зеленым верхом и натянул, чуть набекрень, лохматую кубанку. — Дело будет горячее, кабы холодно не было...

— Выстоим, Джеманкул Дженчураевич, — вновь усаживаясь к столу с разостланной на нем картой, сказал лейтенант Антонов, совсем еще молодой, не старше Василия Карасева, в распахнутом белом полушубке, ушанке и валенках.

Оказывается, лейтенант и раньше посмеивался над щеголеватостью своего начальника, не удержался он и сейчас:

— А в отношении перевооружения сам командующий вас одобрит. Клинком немца не доймешь и зеленой фуражечкой на таком морозце не напугаешь...

Карие глаза капитана блеснули, скуластое, узкое к подбородку лицо чуть пополнело от улыбки, но тотчас стало строгим.

— Бурмистров, — позвал капитан ординарца.

— Я здесь! — Бурмистров, укладывающий вещи своего командира в углу блиндажа, шагнул вперед.

— Зови командиров...

— Есть! — Бурмистров козырнул и бегом кинулся выполнять приказание.

— Сержант Карасев, — позвал капитан.

— Я слушаю, товарищ капитан!

— Пойдешь в разведку. Сдавай документы и придвигайся к карте...

Капитан полистал комсомольский билет и увидел в нем фотографию любимой девушки сержанта.

— Как смеешь? Здесь же портрет Ленина! А еще сержант. Убрать.

Сержант вспыхнул было, дрожащей рукой взял фотографию, намереваясь сунуть ее в нагрудный карман гимнастерки, взять с собой.

— Отставить!

Сержант Карасев, мой земляк, наш дерзкий уличный заводила, только и сказал:

— Есть!

А ведь у меня в комсомольском билете тоже хранится фото.

Я смотрел на капитана-пограничника и сравнивал его со своим комбатом. Дженчураев, конечно, строже, какие-то металлические нотки звучат в его голосе, но строгость не мешает ему быть наивно-сентиментальным,

да и наивность ли это прощание с клинком, как с настоящим другом? Плакал же Иван Подниминоги, когда «тридцатьчетверка», израненная, с заглохшим мотором, уходила в трясину Гнилого болота? Едва ли это чувство можно назвать сентиментальным.

Дженчураев старше нашего Стрельцова, ему даже басмачей рубать довелось, молодым, наверное, ушел в армию. И так, должно быть, как отец Зорьки, комбат мотострелкового, убитый у Гнилой речки, схватился с фашистом в первый день войны. Может, и у Дженчураева семья погибла?

Трудно понять, кто по национальности этот капитан, — киргиз, казах? По-нашему говорит чисто — значит, давно среди русских.

В блиндаж один за другим входили командиры:

— Младший политрук Ульянов...

— Лейтенант Косоглазов...

Я не верил своим глазам, я слышал сам, как радировали из первых траншей у Гнилой, что лейтенант Косоглазов убит, а выходит, уцелел.

Лейтенант одет в полушубок, ушанку, валенки. «Цыплячьего» в нем ничего нет, а вот рука по-прежнему изогнута к виску.

— ...Командир смешанного взвода, — продолжал докладывать Косоглазов.

«Ах, вот в чем дело, теперь все понятно», — отметил я про себя. Красноармейцев и командиров, с оружием и без оружия, пробившихся из окружения, пограничники задерживали и тут же формировали из них подразделения и снова посылали в бой. Такой взвод и доверили Косоглазову.

Последним на КП Дженчураева прибыл мой капитан. Он оглядел собравшихся, козырнул и скромно представился:

— Капитан Стрельцов...

Мне даже как-то обидно стало за эту скромность, почему он не сказал хоть бы «командир танкового отряда».

— Здравствуйте, дорогой друг! — Дженчураев кинулся навстречу моему капитану, тот подал ему руку, пограничник крепко пожал ее и потянул Стрельцова к столу: — У меня всего три взвода, по два десятка штыков в каждом. А немцев перед нами не сосчитать...

— Знаю, — ответил Стрельцов и присел у краешка стола.

— Так начнем? — Дженчураев обвел собравшихся взглядом светло-карих глаз. — Докладываю обстановку...

На меня никто не обращал внимания, я вытащил из-за пазухи записную книжку, вернее тетрадь, сделанную из старых топографических карт, и принялся записывать, что, по моему пониманию, было главным в словах командира сводной группы. Задача не из легких. Группа должна выбить немцев численностью до батальона пехоты с танками и артиллерией из сел Юшково и Бурцево и продержаться там до подхода частей из Москвы.

Дженчураев предлагал нанести удар в ночном бою, у него все продумано, поставлены задачи командирам взводов, выслана разведка.

— Бурмистров, чайку! — бросил между делом капитан.

— Есть чайку! — ответил ординарец. Хлопнула дверь блиндажа.

— Как будем взаимодействовать? — Дженчураев не приказывал моему капитану, он спрашивал совета.

У Стрельцова тоже все заранее продумано. Как только стемнеет, танки группами в три-четыре машины с разных направлений откроют огонь по немцам, при каждом огневом налете танкисты будут менять позиции и создадут видимость, что против немцев стоит не маленький отряд танков, а целая часть, артиллерия и прочее.

— Главный удар нанесем перед рассветом, а танками потревожим с вечера. Немцы к утру не выдержат мороза и уйдут из окопов в избы, погреться... — заключил Стрельцов.

— Правильно. Если не уничтожим фрица ночью, днем он сомнет нас! — И светлые белки узких восточных глаз сверкнули. — А теперь попьем чайку. Бурмистров!

На столе появился трехведерный, не меньше, медный самовар. Ординарец, видимо, отлично знал вкусы капитана — любил тот, по обычаю своих родичей, потчевать гостей чаем — и в обозе хранил изрядно помятый самовар. Оказывается, были и фарфоровые пиалы, да все побились.

Бурмистров следил за всеми, предлагал подлить чайку, подсластить, придвигал сухие, жесткие, словно копыта, галеты.

Пили крепко заваренный чай из солдатских алюминиевых кружек и крышек от котелков.

— Крут кипяток. Люблю! — говорил Дженчураев и, смешно вытягивая губы, дул в кружку.

— Вам бы сейчас кумыса. Давно, наверное, из дому? — заговорил Стрельцов.

— Три года скоро. А кумыс я и на западе пил, — ответил Дженчураев, и глаза его сощурились, словно не кипяток глотал, а мед.

— На западе вроде бы кумысом не балуются? — удивился Стрельцов.

Дженчураев улыбнулся, и опять лицо его пополнело.

— А пивал кумыс на западе я таким образом. Засну, а во сне Киргизия привидится, аил родной, во сне и утолю жажду. А началась война — сна нет и кумыса нет.

Открылась дверь, в блиндаж хлынули клубы морозного воздуха, к столу подошел боец в белом маскировочном костюме:

— Связной от Карасева. Разрешите доложить?

— Докладывайте!

— Фриц выходит из окопов, к деревне пробирается.

— Так, — как бы в раздумье проговорил Дженчураев, — рановато. Надо загнать их в окопы. Пусть мерзнут. Приступайте, товарищи командиры!

Но не успели командиры уйти из блиндажа, дверь еще раз дохнула морозом — и перед Дженчураевым предстал молоденький лейтенант.

— Командир «катюши», — отрапортовал он дискантом. — Куда прикажете дать залп? Но учтите, один залп... — Лейтенант, видимо, боялся, как бы его не заставили сделать несколько залпов.

— Вот друг так друг! — Дженчураев обнял лейтенанта. — Садись, по восточному обычаю сначала накормят гостя, а потом о деле толкуют. Время у нас еще есть...

Капитан сам налил лейтенанту чаю, придвинул стопку галет, куски сахару.

— Не откажусь! — только и сказал лейтенант и принялся за чай, обхватив обеими руками горячую алюминиевую кружку.

— Приступайте! — повторил капитан свой приказ.

Девять наших машин в трех направлениях, на каждом по три танка, ринулись к немецким передовым. Оставшиеся у КП три тяжелых танка должны были прикрыть огнем, если понадобится, отход средних.

Не доезжая траншей, танкисты открыли убийственный огонь по деревне, в небо поднялись столбы пламени, цель накрыта. Второй огневой налет пришелся по самим траншеям. Танки повернули, на большой скорости отошли на исходные — и опять грянула мощная скороговорка танковых пушек и крупнокалиберных зенитных пулеметов. Жестоко застучали станковые пулеметы пограничников. Три КВ, получив приказ Стрельцова, тоже ударили.

И по тому, как немцы ответили беспорядочным шквалистым огнем из минометов, противотанковых орудий, можно было предположить, что они сбиты с толку.

Танкисты и пограничники-пулеметчики трижды повторили удавшийся маневр и затаились, притихли. Немцы, постреляв наобум, тоже прекратили огонь, но покидать траншеи уже не решались.

Вернулся из разведки сержант Карасев, белый, заснеженный до самых глаз, он сугробом ввалился в блиндаж, за ним двое пограничников втолкнули немца.

— Товарищ капитан, разрешите доложить... — воздух в блиндаже дрогнул от баса Карасева. Капитан кивнул, а сержант продолжал: — Уничтожено передовое охранение противника, станковый пулемет, противотанковая пушка. Ни один фриц не ушел, а вот этого, — сержант кивнул на пленного, — с собой прихватили.

— Чон рахмат, то бишь спасибо, батыр! — Капитан обнял Карасева, прижал к груди, — Иди отдыхай!

— Есть!

— Ой, лейтенант, лейтенант, — обращаясь к Антонову, завздыхал капитан, — на каком языке допрашивать эту сволочь? — по-русски — бельмес, по-киргизски — бельмес. А надо бы кое-что выведать у него. Хотя бы узнать, что думают о нашей обороне фрицы...

Немец смотрел исподлобья, плеч не сутулил, одну ногу чуть вперед выставил. Капитан сверкнул белками глаз, карие зрачки стали темней. Немец глянул на капитана и вздрогнул. Таких русских он, наверное, еще

не видел. Древних монголов Чингиса да Батыя по истории знал, вот, наверное, и решил, что попал к такому монголу. Этот не пощадит. В глазах немца мелькнула тень растерянности. Замешательство врага не ускользнуло от зорких глаз капитана, он сразу же словно в атаку пошел:

— По-русски понимаешь?

Немец обалдело вытянулся по стойке смирно.

— Понимаешь, спрашиваю?

Гитлеровец отрицательно замотал головой. В блиндаж вошел комбат Стрельцов, он будто выплыл из плотного облака и мороза. «Значит, снаружи еще сильнее похолодало», — подумал я и шагнул к пленному, собирая в памяти все немецкие слова, что остались у меня после школы. Говорил я скверно, а ответы немца совсем не понимал. На выручку пришел мой комбат, и допрос потек как по маслу.

— Говорите спокойнее и реже, от этого зависит ваша судьба, — прервал Стрельцов скороговорку пленного.

В начале допроса мы еще сдерживали улыбки, довольные тем, что сумели обмануть врага. Немцы действительно в замешательстве. Они не понимали, откуда перед ними появились русские с танками, артиллерией. По сведениям разведки, в этом направлении дорога на Москву открыта. Мелкие группы пограничников не могут сдержать непобедимые войска империи.

Но то, что немец сказал дальше, заставило нас похмуреть, а у меня, как говорят, сердце екнуло. Я с тревогой посматривал на капитанов, на лейтенанта Антонова. Перед нами, в полукилометре, сосредоточился целый полк немцев. С подходом последней группы танков, завтра утром, им приказано атаковать и прорваться в тыл войск, обороняющих Москву.

Показания немца подтвердились разведчиками сержанта Карасева, которые установили, где и какие огневые средства и подразделения расположены у противника.

Мы знали, что враг силен и задача сложна, но никто не предполагал вести бой маленькой группой с целым полком фашистов. Не самоуничтожению ли это подобно? Там, на Гнилом болоте, дралась бригада, насмерть стояла. Бригада! А у нас что? Пехотинцы из разных подразделений, пограничники, пусть и опытные,

а сколько их? На каждый штык — двадцать гитлеровских, на один танк — три-четыре...

Пленного увели. Командиры молчали. Они, наверное, думали о том же, что и я. Сейчас доложат в штаб обстановку, к нам подойдет подкрепление. Или еще какой-нибудь маневр возможен?

— Что думает капитан? — спросил Стрельцов Дженчураева.

— Думаю пройтись по расположению группы, поговорить с народом. Помощи нам ждать неоткуда. Пойдемте, капитан. С народом поговоришь, посмотришь на него, он на тебя — и силы прибудет. Антонов, донесение с показаниями пленного да и самого пленного отправьте в штаб полка.

— Есть отправить. Машиной?

— Да. Побыстрее.

И я опять подумал, что командир группы все же надеется на подкрепление или отмену приказа, поэтому и посылает донесение.

Из блиндажа я вышел вместе с капитанами. Земля дышала промозглой стужей, снег слепил неистовой голубизной. Луна, обрамленная серебристым венцом, словно опушенный инеем фонарь, кажется тоже заснеженной. В глубоких траншеях старого военного лагеря — только сторожевые посты да дежурные расчеты у пулеметов. Остальные бойцы в блиндажах.

Вот гнездо станкового пулемета, у него на прицеле центр деревни. Там пылает какое-то строение, зажженное огнем наших танков. Вокруг пожарища толпятся немцы. Человек тридцать собралось, не меньше.

— Командир расчета сержант Васюков! — вскинулся перед нами пулеметчик.

— Фрицев видишь? — спросил Дженчураев.

— Так точно, товарищ капитан, греются...

— Да ты, кажется, жалеешь их? Или патронов мало?

— Да что вы, товарищ капитан, не жалею, а жду, когда поболе их вокруг кострища соберется, тогда и подброшу им огонька. Вот сейчас самый что ни на есть момент. Разрешите?

Пулемет заговорил как-то весело, голосисто.

— Молодец, сержант. Орлиный глаз! — одобрил стрельбу пулеметчика Дженчураев и подмигнул Стрельцову. Мой комбат вроде бы не разделял восторга ко-

мандира группы, да и мне как-то стало нехорошо. Одно дело, когда немцы идут в атаку и ты их бьешь, а когда вот так неожиданно...

— Пока у солдата есть хоть капля жалости к врагу, он не победит, — проговорил Дженчураев, словно прочитал мои мысли.

— Не поэтому ли мы отступаем? — спросил Стрельцов.

— Не отступаем, а отходим, — сухо ответил Дженчураев и, поскрипывая снегом, прошел к блиндажу и толкнул дверь.

— Товарищ капитан... — вскочил дежурный у входа.

— Вольно, вольно... Отдыхайте, — остановил его рапорт Дженчураев и опустился на патронный ящик, поставленный на попа.

Блиндаж освещала примитивная лампа, сработанная из снарядной стреляной гильзы. Во вместительном блиндаже густо накурено, здесь собрались бойцы-пограничники и танкисты погреться перед боем у железной печки. Сержант Карасев что-то рассказывал, но замолчал, увидев командиров.

— Продолжай, сержант. И мы послушаем, — сказал Дженчураев.

— Есть продолжать, — с готовностью ответил Карасев, притушил самокрутку, чтоб даром махра не горела, — говорить и курить, что два дела делать: — Так вот, значит, жуют господа буржуи рябчиков жареных, а кости незаметно Александру Сергеевичу подкладывают. Смотрите, мол, каков обжора! Посмеяться решили над Пушкиным. Поели, шампанским запивают и хихикают. Александр Сергеевич посмотрел на них и говорит: «Не из немцев ли, господа — даже кости жрете!»

Блиндаж громыхнул здоровым дружным хохотом.

— Вот это да!

— На то он и Пушкин!

— Пушкин все умел. А вот ты, сержант Карасев, что бы делал, если бы сегодня к утру на тебя одного с десяток фрицев навалилось? — неожиданно для бойцов спросил Дженчураев.

— Да их от самой границы на меня не меньше приходилось, — нашелся Карасев.

— И что ты им, анекдоты рассказывал?

— Бил и буду бить, товарищ капитан!

— Значит — бить? А как думают остальные?

— Сейчас у всех одна дума, — ответил за всех старшина Подниминоги и соскочил с нар, за ним поднялся с поленницы дров старший сержант Скалов, они двинулись к выходу. — Мотор погреть треба, — проходя мимо Стрельцова, как бы извинялся старшина. — Чую, жарко буде...

Когда возвращались на командный пункт, луна еле проглядывалась, затянутая морозом.

— Хороша погодка. Фриц в такую стужу в окопах не усидит. Подождем мало-мало и ударим.

А когда зашли в блиндаж, Дженчураев спросил Стрельцова:

— Ты как, друг, может, сомневаешься?

Стрельцов снял танкошлем, словно ему было жарко, присел к столу.

— Хуже всего, капитан, когда тебя одолевают сомнения, — начал мой комбат как-то философски. — Но что поделаешь, таков уж человек. Начнется бой — сомневаться поздно. Так давайте сейчас разрешим все. У нас единственная надежда на успех — внезапность, атака, а не оборона. Ночная атака, капитан. Если обороняться, немец своим превосходством сомнет нас. Лечь костьми никогда не поздно. В этом у меня сомнений нет.

— А я-то думал, капитан, друг ты мой... Но прости, прости. Засомневался я в тебе, когда пожалел ты фрицев, отправленных к аллаху сержантом Васюковым.

Антонов похрапывал на нарах, упрятав голову в воротник полушубка.

— И нам часок соснуть не мешает. Бурмистров!

— Я слушаю!

— Через час сыграешь подъем!

— Есть!

Сон сразу же сморил меня, словно я не думал незадолго перед этим о самоуничтожении, о безрассудности атаки на позиции немецкого полка. Бесшабашность Карасева, спокойная уверенность Подниминоги и Скалова, дерзкое единство всех бойцов — бить врага, как бы силен он ни был — зарядили и меня бесстрашием, сняли все сомнения. Но сомневался в ту ночь не только я и мой комбат. За час до атаки на командный пункт примчался на мотоцикле связист из штаба полка,

Он привез приказ — держать оборону на позициях бывшего военного лагеря, атак не предпринимать.

Дженчураев побагровел, глаза его сузились и потемнели. Он ругался и в Христа и в аллаха.

— Да как здесь удержишься? На такой узкой полоске? Обойдет фриц, если в лоб не сломит. И так и эдак — выйдет к нам в тыл... Слушай, связной, не видел я тебя и приказа не видел, понял? Застрянь со своим мотоциклом где-нибудь в сугробе на полчаса. Ответственность беру на себя. Если бы командир полка был здесь, он поступил бы точно так же, атаковал. Но пока связываешься с ним, доказываешь — рассветет — и, как говорят немцы, капут нам. Капут! Нет, нет...

— Пожалуй, командир группы прав, — вмешался Стрельцов. — Обороняться здесь против полка безрассудно, ты и сам понимаешь. Я вот что предлагаю. Ты не видел капитана Дженчураева. Он со своими пограничниками на восьми танках уже в атаке, а я с остальными машинами и красноармейцами остался на рубеже лагеря для обороны и прикрытия. Мне ты и вручил приказ. Пойдет так?

— Рахмат тебе, друг! — Дженчураев обнял Стрельцова. — И тебе, связь, рахмат, — спасибо, значит. — Капитан так же горячо обнял лейтенанта-связиста, которому ничего больше не оставалось, как согласиться с доводами двух капитанов.

В 6 часов 00 минут без сигнала началась атака. Пограничники, под прикрытием темноты не замеченные врагом, сосредоточились в юшковских огородах. Разом по деревне ударили танки — и атакующие, и оставленные для прикрытия. Не успели отгрохотать разрывы снарядов, басовито, с присвистом послала свой залп «катюша». Хвостатые молнии вспороли темноту, и там, где скрывались они, поднялось зарево. Пограничники пошли в штыковую.

Я с рацией еле успевал за передвижным КП Дженчураева. Я держал связь со всеми машинами и готов был корректировать их огонь.

Пограничники с ходу сняли сторожевое охранение и ворвались в горящую деревню, в окна уцелевших изб и домов полетели гранаты. С северной и восточной стороны в Юшково мчались наши танки, давили гусеницами технику и вражеских солдат, которые в одном белье метались по горящим улицам.

Мы пробирались к центру деревни, там задержались гитлеровцы.

— Попроси-ка, джигит, огоньку! — приказал мне Дженчураев.

Немцы вынудили нас залечь. Я быстро связался с капитаном Стрельцовым, а вот и результат: по центру ударили танки прикрытия, враг побежал.

Командный пункт Дженчураева расположился в правлении колхоза, и сейчас же сюда стали поступать донесения.

— Товарищ капитан, лейтенант Антонов ранен.

Дженчураев склонился над носилками. Антонов, увидев капитана, оживился было, заговорил:

— Цел, командир! Очень рад за тебя. А я вот не уберегся. Пулемет гранатой снял, а сам... Ты уж прости меня. Как дела-то наши? — Запекшиеся губы Антонова сомкнулись.

— Задание выполнено. Немцы выбиты из деревни.

— Продержалась бы темнота, капитан, отойти бы... — Антонов терял силы.

— Товарищ капитан, младший политрук уб... — и, встретив взгляд капитана, осекся на полуслове.

— Возьмите бойцов, вынесите Антонова. Тела павших тоже не бросать.

Заиндевевшие окна бывшего колхозного правления посветлели. Рассветало. Дженчураев подошел к окну. Плечи его в белом полушубке, перетянутом желтыми ремнями портупеи, слегка вздрагивали, но лица капитана никто не видел. Понуро сидели вокруг бойцы, раненный в руку связист, ординарец, два или три пограничника. Они ждали приказа командира, а он не знал, сколько еще товарищей могут держать оружие. Танки целы, это они ведут бой и гонят немцев все дальше на юг.

Но обстановка с рассветом изменилась. Из соседней деревни Бурцево с церковной колокольни открыли огонь немецкие станковые пулеметы. По центру Юшкова ударили минометы и ожившая артиллерия. К переправе торопились танки врага.

— Дайте огня по колокольне! — кричал я в рацию и слышал спокойный голос Стрельцова:

— Даю! Начинайте отход!

— Танки! Семь танков отрезают нас! — кричал я в микрофон открытым кодом.

— Вижу. Атакую!

Выскочив из поймы реки, наша «старушка» пристроилась в хвост немецкой колонне. Я представил своих друзей по экипажу. Сосредоточенные, закопченные пороховой гарью лица Подниминоги и Скалова — один вцепился в рычаги, другой приник глазом к прицелу, ждет команды капитана. А Зорька? Как там она, вообще-то и она молодец, но подавать снаряды ей тяжеловато. Волосы у нее, наверное, не рыжие, а черные от копоти, и пропахли толом.

«Старушка» на полном ходу замерла, дернулся ствол — и замыкающий немецкую колонну танк вспыхнул. Подниминоги тотчас обошел горящую машину и настиг вторую, потом третью. Тяжелый танк, оставленный для прикрытия, ударил по головному немцу, колонна смешалась. Она так и не дошла до Юшкова.

А к Юшкову с юга уже подходил развернутыми цепями немецкий стрелковый батальон. Я снова просил огня и снова слышал спокойное:

— Даю!

Танки сводной группы в Юшкове и с рубежей военного лагеря из пулеметов и орудий ударили по наступающим. Ураганный огонь открыли пулеметы прикрытия, стараясь выполнить поставленную задачу до конца и дать возможность отойти нашим на исходный рубеж.

Велик был напор огня, но страх подгонял врага сильнее. Подразделения немцев, разбитые в ночном бою, в панике смяли боевые порядки своих же подходящих частей, и все они скопом покатились к югу, бросая технику и снаряжение.

К командному пункту, переваливаясь с борта на борт, подошла наша «старушка», с брони соскочил сержант Карасев и вбежал в избу.

— Товарищ капитан, товарищи... — пробасил он. — Отходит, бежит немец, елки-палки. Юшково наше, Бурцево наше. Из Одинцова подошла танковая гвардейская. Взгляните, товарищ капитан, вот они: танки, артиллерия, автоматчики. Победа!

Дженчураев повернулся от окна, теперь совершенно светлого, игравшего всеми цветами восходящего солнца.

— Победа, победа, дорогие мои братки! — сказал капитан и быстро пошел к выходу.

Из башни «старушки» вылезал капитан Стрельцов. Дженчураев шагнул навстречу ему, мы с Карасевым — за ним. Притаившийся у догорающего амбара раненый гитлеровец вскинул автомат. Грянула очередь. Карасев успел прикрыть Дженчураева, и они оба упали. Спрыгнувший с танка капитан Стрельцов добил гитлеровца из пистолета и тут же сам охнул, шальная пуля угодила ему в ногу. Скалов подхватил капитана.

— Да... Обожгло. — Стрельцов отстранил старшего сержанта и, стараясь не припадать на раненую ногу, пошел к машине. К «тридцатьчетверке» подкатила штабная «эмка» с командиром бригады.

— Цел? — Черноусый полковник обнял Евгения Александровича. — Отлично действовали, капитан. Да что там, капитан. За ноябрьские бои нашей бригаде присвоено звание гвардейской. И ты теперь гвардии майор, а ребята твои — гвардейцы, кавалеры орденов и медалей. Поздравляю, товарищ гвардии майор.

— Служу Советскому Союзу! — ответил Стрельцов, вытягиваясь по команде смирно и стараясь не показывать, что ранен. — Разрешите следовать за бригадой?

— Потери есть? Раненые?

— Среди танкистов нет. Машины боеспособны, — поспешно докладывал Стрельцов, копоть на лице скрывала его бледность.

— Отлично, майор. Отдыхать времени нет.

Глава четвертая

Лес внезапно кончился. Впереди — бурая, в лоскутах снега, открытая до самого края земля. Китовой тушей выгибая горизонт, чернеет гора. На ней — немцы. За горой — река.

Пока мчались по лесу, укрытые его стволами, чувствовали себя за двойной броней. Успокаивал и гул самолетов прикрытия, но гул этот вдруг стал стихать — штурмовики ушли вперед. Исчез и полумрак леса. Головной танк, вырвавшись на залитую солнцем опушку, как ослепленный мощным прожектором, споткнулся вроде и встал. Какая там двойная броня! Казалось, и последнюю сбросило. В какую атаку идешь, а от этого ощущения никак не отделаться — каждый раз, как

впервые сидишь, словно открытый, под прицелом. Вот-вот Китовая гора полоснет изо всех видов оружия. Вздох облегчения высоко поднимает грудь — штурмовики, набравшие высоту, падают в пике один за другим на огневые позиции врага.

Головной танк медленно трогается. Вправо и влево от него, ломая жиденький молодняк на опушке древнего бора, фронтом разворачиваются батальоны.

Я с грустью смотрю на пустующее в башне командирское место. Комбат умчался на вездеходе, с раненой ногой в тесный танк ему не забраться, а бой вести надо — люди привыкли видеть своего батю впереди.

Командир! Что я могу думать о нем? Для каждого бойца командир, кто бы он ни был и каким бы ни был, — единоначальник. Осуждать его не положено. И все же невольно одного порицаешь, другого начинаешь любить.

Стрельцов, наш Евгений Александрович, спас меня от трибунала, взял в свой батальон. А ведь мог он этого и не делать, даже обязан не делать, — мало ли нас бежало из запасных полков на фронт, — многих судили, и они попадали в штрафные роты. Я избежал этой участи. Уже тогда Стрельцов показался мне особенным. Удивляло и, наверное, не только меня — когда он приказывал, ты не чувствовал, что выполняешь чужую волю, и поэтому остаешься самим собой.

— Ребята, — говорил он нам, — надо выстоять!

И «ребята» стояли.

— Гвардейцы, эту Китовую горку необходимо пригладить! — сказал он нам сегодня. И гвардейцы «пригладят», как бы она там ни укреплена.

Кое-кто называет подобное обращение панибратством и осуждает. Но стоит ли корить человека за человечность? Гвардии майор Стрельцов — комбат, его слово — закон для нас, так почему это слово должно быть каменным?

Стрельцов на войне работал. Как сам был работягой, так и солдат считал работягами. Мне видно в триплекс — летит он на своем вездеходе впереди, а ведь у этого вездехода и малой брони нет. Огрызнется Китовая гора болванками — и пропал наш комбат.

Но гора пока молчит, ждет — решили, видно, подпустить поближе, а может, наши штурмовики уже покончили с ними. Хорошо бы!

Танкисты порой сетуют на пехотинцев: им, мол, что! За каждым взгорком, кустиком малым укрыться можно. А тут ни дать ни взять — подвижная мишень. И двигаешься ты словно в пасть удаву, сердце в пятках, а с курса танк не свернешь. И бьет по тебе этот удав — передний край — всем, чем только можно бить. А пехота думает о танкистах: хорошо им за толстенной броней, с пушкой да пулеметами... Но и те и другие знают: ни за какой кочкой, ни за какой броней не упрячешься... Смерть везде найдет. Так не жди ее, а сам бей. Кто кого — тот и живым останется.

Знает об этом и Евгений Александрович, потому и остался в строю. Раненный, мог бы в тылах отлежаться, обмануть на какое-то время косую. А может статься, пока он «отлеживается», без него и батальона не останется. Он уверен в своих работягах, пропахших дымом и соляркой, черных не от солнца: они не подведут. Привычнее нам, когда он с нами. Уверенности больше, а значит, и надежды на успех. Да и ему легче — не потому, что на миру смерть красна, а миру этому своим боевым опытом вовремя помочь сможешь.

Не раз я слышал от своего комбата, что исход войны решают рядовые. И отступали мы не потому, что сплоховали они.

Стрельцов, кажется, и не думал о себе, другие у него заботы. Позвал он нас на исходных к своему вездеходу. Подниминоги, как старший по возрасту, просит гвардии майора поберечь себя, а майор сунул трость между колен и говорит:

— За заботу спасибо, но я-то, ребята, что? С первого дня войны, а все еще цел. А сколько танкистов не воротишь в строй? Номер у бригады новый, знамя гвардейское. А личный состав? Не один раз пополнялась бригада, много ли стариков осталось? На мое место замену всегда найдут. А чтобы двинуть сотню танков, сколько народу надо? Ты вот что, Иван... — Комбат развернул карту. — Видишь балку? Она к реке выходит, в тыл немцу. Начнется бой, ты — по балочке и выскочишь на батарею. Понял? Ну, ни пуха ни пера...

О многом передумал я, а продвинулись мы за эти минуты всего метров на триста. Скалов — в прицел,

Подниминоги через триплекс смотрели вперед и тоже, наверное, о чем-то думали.

Машину кидало — то небо увидишь, то землю. Пока самолеты штурмовали немца, бригада развернулась полностью, фланги начали смыкаться, крайние машины выжимали все из своих моторов. За каждой — туча земли и снега, корпусов почти не видно, торчат только башни да хоботы орудий.

Немецкие батарейцы угадали наш замысел — взять Китовую гору в клещи и раздавить. Машины центра — тяжелые танки — шли медленнее фланговых, зарывались. На них и обрушился огонь вражеских орудий, как только последний штурмовик вышел из пике. Горохом посыпались десантники с брони, прячась за танки. Лобовая броня выдерживала, перед машинами поднимались столбы огня — это рвались и взмывали вверх ударившиеся о броню снаряды, осыпая осколками весь корпус и землю вокруг.

Пока гитлеровцы в упор пытались расстрелять тяжелые танки, а те, не имея возможности вести огонь с ходу, огрызались с коротких остановок, теряли скорость и время, Подниминоги, казалось, решил ускользнуть от боя. Он повернул в балочку и, недосягаемый огню орудий прямой наводки, повел машину прямо на запад. Наша «старушка», а за нею еще две машины вышли к реке и по-над берегом взобрались на хребет горы, а затем на предельной скорости ринулись оттуда на вражеские орудия.

Мы с ходу смяли пушку, прошлись по второй, но к третьей развернуться не успели — танк застыл с перебитой гусеницей. Скалов рванул башню, пока она поворачивалась, я зарядил пушку. Успели и немцы загнать очередной снаряд, но Серега опередил: выстрел — и расчет вместе с орудием взлетел на воздух. Тут и раздался удар по башне, словно молния влетела в нее, прошив броню, и все стихло. Жаром пахнуло на меня. Я, кажется, открыл глаза, но ничего не увидел.

«Странно, — думал я, — откуда такая тишина, ведь только что шел бой, били орудия, броню царапали осколки, долбили болванки, оглушительно ревел дизель. Жив я или убит? Ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Если я думаю, — значит, я еще жив, — это, наверное, агония. Я не хочу умирать. Товарищи? Они помогут мне».

«Скалов! — старался крикнуть я. — Иван!» Но и своего голоса я не слышал.

«Значит, его и нет, мне только кажется, что я кричу. Вот и случилось то, чего боимся мы все, а стараемся казаться бесстрашными. Ну, был я — и нет меня, и ничего жуткого. Страшно ожидать этого, а длится оно какой-то миг. Сейчас все кончится — смерть захватит мозг, заледенит кровь. Но почему так жарко и душно, в нос и в рот лезет какая-то гарь, слезятся глаза».

Но вот вроде бы посветлело. Я стал видеть. Это открылся люк водителя, из него падает свет мне на ноги.

«А это чьи ноги? Да это же Серегины, они почти надо мной. Значит, он здесь, не один я в танке, только что мне до этого, если мы оба убиты. Вот свет откуда-то сверху, наверное, командирский люк открыли. Иначе откуда может быть свет? Кто-то влез в башню — и ноги Скалова исчезли. И я понимаю, Серегу вытащили... Иван, должно быть. А меня? Видать, я действительно мертв, к чему со мной возиться? Танк горит, поэтому мне жарко. Эх, выбраться бы, хоть краешком глаза последний раз взглянуть на небо!»

— Жив? — узнаю я по шевелящимся губам и радостно блеснувшим глазам Ивана.

«Да это Подниминоги. Друг. Даже мертвого не бросил, теперь я пусть на миг, но увижу небо и землю».

Нет. Это не Иван. Это Зорька, в глазах ее слезы, от дыма, наверное. Разве время сейчас разводить нюни.

— Зорька! — шевелю я губами и чувствую, что поднимаюсь вместе с ней, чья-то сильная рука подхватила меня, и я вслед за Зорькой вываливаюсь из башни.

Иван указывает куда-то в сторону и что-то приказывает ей. Впереди нас ковыляет человек. Это Скалов. Зорька бежит к нему, а сама все оглядывается на нас. Вот она подставила свое хрупкое плечо Сергею, и они пошли быстрее.

Иван, спрыгнув с брони и подхватив меня, словно куль, бежит прочь от дыма и огня. Неба не видно, оно застлано дымом, словно серым казарменным одеялом.

Из танка вылетают языки пламени. Я вижу, как взрыв за взрывом разносит нашу «тридцатьчетверку». Но все вокруг таинственно бесшумно, а языков пламени из танка все больше. Танк, словно игрушечная заводная зеленая лягушка (у меня была такая сто лет назад), подпрыгивает. Это рвутся снаряды в машине.

Ведь боеукладка почти цела. От детонации она взорвется разом, и тогда... Что будет тогда, я не успеваю подумать. Снаряды взрываются. Я не слышу, но вижу: старшина роняет меня, делает шаг и тоже падает.

«Вот и водитель убит».

Зорька бежит к нам. Скалов ковыляет за ней. Но разве она, щуплая девчонка, сможет утащить двоих? Скалов ей не помощник. Скалов тормошит Ивана, Зорька склоняется надо мной.

«Жив?» — узнаю я по губам, она подползает под меня и, ухватив одной рукой за шею, а другой упираясь в землю, ползет, тащит меня буквально на себе.

А мимо бесшумно, как во сне, проносятся танки, пламенные языки вылетают и гаснут на концах орудийных стволов.

«С ходу ведут огонь. Им не до нас». А Зорька все тащит и тащит меня.

Здесь, у вмятой в землю немецкой батареи и сгоревшей «тридцатьчетверки», подобрала нас похоронная команда. Зорька, заметив, что наш танк подбит, спрыгнула на ходу со следующей за нами машины. Не испугалась Зоренька! Зорька сдала нас и вернулась в батальон.

...Мы — в санитарном поезде. Старшина ранен в плечо, Сергей в ногу, я шевелю ногами и руками — конечности целы, но я плохо слышу, хорошо вижу одним только глазом и совсем не могу говорить. Я знаю — нас везут в тыловой госпиталь, с поезда снимают только тех, кому необходима срочная операция, а таких немало, далеко их не увезешь.

Проплывают мимо окон вагона места недавних боев. Траншеи — словно морщины. Когда-то еще сгладятся они? Попадаются сгоревшие танки, немецкие и наши, исковерканные орудия.

Сиротливо белеют русские печи с закопченными трубами — все, что осталось от спаленных деревень. Но чем дальше на восток уходит наш колесный госпиталь, тем меньше следов войны. Белеют зимние поля, курятся дымками земляные времянки с кровлями из обгорелых лесин, и все это припушено снегом — он словно седина, пробившаяся неровными прядями.

Поезд торопится. «Поскорее из этих мест»,— думаю я. Мне до зарезу хочется увидеть совершенно здоровую

землю. Наверное, это оттого, что меня вот уже который день не покидает мысль: я калека, инвалид.

На гимнастерке красная полоска — первое легкое ранение. Пора нашивать еще одну — черную с желтым. У меня контузия. Да какая! Правый глаз почти не видит. Как же теперь стрелять? И уши будто ватой заложены — голоса людей и все другие звуки доходят до меня словно сквозь воду.

А как я объясняюсь с людьми? Настоящий глухонемой.

Какой из меня вояка с такими данными по линии медицины? На нижней полке лежит Скалов. Нога у него в лубках, крепко забинтована, — осколком задело, повреждена кость.

— Заживет, как на собаке! — весело сказал он о своей ране.

Теперь гвардии старший сержант только ест да спит. За все недоедания, за весь недосып на передовых. Сладко спит Серега и еще чему-то во сне улыбается. Подниминоги лежит на соседней полке. Плечо, разорванное осколком брони, вроде бы не тревожит старшину. Рана большая, но кости целы.

— А кости мясом всегда обрастут. Шевелюру опалило? Брови?

«Вырастут», — догадывался я, что говорит Иван.

Я поднялся со своей боковой, у окна, полки и прилип к окну. Земля — как бы ни рвали-фугасили — залечит недуги-колдобины и вновь зацветет, как молодая. Она бессмертна от рождения.

Ну, а я? Что я? В моей истории болезни сестра проставляет данные. Температура нормальная, сердце — нормально, легкие — нормальные... А я — ненормальный! Я встаю, самостоятельно передвигаюсь на ногах, приседаю, гнусь вправо и влево... Я здоров, но я калека. Тяжелораненый — тяжело контуженный, какие-то нервные центры нарушены, мозг где-то не срабатывает. От этого во взаимодействии центров и в глазу туман, и речи нет, и в ушах вата. И врачи ничего поделать не могут.

Меня сдали бы в стационарный госпиталь, да ребята не дают — где упрашивают, а где грозятся, а иногда вступается за меня вся наша палата-вагон. Друзья понимают, что значит для контуженного, без речи и слуха, отстать от своих. Они уверяют меня, что еще по-

воюем, в самой берлоге германской побудем. А глухота пройдет. И язык заворочается и глаз нормализуется, только верить надо в это. Верить... Легко говорить-то.

— Просто, хлопче, оглушило тебя малость. Пройдет какое-то время, и все будет в меру! Только бы уснуть тебе! — кричит Иван.

— Благодари бога, земляк, что не спалило, — это уже Серега начинает, — тогда дело дрянь. Для танкиста огонь, что крест для дьявола. Какие диагнозы проставляют нам белые боги жизни и смерти? Два. Первый: погорел — полбеды; второй: сгорел — беда. А оглох — за ранение не считается. Пройдет...

Тон у ребят, как у пророков, рассуждают куда увереннрй врачей. Мне хочется верить им, очень хочется.

Движется наш госпиталь ни шибко, ни тихо. Навстречу, на запад, грохочут литером «А» воинские составы. На платформах — танки, много танков, а еще больше самоходных орудий. Самоходки — уже не наспех сработанные на шасси легкого танка... В таких эшелонах теплушек для людей совсем мало — только для экипажей.

Недаром заговорили военные и штатские о численности частей — двести стволов, а не двести штыков да сколько-то сабель.

Неслышно ступая, ко мне подходит сестра, я вздрагиваю от легкого прикосновения ее горячих губ к мочке уха — иначе я могу не услышать:

— Да спи ты. Все думаешь.

Я не возражаю, отрываюсь от окна, укладываюсь, сестра поправляет подушку, приговаривая:

— Кто спит, на поправочку идет! Слышишь? Приедем на место и выпишем их. Отставать от своих не хочется?

Я согласно киваю головой.

— Вот и спи, закрой глаза — и уснешь! — Похлопав меня по плечу, сестра уходит в соседнее купе.

«Красивая», — думаю я. И Зорька красивая... Где сейчас она? Останется только в памяти. И мне уже не воевать вместе с ней. Я так сжимал зубы, что скулы пронизывала боль.

А ребята спят, и мне надо спать. Сестра права. Только как уснуть? Ни уколы, ни порошки снотворные не могут усыпить меня.

Коль у больного сон здоровый —
Выздоравливает он.
А у здорового — больной,
То он действительно
Больной.

Это я — действительно больной... Но постой, постой, ведь это же стихи? И сложил их я, сейчас сложил. Повторяю строки. Стихи. Мне хочется разбудить Серегу с Иваном, поднять тех, кто на верхних полках, и тех, что в соседних купе — весь наш вагон-палату. Только как это сделать? Встать?

Нет, нельзя. Наделаешь шуму — снимут с поезда... Я сумею по-другому. Сочиню еще что-нибудь в уме, запишу и дам Скалову, когда он проснется, почитать вслух.

Я достал из-под матраса заветный, желтой кожи планшет, в нем хранились все мои записи, две авторучки, поршневые, автокарандаш, тетради, бумага — все трофейное.

Сейчас, боясь забыть сложенные стихи, я взял чистую тетрадь, карандаш и записал все, что сочинил. Глядя на последнее четверостишие, грыз стальной наконечник автокарандаша.

Стихи, мне казалось, стали лучше. Я успокоился. Планшет сунул под матрас, а карандаш и тетрадь на грудь положил: если что еще в голову придет — запишу. А в голове было до того много, что я хватаюсь то за одну мысль, то за другую. И незаметно засыпаю.

Какое-то время я спал как убитый, а потом замелькали сны, один сменялся другим. Что снилось — все заспалось. Но последний сон никогда не забуду.

...Лежу в мягком купе, в окно светит солнце с безоблачного синего неба. Мерно стучат колеса, нет-нет да прокатится по крышам вагонов паровозный гудок. Что я вижу, словно наяву, не удивительно — и одним глазом можно видеть. Но я все слышу четко, как до штурма Китовой горы! Щелкнула дверь в купе, входят Подниминоги и Скалов, за ними еще ребята. Веселые, о чем-то переговариваются почти шепотом. Сергей прикладывает палец ко рту и строго смотрит на них: тише, мол, человек спит. А я их слышу.

— Снежок, — вдруг говорит Скалов. — Так ты не спишь? Проснулся?

Я слышу его голос, а если слышу, значит, сплю. Но неужели я сплю с открытыми глазами? Мне не хочется просыпаться, не хочется снова чувствовать в ушах вату. И, словно повинуясь мне, сон продолжается, стучат колеса, нет-нет да забасит гудок, шепчутся ребята в купе.

— Да не спит он! Видишь, все понимает.

— И глаза открыты!

— И улыбается!

Я действительно улыбнулся: вот, думаю, чудаки, не могут понять — сплю или не сплю. И вдруг ребята расступились — вошла сестра, та самая, красивая. Глаза у нее строгие, брови сдвинуты у переносицы, а губы, горячие губы, что касались мочки моего уха, чуть шевелятся:

— Марш отсюда, вы разбудите его.

— Сестра, глянь-ка, а он не спит! — говорит ей Скалов.

Сестра взглянула на меня, и лицо ее смягчилось, брови метнулись вверх, губы тронулись улыбкой и голос стал мягким:

— Вот и хорошо, очень хорошо. Трое суток проспал...

— Трое? — узнаю я свой голос. — Трое? — повторяю я.

Колеса стучат, весело стучат, смеются ребята.

— Ура! — кричит Скалов. — Он заговорил!

Я хватаю руку сестры, лицо ее расплывается, уплывает. И снова появляется, улыбающееся, а в глазах слезы...

— Я... я... я... — говорю я, но больше ни звука.

— Обессилел не евши, вот и заикается! — говорит Иван. — Теперь ему подкормка нужна.

— Да, — говорю я. — Да...

Оказывается, и «да» я могу произнести, а вот что хочу дальше сказать — не получается. А надо сказать: чувствую себя воздушным, пустым изнутри...

Это был не сон, а пробуждение. Меня осмотрели врачи и все были довольны. И я поверил им, что отлежусь, — не скоро, но буду вполне здоровым. Даже невесты от меня не откажутся.

Меня вернули из мягкого покоя в наш вагон-палату, одиночество мне противопоказано.

— Вот видишь, что значит — уснуть? Но как ты

уснул? Ведь никакое снотворное не брало. А? — спрашивает меня Скалов.

Я протянул ему тетрадь со стихами.

— Неужто они помогли?

— Да!

— Поэтом не будешь, коли сам от своих стихов засыпаешь. А в общем, проверим!

— Как?

— Не будь торопыгой. Потерпи — увидишь. Может, и два слова подряд выговоришь?! — Он подмигнул мне и, стуча костылем, ушел.

Вечером после ужина в нашем купе и соседних двух собрались все ходячие раненые. Скалов полулежал-полусидел, под больную ногу он положил подушку, а спиной уперся в стенку, на коленях у него — старенькая гитара. Глаза Сереги не то молдаванские, не то цыганские, словно лачком их подновили. Оглядывая собравшихся, он потрогал струны, дал неожиданно аккорд, а когда гитара стихла, спросил:

— Кто-то хотел спеть?

Присутствующие засмеялись.

— Что здесь происходит? — в купе протискалась наша сестра-красавица.

— Самоконцерт: кто что может! — быстро нашелся Скалов и, не давая сестре опомниться, запел:

Медсестра, дорогая Анюта,
Подползла, прошептала: «Живой».
Ну-ка, встань, посмотри на Анюту,
Докажи, что ты парень-герой...

Раненые смотрели на сестру, ее действительно звали Анютой.

— А сейчас я прочту стихи Снежкова. — Скалов указал на меня театральным жестом: — Стихи о вас, Анюта, и о нас всех.

Коль у больного сон здоровый —
Выздоравливает он.
А у здорового — больной,
То он действительно
Больной.

— В самую точку стихи, правда? Не вы ли, товарищ Анюта, говорили о силе сна? — спросил Скалов.

— Говорила...

— Слышите, товарищи, признается. Значит, в стихе истина. Давайте уляжемся в свои постельки. Закроем глазоньки и будем исцеляться.

Глава пятая

Таежное утро встретило нас настороженной тишиной. Ночной буран подмолодил лежалый снег. Сероватый, он теперь выглядывал кое-где из-под свежего на оползнях круч и на лохматых лапах кедров. Опушил ночник кружево частых оспинок первой капели вокруг комлей дерев. А вот мелких сосулек упрятать не мог, и они, опрокинутые вниз серебряным частоколом, висели на ветвях с солнечной стороны.

Утренника не чувствовалось, даже снег под ногами не хрустел. Солдаты, считай что взвод, шли смешанными рядами по двое, по трое. В шинелях, в ватниках, полушубках, в пегих, серых и неопределенного цвета валенках, а кое-кто в меховых унтах. У каждого за плечами вещевой мешок. Растянулся этот взвод, как не положено ни по какому уставу. Путь лежал по заметенному тракторному следу на дне глубокого распадка.

Солнце горело — глаза к небу не поднять, сразу же слепят меняющиеся в глазах круги семи цветов радуги! Только где там! Из-под ладони или сквозь пальцы то один, то другой солдат глянет на ясное небо, на обрамленные сосульками кроны кедров и улыбнется. Тихой радостью розовеют поблекшие за время лежания в госпитале солдатские лица. Как же! Весна идет, и в сердце оттепель.

Кажущаяся сплошной стена леса впереди расступилась просекой.

— Не удалось матушке-тайге взять нас в клещи! — говорит старшина Подниминоги.

Рядом с ним, чуть прихрамывая, шагает Скалов, за Скаловым — я. Старшина начинает шутить — значит, и у него на душе отлегло. А как негодовал он в госпитале! «Выписывай в часть, на фронт — и больше никаких! Все мы здоровы и, стало быть, должны вернуться на передовую».

— Вы — народ выздоравливающий, — мягко возражал ему главный врач. — На фронт успеете. К тому же

положение на Дальнем Востоке тяжелое. На запад отсюда едва ли попадете.

На последние слова его никто внимания не обратил, не то чтобы встревожиться.

Приказ начальника госпиталя никому не пришелся, все требовали отправки на фронт. Но приказ есть приказ. Команда выздоравливающих направлена за дровами. Дрова заготовлены, лежат в поленницах, занесены снегом в глубокой тайге, вовремя вывезти не успели. Кто в этом виноват — разбираться поздно, раненым нужно тепло, а не виноватый.

— Вы нарушаете приказ, который запрещает использовать кадры военных не по специальности, — возражал один из старшин — стрелок бомбардировщика.

— Здесь нет ни танкистов, ни летчиков, товарищи, — отвечал врач. — Есть, повторяю, выздоравливающие. Каждый из вас будет выполнять посильную работу. И бодрости, и силенок в тайге наберетесь. Воздух тайги — наилучший медикамент! Еще спасибо услышу от вас... Таким бледным и исхудалым — на фронт! Да краше в гроб кладут.

Медик оказался прав. Как только выгрузились из вагона да вошли под лесной шатер, дохнули настоянного на подталой хвое воздуха — повеселели. Вот и Подниминоги подобрел, и Скалов не унывал.

— Чем лечебной физкультурой мучиться, лучше в тайгу на месячишко.

Я малость заикался, иногда плохо слышал — обычно когда волновался. Правый глаз мушку на винтовке еще не различал. Госпитальный окулист улучшения не обещал — на всю жизнь, говорит, хрусталик окаменел. Не увеличивали дальность видения никакие окуляры. Меня могли комиссовать, если не в гражданку, то в нестроевики. Одно утешало, что не только строевики служат в танковых частях.

— Что-нибудь придумаем. Где наша не пропадала! — бодрил меня старший сержант Скалов, сам опасливо трогал растопыренными пальцами сросшиеся кости: нога у него побаливала и шагать по-прежнему он еще не мог. Успокаивая меня, Серега и себя старался заверить: повоюем, мол, в башне за орудием.

Таежная просека привела нас к огромному сугробу, на овальном верху его косо торчал обгорелый пенек.

— Направляющий, стой! — раздалась команда. — Разберись по трое.

Пока солдаты подтягивались, к сугробу подошел голова нашей бригады интендант Климов. Человек он ни молодой, ни старый, с очень белыми кочковатыми бровями и синими добрыми глазами. Одет интендант тепло — белый фронтовой полушубок, валенки выше колен, лохматая, невоенного образца ушанка, руки в меховых рукавицах. Ворот полушубка поднят, словно шейное ожерелье петуха, полы торчали, будто подкрылья.

— Вот мы и прибыли, — сказал Климов, когда солдаты выстроились вдоль просеки. — Здесь жить будем, — и интендант указал на сугроб.

Только сейчас, приглядевшись, я заметил венцы сруба, заваленную нишу. «Дверной проем, наверное», — подумал я и глянул на верх сугроба. На нем вовсе не обгорелый пенек, как вначале показалось, а жестяная труба, какие обычно бывают у времянок.

— О це хоромы!

— Блиндажик!

— Разговорчики! Смирно! — неожиданно закричал Климов. Для выздоравливающих, отвыкших от команд, голос этот — словно гром среди зимы. Кто-то ахнул, кто-то прыснул.

— Ой и напужал! — моргнул ресницами солдат справа от меня, по фамилии Сапун.

— Петух свое кукареку знает! — снисходительно поглядывая на интенданта, проговорил Подниминоги.

— А я ненароком подумывал, что он — курица. А он, гляди-ка — кочет! — не удержался Скалов.

Команду не выполнили, словно не слышали ее. Интендант вздохнул и полез в планшет, достал толстенную тетрадь с листами из серой оберточной бумаги — видно, сшивал ее самолично.

— Сапун, Скалов, Снежков... — читал Климов. — Выйти из строя.

Мы вразнобой, неуверенно шагнули вперед, повернулись лицом к строю.

— Кругом! — срываясь на писк, крикнул Климов. Мы послушно повернулись, теперь более четко.

— Товарищ командир, — раздался радостный голос Сапуна. — Та вы ж не так команду подали, треба скомандовать «ко мне». Мы бы и вышли...

— Слушайте приказ! — стараясь не обращать внимания на смех солдат, опять крикнул с запунцовевшим лицом индентант.

Люди замолчали, поняли: госпитальная жизнь кончилась, здесь ты уже не раненый, а опять солдат.

— Старшим назначаю Скалова. Очистить от снега фронт казармы, дверь, окна.

— Есть, — ответил Серега и, резко опустив руку от шапки, хотел было идти.

— Что такое «есть»? Как положено отвечать?

— Есть очистить от снега фронт казармы, дверь, окна...

— Выполняйте!

Заготовляли дрова для кухни, вытаскивали из землянки матрасы с нар, перетряхивали их, выметали мусор, пол и нары застелили свежей хвоей, гремели печкой-бочкой из-под горючего.

— Товарищ командир, — перед Климовым вытянулся Скалов, хитрющие глаза наивно потуплены, — фронт очищен, дверь тоже, а вот окон всем народом обнаружить не могем!

Климов оглядел фасад, зашел в землянку. Скалов— следом:

— И снаружи нет, и внутри нет, — разводил он руками.

— Значит, вовсе нет, — сказал интендант.

— А как же приказ?

— Какой приказ?

— Вы приказали очистить фронт, дверь, окна. Приказ — закон, докладывать о выполнении не могу, так как окна... Может, их прорубить сначала? Поясните.

Климов махнул рукой и под сдержанный смешок солдат, находившихся в землянке, быстро вышел.

С этого момента его словно подменили, он перестал разыгрывать из себя строевого командира. Как мы после узнали, интендант только что вернулся из стрелкового полка, где интендантов всего округа в течение целых двух недель обучали строю, как рядовых. Но хозяйственники — народ грузный, степенный: ногу поднять да еще носок вытянуть и не покачнуться при этом — не может, руку как положено к козырьку приложить не умеет, а команд, да еще строевых, они отродясь — то бишь, вступив в интендантство, не знали. Оказывается, не просто быть строевиком, солдаты —

это не шаровары да гимнастерка, налитые щами, набитые кашей, у них еще голова и даже нервы есть, следят за тобой не одной парой глаз, все-то подмечают. А какой Климов строевик, до войны он в колхозе завхозом был, в армии его по специальности использовали почти что с первого дня призыва, да не в какой-нибудь войсковой части, а в госпитале. За усердие и звание присвоили.

Недалеко от входа в землянку сиротливо стояла старая березка, сук ее от развилки, словно жилистая, узловатая рука, протянулся чуть ли не до кровли нашего таежного убежища. Под березкой чернел пенек. Возле него солдаты под командой старшины Подниминоги мастерили пищеблок, что-то вроде очага, вмазывали котел. Еще немного — и заваривай щи-каши.

Интендант присел на пень у березы, достал трубку — Сталину, должно быть, подражал, как многие командиры, — набил трубку махоркой, раскурил, сделал глубокую затяжку и поперхнулся. Откашлявшись, подозвал Подниминоги:

— Старшина?

— Так точно, механик-водитель, — отвечал Иван вольно, как равный равному.

— Сверхсрочник? — спрашивал Климов, тянул легонько из трубки и держал ее головку в руке, грея озябшие пальцы. Меховые рукавицы его болтались, пришитые тесемками к рукавам полушубка. — Сверхсрочник, говорю? — Интендант наморщил лоб, устремив взгляд на старшину.

— Не хотел бы, да война по-своему распорядилась, — вздохнул Иван.

— Не тужи, служба, не ты один... Вот что. Назначаю тебя старшиной команды, принимай-ка имущество. Не возражай, командовать по форме я не очень-то способен, но на своем настоять могу. Да и не неволю я тебя, сам понимать должен. Коммунист? Тогда тем более...

И старшина узнал, что к утру должны прибыть тракторы с санями, привезут на всю команду полное довольствие, надо уметь хранить его и расходовать по норме, «дп» ждать неоткуда, а потрудиться придется: поленницы разбросаны далеко друг от друга, послезавтра подадут первый эшелон — надо не менее двух раз в сутки горячее людям — утром, перед уходом в

тайгу, и вечером с возвратом, на обед сухое будет — хлеб, тушенка, сахар.

— Мозгуй, старшина, задачка не из легких. Назначай повара, дневальных. Можешь поочередно, а лучше постоянных — из слабосильных. Есть тут один курослеп, Сапун. На работу — затемно выходить, и вертаться затемно надо, еще заблудится где. Кашеварить сможет. И хромой цыган, что окна не нашел... — Климов усмехнулся, потянул трубку, потухла. Он сунул ее в карман, свернул «козью ножку» и сразу задымил, что твой паровоз на подъеме. — Старшим дневальным хромого поставь. Ну, а третьего сам найдешь. Я буду, как говорят, на переднем краю, в тайге, чтобы простоя — ни минуты. Да не забывай, граница рядом. В общем — бдительность. Вот и все, старшина. Выполняй!

Иван козырнул и, четко повернувшись, пошел в землянку.

— Поднажми, хлопцы, — послышался оттуда его густой спокойный голос.

На другой день было все так, как говорил Климов. Еще затемно он увел людей в тайгу. Разгружать и принимать довольствие пришлось нам, хозкоманде, вторым дневальным старшина оставил меня, ссылаясь на то, что я тоже плохо вижу, да и мозговые центры могут «разойтись», приступ случится — и протянешь ноги на холоде, а здесь все же тепло. Я молча согласился на пока, а там, думаю, видно будет.

Тракторов понагнали — только успевай грузи. Ребята, вернувшись из тайги, буквально валились с ног и тут же засыпали. Я заступал на пост у входа в землянку и поддерживал огонь под котлом, чтобы утром не разжигать: подкинул сушняку — костер готов.

Ночью тайга казалась еще таинственней. Малейший ветерок там, где-то наверху, тронет заснеженные кроны — посыплется снег, зашумит, и кажется: какой-то зверь бродит по лесу, вот-вот ринется на тебя. А то неведомая птица прокричит, ей отзовется другая — и опять тишина. Говорят, и медведи здесь водятся, и тигры, есть и рыси, и всякие кошки. Подбираются все эти кровожадные твари к оленьему заповеднику, что неподалеку от нашей вырубки. Только в заповедник им не проникнуть — он огорожен высоченным забором из стальной проволоки.

«А мы ничем не огорожены», — думается мне.

Я дышу на затвор винтовки, пробую, не застыл ли — ночью мороз еще в полной силе. Винтовка в руках, а страх холодком накопляется где-то под сердцем, так что дышать становится тяжело. В такие минуты я встаю, подбрасываю дров в костер, захожу в землянку, подкидываю полешка два-три в печь и, набравшись смелости от спокойного храпа товарищей, словно еще раз убедившись, что я не один в тайге: крикну — ребята мигом придут на выручку, снова выхожу на свой пост к березе.

Через недельку-другую, уверившись, что ничего страшного в тайге нет, я перестал терзаться страхом. Втянулись в работу и наши ребята, загорели, словно бронзой налились. Возвращаться стали с песнями, если раньше от усталости не доедали ужина, засыпали, теперь почти каждый просил добавки. Наш интендант оказался «на высоте». Он прослышал, что лесные сторожа выследили браконьеров, подстреливших лося, и отправился к директору заповедника. На цинковую коробку боевых патронов выменял полтуши лосятины и весь сбой. Наша команда ожила на добром пайке. Но и работали не дай бог. Климов торопил: солнце припекало, вот-вот хлынут снега ручьями в долину, тогда заготовленный дровяник до будущей зимы залетует в таежной глубинке.

Лосятины, как ни экономили ее, хватило ненадолго, дня два уже ребята питались пайком по тыловой скудной норме...

Я стоял на посту. Ночь выдалась темная, морозная, снега на кронах почти не было — солнце съело, держались сероватые сугробы только на дне распадка, от этого и ночь под стать лесу мрачнела. Я не обращал внимания на порывы ветра, что трепал кудлатые кроны, полено за поленом подбрасывал в костер. Не забывал и о печке в землянке. Набрав дровишек, я пошел подкинуть в нее. Навстречу мне выходит Сапун-курослеп.

— По нужде, — говорит, но винтовку с собой берет, словно на пост собрался, или вправду боится, что самураи нападут.

Я задержался у печки минуту, может, от силы две просидел на корточках с кочережкой и вдруг слышу — выстрел. Поднялись ребята все разом, как по боевой тревоге. Я первым выскочил. Смотрю, стоит Сапун у

входа в землянку, винтовка еще у плеча, порохом пахнет. Перед курослепом в трех шагах у костра роет золу лапами огромная дикая кошка. Я было вскинул винтовку, но смотрю, зверь уже готов, вытянул лапы. Сапун между глаз ему угодил. Взвод высыпал, костер распалили, глядим, дивимся. Климов глазам своим не верит.

— Иду из нужника, — рассказывает Сапун. — А на березовом суку эта тварь рычит, на огонь уставилась. Ну, я приложился и ба-бах.

Когда все снова улеглись, я задумался: как это он, не видя по случаю своей куриной слепоты, между глаз зверю угодил?

Утром Скалов и Сапун принялись сдирать шкуру с хищницы, а я подался в лес: моя задача — каждый день пополнять запас дров землянки и кухни.

Несколько раз приносил я из лесу вязанки коротко нарубленных смолистых поленьев и уходил снова. Вернулся под вечер вместе с ребятами и интендантом, разбудил отдыхающего Серегу. Сели ужинать.

Сапун посмеивался чему-то, разливал из котла наваристый жирный гороховый суп — по котелку каждому. Заработали солдаты ложками. Вскоре собственного литья алюминиевые ложки зашаркали, выскребывая донца котелков.

— Хорош супец.

— Надо б больше, да нет! — хвалил то один, то другой боец, протягивал пустую посудину повару.

— Ребята, — крикнул Сапун, когда гороху уже не стало, — подходи за мясцом!

Взвод насытился и собрался по-солдатски задать храпака. В проеме двери показался Сапун со свертком в руках.

— И что это никто не спросит, откуда мясцо? — проговорил он и раскрыл сверток. На нас глядела ощерившаяся голова вчера убитого зверя...

Солдаты ахнули, а потом кто смехом зашелся, кого нещадно рвало. Климов наутро к пище не притрагивался, а Сапун ходил вокруг него и виноватым голосом извинялся:

— Я вам шкуру кошачью выделаю, на всю жизнь память будет, над коечкой повесите, вместо ковра. Богато! Как глянете, так и меня и всех нас вспомните. А брезговать зачем? Дичина она и есть дичина.

— Да иди ты... — не выдержал интендант и сам засмеялся.

Скалов хмурился. Когда взвод направился в тайгу, он подошел к Сапуну и коротко сказал:

— Не верю, что ты сослепу угодил этой твари в лоб. Но если ты действительно болен куриным недугом, так я тебя вылечу. А то, чего доброго, набредет на тебя медведь — и ты по нему промажешь.

Сергей забрал винтовку и ушел в тайгу, вернулся он к обеду, с еще теплым козлом на спине. Я сжал губы, понимая, что Сергей браконьерничал, но что я мог сказать, — дело сделано, дня на три взводу хватит, а там вернемся в госпиталь, на комиссию, — и в часть. Ищи-свищи браконьеров.

— Свежуй, — бросил Серега козла под ноги Сапуну, цыганские или молдаванские глаза Сереги поблескивали.

Свежевали козла в три пары рук, через полчаса все было готово. Сергей отполосовал увесистый кусок печени, она еще дымилась.

— Слышал я от стариков, что печень от куриной слепоты помогает. Съешь кусок парной печенки, — и болезнь как рукой снимет. Верно говорю, бери, лопай.

Сапун замотал головой и попятился, даже руками было замахал, но Серега ухватил его за борт ватника.

— Ешь, не околеешь. Твою дрянь интендант и ребята за милую душу, а ты от лекарственного отказываешься?

— Не надо, товарищ старший сержант, — взмолился Сапун. — Никакой такой куриной болезнью я уже не страдаю...

— Это как же так? — раздался над нами голос Подниминоги. — Мы и не заметили, как он подошел. — Что-то не то гутаришь, хлопец. А ну, выкладывай как на духу!

— И выложу, не из пугливых! — Глаза Сапуна сверкнули. — А печенку в котел клади на всех.

— Ты сказывай! — не унимался Скалов. — Давно заподозрил я, что слеп ты, как и я, за полверсты в козу не промахнешься.

— Присядем. Разговор длинным будет...

Мы устроились на толстое бревно у костра.

— Вот что, товарищи... — заговорил было Сапун.

— Какие мы тебе товарищи, симулянт! — загремел Скалов.

— Обожди, пусть объяснит, — остановил Серегу Иван. — Послухаемо.

— А что объяснять. Сидел. Строгача. В темной. И зрения лишился. А это чепе. Меня в санчасть, а оттуда в госпиталь. Чем и как только не лечили: не вижу — и все. Вернее, днем вижу, а солнце с неба — я опять слеп. Установили диагноз: слепота от малокровия и нервного потрясения — и сюда вот, в тайгу отправили. Уж сам не знаю, как получилось: зарычала на меня та кошка, я и прозрел. Вот и все, а теперь хотите — товарищем меня зовите, хотите — симулянтом. А что хищницей накормил... Дичь она и есть дичь. А голову для смеха показал, ведь смех для солдата, что витамин «це» в наших условиях...

Вечером перед ужином приехал со станции Климов. К радости всех он объявил, что завтра команда покидает тайгу, задание перевыполнено. Госпитали обеспечены топливом. Начальник медслужбы округа благодарит вас.

— Выдали нам, товарищи таежники, как фронтовикам, жбан чистого медицинского, по двойной порции. Прошу подходить с кружками. И выпьем за скорую победу над фашистской гадиной.

Солдаты кинулись качать своего доброго интенданта:

— Ура!

Ну вот, думаю, пришла пора расставаться. Ивана и Сергея оставят в танкистах, а меня пошлют к черту на кулички, в какую-нибудь хозкоманду картошку чистить или белье в прачечной отжимать...

А может, это и к лучшему? Отвоевался. Жив. Зачем на рожон лезть? Смерть трижды не пытают...

Подниминоги рвется на фронт, у него под немцами семья. Кто ее освободит, как не он, не я с ним и другими? У Скалова родных нет, но разве он отстанет? А я! И я должен быть с ними. С такими, как они. Не будет никогда добра мне, хлеб в рот не полезет, если пожалею себя.

— Ты чего там, Снежок, губами шевелишь? — спросил Иван.

«Значит, он тоже не спит», — подумал я и повернулся на другой бок, лицом к старшине.

Все прибывшие в карантин с пересылки лежали на голых нарах. Устроился кто как смог: на шинельках, на вещмешках. Слабо светила коптилка у входа на тумбочке дневального. Дневальный дремал. Голова его, точно ванька-встанька: дрема свалит ее, а бодрость вскинет. Со стороны — комедия одна.

— Завтра медкомиссия, — говорю старшине, — боюсь. Вот и думаю.

— Перед боем трусить можно, а в бой пошел — ша! В тайге ты держался молодцом. Ни одного приступа. Может, выветрилась твоя контузия начисто? Прозрел же Сапун?

— Контузия контузией, а правый глаз-то не видит почти.

— Ладно. Утро покажет. Спи.

— А сам-то чего, за дневального? — я показал старшине на ваньку-встаньку, а потом на Скалова. — Бери пример!

Старшина приподнялся на локте, посмотрел на дневального и беззвучно рассмеялся, но тут же потупился:

— Стоят, Снежок, перед глазами то мать, то жинка с дочуркой. Как там они? — Он глубоко вздохнул и словно потянулся.— Скорей бы в строй, дело в руках — и голова делом занята. Ну, давай спать. Отбой! А то завтра предстанешь перед докторами будто вяленый.

Я волновался перед дверью кабинета окулиста, а как вошел — нервы словно на предохранитель поставил. Сажусь в кресло. Передо мной на стене — табло с алфавитом. Левым глазом с верхней до нижней — все буквы вижу, а правым — еле-еле верхние, самые крупные. Врач предлагает мне закрыть левый глаз ладонью и берет указку. Я чуть-чуть раздвигаю пальцы и гляжу в щелочку на алфавит левым глазом. Отвечаю четко. Вот если бы я притворился незрячим, тогда бы и врач придиристым стал.

— Закройте правый глаз, — говорит доктор. А доктор-то пожилой, пенсионных лет мужчина, мне стыдно его обманывать. Но что поделаешь, не сам я себя ограничил в зрении. Буду стрелять с левого глаза. Это вполне возможно, и, значит, никакого обмана нет.

Выхожу из кабинета, стараюсь не торопиться и едва сдерживаю себя: а вдруг врач вернет и снова усадит

перед алфавитом, да бумажным треугольником будет закрывать поочередно глаза. Тогда все обнаружится. Но врач уже вызвал следующего. Я тихо, нарочно тихо, прикрываю дверь и только в коридоре набираю воздуха полные легкие. Дышу наконец свободно.

Друзья окружают меня и по лицу угадывают — все в порядке, как в танковых частях.

Ребятам проще — у них не контузия, обыкновенные ранения; зарубцевались раны — комар носа не подточит.

Из санчасти, довольные результатами комиссии, мы возвращались в карантин. У приземистого, ничем не примечательного здания стоял часовой, что он там охранял — мы еще не знали.

Внимание наше привлек крик журавлей. Ребята задрали головы в небо. Первая перелетная станица клином держала курс на расположение полка. Затянутое тучами мартовское небо прижимало птиц к земле. Летели они очень низко. Тоскливые крики раздавались все громче и громче.

Из приземистого здания выскочил человек в солдатском бушлате. С минуту он следил за журавлями, ноздри его раздувались.

— Эхма! — выдохнул он и выхватил у часового винтовку, прицелился и выстрелил. Один из журавлей, клонясь в сторону, стал падать. Не спуская глаз с пролетающих птиц, стрелок перезарядил винтовку и снова прицелился... Подниминоги быстрым шагом подошел и слегка подтолкнул его, пуля ушла мимо.

— Чи одного журавля на жарево мало?

Человек в бушлате зло оглядел старшину. Кинул винтовку часовому, тот поймал ее — ловко, за цевье — и приставил к ноге.

— Иванов, беги за добычей! — крикнул охотник и повернулся к нам: — Кто такие? Кто такие, спрашиваю? Вот ты? — человек ткнул рукой в старшину. — Я командир части, а ты?

— А я? Я — гвардии старшина Подниминоги, — отвечал Иван. — Извините, без формы вас не признали.

Человек искоса глянул на свои плечи в солдатском бушлате и строго приказал:

— Марш в карантин, — а сам широкой походкой вошел в приземистое здание. Часовой по-ефрейторски приветствовал его.

Такое знакомство с майором Перетягой не предвещало ничего хорошего.

— Н-да... — вздохнул Подниминоги.

— Где наша не пропадала! — сказал и рассмеялся Скалов. Но все мы надеялись на одно: завтра, может случиться, отправят в маршевую роту и — прощай, майор Перетяга.

После полудня раздалась команда дежурного: «Выходи строиться!»

Солдаты нехотя поплелись к выходу.

— Живей, живей! — поторапливали старшие команд.

— По четыре становись!

— Шагом марш! — командовал лейтенант с противогазом на одном бедре и с наганом на другом. Приказывал он с превеликим удовольствием, растягивая, чуть не запевая слова команды, при этом частично проглатывая их. Как же. Его голосу повинуется целый полк.

Денек выдался студеным, так и пронизывает ветром. Март всегда такой, особенно здесь, в Приморье. Под ногами еще не оттаявшая земля, ветер так и режет, а с неба падает какая-то изморось — ни дождь, ни снег. Так и лезет неласковость сквозь шинель под гимнастерку, а о ногах и говорить нечего.

Поставили нас буквой «П». Второй час стоим. Командиры прохаживаются перед строем — видно, тоже дрогнут. А солдаты совершают что-то вроде бега на месте. Топот заглушает все. Он то нарастает, то затихает, а то, словно подхлестнутый очередным порывом ветра, учащается. Строй шумит, что твой барабан, если его подмочить. Не звонкий, а глухой, простуженный набат.

— Ни дать ни взять журавлиной костью подавился, — говорит, ни к кому не обращаясь, Подниминоги. Чувствуется, растет неприязнь старшины к майору.

Наконец в сопровождении стайки штабных появляется командир полка, в серой, до пят, шинели.

— Смирно! Равнение на середину! — гремит команда.

Топот ног обрывается, ясно слышны слова рапорта.

— Здравствуйте, товарищи танкисты!

Голос у майора густой, и сам он крупный, широкий — что в плечах, что в бедрах. Из-под фуражки выглядывают седые вихры, черный бархатный околыш

подчеркивает белизну головы. Мощный нос, словно надрубленный у переносицы, глаз не видно, их закрыл низко надвинутый лакированный козырек.

— Здравия желаем, товарищ майор!

— Вольно!

Строй снова затопал — смелее и смелее.

— Замерзли? — майор, видно, любит пошутить. — А я вот ничего...

Несмотря на свою тучность, он нагнулся и ловко снял с ноги сапог:

— Дивитесь, на один шелковый носочек — и чую, ноги як в бане...

— У него сапоги, наверное, на меху, — шепнул Сапун Ивану.

— Да ну? — удивился Иван.

Он подошел к майору, взял из его рук сапог, заглянул в него и показал строю, словно вывернутое ухо свиньи, нутро голенища:

— Тут, хлопцы, мех кобелиный. А у нас... — Подниминоги, не уступая в ловкости майору, снял свой сапог: — А у нас, бачьте, на рыбьему меху!

От дерзости Ивана Перетяга языка не лишился. Полк хохотал. Смеялся майор, и все, казалось, обошлось. Но майор, натянув сапог и глядя, как старшина обувается, тихо сказал:

— Так это ты? — Знать, вспомнил встречу у штаба. — Десять суток ареста. Для знакомства.

Скалов, а за ним и я молча вышли из строя и встали рядом с Иваном.

— А это что за новости? — майор уставился на нас.

— Это надо понимать, что мы танкисты и друг за друга хоть куда. — Серега говорил тихо, но по строю прошелся гул, солдаты услышали Скалова.

— Вижу, в солидарность игрище затеяли? Посадить и этих.

— Не имеете права... — Я хотел сказать, что нельзя брать под арест кавалера ордена Ленина, но сказать не дали. Автоматчик толкнул меня в спину.

— Выполняйте приказ, дежурный! — И майор повернулся к нам спиной.

Вечером Сапун принес на губу ужин, полных два котелка — видать, повар сочувствовал нам.

Наутро пришел новый дежурный по части. Мы си-

дели на нарах и курили. Шинели внакидку, на гимнастерках ордена и медали. Завидев входящего старшего лейтенанта с красной повязкой на рукаве, мы поднялись. Награды звякнули, словно шпоры у кавалеристов.

— Вот в чем дело, ребята, — заговорил дежурный запросто, но старался не глядеть на нас. — Здешнему заводу присудили переходящее знамя Комитета Обороны. Вручать его должны гвардейцы. А гвардейцев у нас раз-два, и обчелся. Вернее, вы да еще человек пять. На днях маршевиков отправили, а пополнение прибыло из учебных подразделений, пороху еще не нюхали...

Он помолчал.

— Рабочие потрудились на славу, для нас трудились, сутками из цехов не выходили. Выручайте. Хозяину из-за вас столько хлопот...

Старший лейтенант, видно, тоже не одобрял нашего ареста, но сказать об этом открыто не мог, хотел уговорить нас, а майора от неприятного избавить. Иван отлично понял дежурного.

— Ну, так как, гвардейцы? — дежурный ждал ответа.

— А вот так, товарищ старший лейтенант, — начал Подниминоги. — Заварил кулеш товарищ майор, нехай и хлебает. А мы на губе позагораем. На передок попадешь — некогда будет.

— Но, старшина, ты должен...

— Долг я свой знаю. Ведь не меня опозорили. Я — что? Тьфу! Таких, как я, на Руси слава богу. Тут высшую награду Советского Отечества того... Допрежь лиши ее меня, а потом как знаешь.

Дежурный ушел. Час никто нас не тревожит, второй. В третьем часу вернули ремни: облачайтесь, мол.

Вскоре откуда-то сверху (гауптвахта находилась в полуземлянке) раздалась команда: «Смирно!»

Старшина вышел первым, мы за ним. Перед строем караула колыхалось на легком ветру знамя. Подниминоги пошел строевым, приложив руку к виску.

Переходящее знамя Комитета Обороны вручали заводу в торжественной обстановке. Гремел Государственный гимн. Гвардии старшина Подниминоги, при всех орденах и медалях поверх шинели, твердым шагом подошел к пожилому рабочему, грудь которого украшал орден Красного Знамени, видать, еще за граждан-

скую войну. Старшина высоко приподнял полотнище: держите, мол, его так. И перешло древко из военных в рабочие руки.

Выступили с речью директор завода, майор Перетяга. Одно сквозило в речах — просто и ясно: все силы для фронта, все для победы над ненавистным врагом. Каждый из выступающих заканчивал свое слово известным крылатым изречением:

— Враг будет разбит, победа будет за нами!

Митинг длился более двух часов. Все это время мы стояли по стойке «смирно», прижав к груди настоящие автоматы, выданные нам на этот случай. Странное чувство владело мною.

Опять я ощутил, что значит для солдата оружие. В каких переделках не случалось бывать, я знал, что могу защитить себя и других. Казалось бы, такое чувство закономерно на фронте, там и родилось оно незаметно, исподволь. Сдав оружие, я чувствовал в себе какую-то робость: в тылу вроде и фашистов нет, а иной и до ветру без автомата или винтовки выйти не может. Взять того же Сапуна-курослепа. Для чего бы ему в ту ночь винтовка? А потащил ее с собой в нужник, и не обмануло сердце солдата — стрелять пришлось.

Один десантник с нашего танка признавался:

— Это, братцы, болезнь проклятущая. Нет огнестрельного, так нож беру или дрын какой. Прямо напасть. Будто на меня, как на зверя, охотятся.

Не потому ли каждый фронтовик старается кроме положенного обзавестись еще и трофейным оружием, лично принадлежащим ему. Поэтому, наверное, отправляясь в отпуск домой или на излечение в госпиталь, норовит вояка захватить с собой если не пистолет, то штык, тесак или десантный нож. Спроси его — убедишься: убивать никого он не собирается, пугать тоже.

— А для чего же тебе эта штуковина?

— Так, на душе спокойнее.

Неужели это чувство оружия останется и после войны у тех, кто выживет, и они, демобилизовавшись, повезут в своем нехитром багаже в гражданку парабеллумы и вальтеры, не страшась последствий незаконного хранения оружия!

А когда появилось это ужаснейшее чувство, к примеру, у меня? — Наверное, после того, как я уничтожил метившего убить меня немца.

После вручения знамени заводу майор Перетяга словно не замечал нас. Службу мы несли исправно, не придирешься. Правда, Подниминоги частенько ворчал.

— Глянь, Серега, на эти машинешки, — кивал он головой на танки Т-26, что стояли в парках всех батальонов. — На них встречали фрица. Неужто и самураев встретим на них? Ой и наломают нам косточек.

Две «тридцатьчетверки» стояли, бережно укрытые новеньким брезентом. У машин и днем — часовые. Смотрели мы на эти танки только издали и скучали, вспоминая нашу сгоревшую «старушку».

— Эх! — вздыхал старшина. — Дал бы Перетяга мне одну.

Танкистам осточертело отрабатывать тактические приемы танкового боя в пешем строю. Растянется батальон поэкипажно, считай на километр фронтом, зампострой флажками подает команду: «Уступом слева!», «Уступом справа!» Вот и разворачивайся...

Наконец-то вывели на танкодром машины и те без башен, в общем — тягачи. Первый танк повел старшина-дальневосточник. Отлично вел, но до надолбов не добрался, застрял во рву — мотор не потянул.

Подниминоги не выдержал, подошел к Перетяге:

— Разрешите, товарищ майор? — Старшина вздохнул. Перетяга криво улыбнулся.

— Нашла коса на камень, то бишь хохол на хохла! — тихо сказал мне Скалов.

Но майор, на удивленье всем, допустил старшину к рычагам. Мы заволновались: учения показательные, горючего в обрез, а Подниминоги после ранения ни разу не сидел на месте механика-водителя. Можно и опозориться перед всем полком.

Дрогнул старый танк, рыгнул газом и помчался на исходные. С замиранием сердца, вытянув тощие шеи из жестких воротников кирзовых курток, бойцы следили за ним.

Перетяга еще глубже надвинул козырек фуражки на глаза. Видать нос да подбородок.

Я понимаю его по-своему: если Иван пройдет дистанцию — авторитет Перетяги пошатнется.

В полку уже знали, что майор не танкист, а конник. Последнее время служил в военкомате где-то в Средней Азии и совсем недавно направлен в строевую часть.

Иван благополучно довел танк до исходной, лихо развернулся. Я даже испугался: гусеницы слетят. Но нет, выдержали. Старшина дал прогазовочку и толкнул машину вперед.

У рва он сделал еще один лихой поворот: тяжестью машины и силой мотора, умноженных на скорость, танк обрушил в ров гору земли и завалил его до половины. Полк ахнул. Перетяга всем корпусом подался вперед, стараясь не пропустить ни одного движения машины. Старшина включил заднюю передачу и отошел от рва, снова дал прогазовочку, разогнал машину и бросил ее на препятствие.

На какое-то мгновение танк исчез в туче пыли, в следующее — выскочил по другую сторону рва и, не останавливаясь, ринулся на деревянные надолбы. Подниминоги не давил брюхом танка врытые стоймя под косым углом бревна, он срезал их бортами, то левым, то правым. Щепа вилась за машиной.

Старшина одолел всю дистанцию и подъехал к командному пункту. Полк затих, слушая рапорт Подниминоги, а когда он окончил, майор скомандовал:

— Смирно! За отличное управление танком гвардии старшине Подниминоги от лица службы выношу благодарность. Руку, старшина! — И, пожав руку, командир полка протянул Ивану карманные часы. — А это лично от меня.

— Служу Советскому Союзу! — ответил Иван и краем глаза прочитал гравировку на корпусе: «Лучшему механику-водителю».

— Становись в строй, — приказал Перетяга.

— Мне бы на «тридцатьчетверке» пройтись...

— Еще успеешь.

Командир снял фуражку, вытянул носовой платок, вытер вспотевший лоб и устало приказал зампострою:

— Марш в расположение.

Нет, на сей раз не поблек авторитет Перетяги, как мне думалось и, откровенно говоря, хотелось.

К концу лета пришли в полк «тридцатьчетверки». С радостью садились танкисты за рычаги прославленных машин, перегоняя их с железнодорожной воинской площадки в парк полка. Новенькие машины, словно модницы-красавицы, щеголяли темно-серой заводской краской, шли ровно, плотно прижимаясь к земле,

Не то, что Т-26, — прет, открыв слабозащищенную высокую грудь, задирая к небу днище. В эти дни нам показалось, что мы снова вернулись в свою родную бригаду.

Прошел слух, что в госпитале, где мы лежали, находится на излечении командир танковой бригады, подполковник, очень душевный человек. Говорят, что его так далеко от фронта увезли, чтобы не убежал на передовую — он-де и раненный не покидал своего поста, залечил в боях рану, да вот открылась она. Подполковник всех танкистов к себе в блокнот записывает, в общем, кадры готовит, — вот, мол, выпишусь и буду формировать маршевиков для пополнения своей бригады.

А вскоре на утреннем построении мы увидели гвардии подполковника Стрельцова. Майор Перетяга сдавал ему полк. Вместе проходили они вдоль строя, жалоб не было.

Я невольно вытянулся, когда мой старый командир остановился против нас. Глаза его повеселели.

— Здравствуйте, гвардейцы! — сказал он тихо нам троим, стоящим рядом, и мы ответили, тоже не очень громко:

— Здра!

Перетяга даже оступился, услышав это неуставное приветствие. Строго глянул в нашу сторону, еще не зная, что с подполковником прошли мы огни и воды и чертовски рады, что снова будем под его началом.

Велика Россия, необозримы ее пространства, и людей видимо-невидимо. Дважды с одним и тем же человеком едва ли встретишься. Если даже знаешь, что он на Камчатке, а ты на Волге. Человек давно отвык от кочевой жизни, надолго, если не на всю жизнь, вьет себе гнездо.

Война сорвала людей с насиженных мест, и двинулись они по всей земле: по собственной воле, в силу необходимости. Казалось, земля невероятно сузилась и каждая пядь ее обрела высшую цену — цену жизни.

Особо малой, с овчину, показалась она солдату, когда сердце застучало: назад ни шагу. А как сократились солдатские пути-дороги, у каждого один тупик — фронт. Если повезло — госпиталь, пересылка, запасный полк. И снова фронт. Как не встретиться на таких замкнутых кругах?

Встречались на минуту-две у эшелонов, идущих в разные стороны; на сутки-другие — на огненной черте. Встречались живые с мертвыми в братской могиле.

На передовые пополнение придет — друзей, земляков ищешь. В госпитале, едва сознание возвратится, спрашиваешь, нет ли наших. Если хотя бы один, даже незнакомый танкист — так это для танкиста словно родного встретил. А на пересылке случится такая встреча — до фронта людей водой не разольешь. Пока жив — надеешься на желанную встречу, а встретился — не удивляешься, рад только.

Перетяга — всем на удивление — не ушел из полка, остался. зампостроем. Но как все изменилось с приходом Стрельцова! Учения по тактике стали проводить на машинах, горючего не жалели. Мотострелки учились на ходу вскакивать на броню и спрыгивать. Я знал: Стрельцов вылечивает бойцов от страшной болезни — танкобоязни.

— Что за боец, коли своего же танка трусит?

Теперь каждый понимал, что слух о подполковнике Стрельцове оказался верным: готовит он маршевиков для своей бригады, которая сейчас где-то на фронте. Учения не прекращались и на строевой площадке, и в поле, в сопках, на резко пересеченной местности.

В середине августа собирались выезжать на боевые стрельбы с выполнением тактического задания. Старшина Подниминоги в тот вечер вернулся в казарму возбужденным.

— Ну, Серега, — сказал он Скалову, — кажись, моя задумка сбылась, разрешил мне батя подготовить танковый взвод для форсирования водных преград по дну. Завтра все технари заработают на мою идею!

— Правда, Ваня, завсегда себе дорогу проторит, — проговорил Скалов, поздравляя друга. Я тоже потряс тяжелую и сильную руку старшины.

Иван не просто радовался, он волновался: опыт опять может оказаться неудачным.

— Чем бис не шуткуе. Затонет машина, а мне отвечать...

— Мы свою «старушку», можно сказать, с того света вытянули, а тут, почти в мирных условиях, все будет в порядке. И по этой линии переживать нет смысла. Какой взвод пойдет?

— Наш. Ну, а теперь на поверку и — спать.

Но уснули мы не скоро. Сапун ворочался с боку на бок.

— Сапун, а Сапун, — зашептал я, — чего ты возишься? Лучше скажи, почему ты Сапун, а не Сапунов или Сапуненко?

— Не знаешь?

— Сопишь много?

— И то правда. Когда-то мы были Сапуновы. Но то фамилия, а Сапун — прозвище. Прозвище надо заслужить, а фамилию вместе с метрикой дают. Степан Разин в народе не Степан, а Стенька, а Чапаев — Чапай. Вот и я...

— Тише вы, наряд вне очереди захотели? — пригрозил дежурный по роте, проходя мимо. Мы замолчали, а когда он ушел, снова зашушукались.

— Сказывают, батька мой в жизнь обид не прощал. Вроде бы и простить пора, а он нет, встретит обидчика — и засопит. Отсюда и Сапун.

Дни стояли — один пасмурнее другого, беспрерывно, вот уже вторую неделю, шли проливные дожди. Земля набухла до того, что не принимала влагу. Ручейки превратились в речки, а речки — в реки, болотца — в озера.

Мотострелковый батальон, саперы, связисты и разведчики роты управления находились в летних лагерях километрах в сорока от зимних казарм. Нас разделяла небольшая река — Суйфун, такая капризная, что не приведи бог, — она текла десятками стариц и проток, чуть ли не еженедельно меняя главное русло. По ее заболоченным поймам до границы тянулась высокая дамба, а через реку — деревянный мост, длиннее этого сооружения из бревен я еще никогда не видел. Рухни оно — и вся пограничная полоса будет отрезана от войсковых частей и баз. А на границу нацелилась многотысячная Квантунская армия. Переправу через Суйфун охраняли усиленным караулом — и мышь не проскочит. По обоим берегам в топких низинах и на окружающих пойму сопках стояли зенитчики — прожекторы, звукоуловители, батареи орудий. На политинформациях солдатам напоминали о Квантунской армии, постоянно изучали вооружение японцев. У каждо-

го бойца — русско-японский разговорник. Ждали гостей с маньчжурской стороны.

В городе на перекрестках улиц — долговременные огневые точки, противотанковые рвы, надолбы, эскарпы. В общем, прифронтовая полоса. Все это настораживало, особенно название. Привычное ДВК сменилось новым ДВФ — дальневосточный фронт. На Дону и Волге шли жестокие бои. Враг подошел к Сталинграду. Начала военных действий со дня на день ждали и здесь.

В один из ненастных дней над городом появился самолет. Опознавательных знаков на нем не было. Но бойцов учили распознавать врага по фюзеляжу.

— Самурай! — Этот возглас облетел все посты и батареи. Самолет шел курсом в глубь нашей земли, а огня по нему никто не открывал. Ведь это может быть началом войны с Японией. Он прошелся над городом и развернулся восвояси.

— Неужели уйдет, гад! — Подниминоги скрежетал зубами. Он, встретивший в бою первый день войны, знал, что значит упустить обнаглевшего врага: завтра вражина, почувствовав безнаказанность, появится снова, и не один. Потом неожиданный налет... Все может быть...

Где-то кто-то думал так же. Около самолета, прямо перед носом его, повис хлопок разрыва. За первым выстрелом ударили все батареи, что стояли на страже города и границы.

Снаряды рвались то выше, то ниже, впереди, позади, но в самурая ни один не угодил. Самолет скрылся невредимым. После говорили, что это учения — может быть, оно так и было.

Этой же ночью нас бросил к танкам сигнал боевой тревоги. Приказ: выйти к мосту через Суйфун.

Первым шел наш взвод. Под гусеницами вода ревела, скрежетал перемешанный с камнем песок. Похоже, что мы двигались по дну реки или озера, выбираясь на отмели, ныряя в глубину. Люки задраены накрепко, выхлопные трубы выведены на башню. Но уровень воды мог оказаться выше этих труб. В танке Скалов, Подниминоги и я. На второй машине майор Перетяга. Сапун ведет третью машину. Стрельцов остался с основными силами полка в военном городке. Старшина

следит за курсом, он знает его, не раз водил машину здесь, уверен, что правильно идем.

Фара выхватывает из темноты рябую гладь воды, полузатопленный кустарник. Все бледнее свет фары. Это рассвет гасит ее. Скорей бы!

Вот и дамба. Танк останавливается. Я открываю командирский люк и выскакиваю на броню. За мной выбирается Скалов, Подниминоги. Пораженные, оглядываемся вокруг. Вода поднялась вровень с дамбой и продолжает прибывать. Поймы Суйфуна — сплошное море с одинокими островками. У дамбы прибило волной тыквы, дыни, арбузы, всевозможную утварь.

— Что это? — кричу я.

Майор тоже выбрался из своего танка, поднимает к глазам бинокль. Да и простым глазом разобрать можно — плывет к дамбе срубовой дом, на крыше его люди, а вот и какой-то плотишко покачивается, и на нем человек.

Откуда столько воды — еще не понятно. И что нам делать — тоже неясно. Я связываюсь со штабом полка. Приказывают наладить связь с мотострелковым батальоном и ротой управления, они по ту сторону реки. Километров десять до них, нам даже видны вершины сопок, под которыми находится лагерь. Он, кажется, уже под водой. Никто оттуда не отвечает. Получаем новый приказ Стрельцова — пробиться в лагерь на одной машине, а двум другим отойти от затопленной дамбы к сопкам и быть готовым к бою...

Наша машина на предельной скорости летит к мосту, а по настилу движется осторожно, под ней в полуметре клокочет вода. Она несет бревна, доски, колоды, вон даже полевой вагончик плывет, прямо на мост, а за вагончиком непонятное сооружение из бревен. Они с налету могут сорвать мостовой настил. Мост и без них стонет от насевших на его быки саней, телег, бревен. Медлить нельзя — сорвет в пучину и танк, и помочь нам никто не сможет. Покинуть машину? А приказ? А люди на том берегу? Чего они ждут? Почему не переправляются? Какая помощь нужна им?

— Серега, как? — это спрашивает старшина.

— А как в бою. Стоп! — командует Скалов. — Снежок, снаряд!

Танк остановился, разворачивается башня. Как же медленно ползет она! Огромный сруб, кажется, плывет

быстрее, течением гонит его и ветром. Ветер, как назло, попутный.

Но Сергей почему-то замешкался. Что с ним?

— Не могу, Ваня, вдруг там люди, — говорит он.

— Огонь! — гремит голос старшины.

— Выстрел! — слышу я Скалова.

От взрыва снаряда вагончик закружился, и его понесло в сторону. Яснее стал виден сруб. Скалов не ошибся: на нем люди. Человек десять держались в оконных проемах. Гибель неминуема. Мост рухнет — и сруб рассыплется.

— Скалов, милый, — кричал я в ТПУ, — угоди в угол сруба, может, свернет, как вагончик.— Я не знаю, за кого я больше боялся — за себя или за людей на срубе.

— Снаряд! — С лица Скалова катился пот. Сергей сбросил перчатки и голыми руками наводил пушку.

Люди на срубе поняли, что им не жить. Но был среди них кто-то сильный, он принял решение — в воду полетели доски и на каждую из них прыгал со сруба человек. Доски, словно торпеды, понеслись под мост. Я не чувствовал, как дернулся ствол пушки. Снаряд угодил в угол сруба, и тот какое-то время медленно вертелся на месте, а потом снова, набирая скорость, двинулся к нам.

Взмокшими руками один за другим я подавал снаряды.

На дамбу карабкались люди, здесь вода ходила кругами, закружила она и доски, народ прыгал с них и вплавь добирался к спасительной дамбе, но две или три плахи проскочили под мостом и скрылись в пучине.

За мостом уровень воды был ниже, даже по коренному руслу, а за дамбой — слева и справа — совсем мелко, кусты едва затопило. Воду, словно плотина, сдерживала дамба, а мост походил на водослив гидростанции.

Снаряды разметали сруб по бревнышку, но сверху Суйфун нес еще не одно сооружение. Угроза нарастала.

Майор в бинокль, наверное, хорошо видел, что происходит на мосту и около него. Один из танков рванулся к нам на помощь. Две машины мост не выдержит. Мы решили, что Перетяга сменит нас, а мы вы-

полним приказ Стрельцова и пробьемся к батальону.

Подниминоги тронул танк курсом на другой берег. И только мы миновали мост, к нам подбежал промокший до нитки комиссар Пименов. Мы остановились. Он быстро объяснил обстановку.

Ночью волна метра в три хлынула из распадков сопок, она гнала всех: и людей и зверей. Материальная часть, танки разведвзвода, противотанковые орудия, рации — все осталось под водой. Людей удалось вывести на возвышенность, до сопок даже добраться не успели. Сейчас возвышенность превратилась в остров. Вода продолжает прибывать, люди стоят по колено. Комиссару с тремя автоматчиками удалось вплавь выбраться к дамбе.

— Сюда вышли понтонеры, — доложил я.

Танк на мосту стрелял все чаще и чаще. Вода вот-вот хлынет через мост. Под ним и просвета уже не осталось. Впереди, чуть правее дамбы, виден небольшой остров.

— Товарищ комиссар! — Подниминоги тяжело дышал, волосы его намокли, шлем он держал в руке. — Пошлите автоматчика, какова здесь глубина... А в общем, не надо, я сам.

Старшина сбросил куртку, отстегнул пистолет. Я все понял и с мотком троса кинулся к нему.

— Держи конец, подстрахую.

Подниминоги шагнул в воду. Я следил за ним, разматывая трос. Старшина вымеривал дорогу к островку. Он скрылся с головой, вынырнул, проплыл саженками метра два и снова нырнул. Трос натянулся.

Танк на мосту не прекращал огня. «Скоро и боекомплект кончится», — подумалось мне.

Подниминоги в это время опять вынырнул и двинулся вперед. Плечи его показались из воды. А когда стало по пояс, старшина повернул обратно. Ко мне подбежали автоматчики, и мы вчетвером легко перетащили Ивана на дамбу.

— Перебирайтесь на остров пеши. Я один поведу машину.

Но мы остались на броне, плотно закрыли люки. Машина пошла в воду, погружаясь все глубже и глубже. Вот и самое опасное место. «Тридцатьчетверка» скрылась в волнах по башню, мы стояли на люках по колено в воде, жарко обдавало из выхлопных труб, ды-

хание захватывало, небольшая рытвина хотя бы под одной гусеницей — и танк захлестнет.

Минута, другая. Медленно, очень медленно, словно слепой на ощупь, пробирается машина по дну. Мы еле удерживаемся на башне, мокрые до плеч. Но если что случится, мы успеем открыть люк и вызволить Ивана. Наконец вода соскользнула с люков, танк пошел быстрее, а когда Иван увидел в триплекс дневной свет, он дал полный газ, словно «ура» выдохнул. Испытание выдержано.

Но радоваться рано. Вода уже перекатывалась через дамбу и мост.

— Ну, Серега, теперь все от тебя зависит.

Башня развернулась пушкой к дамбе.

— Фугасный! — командовал Скалов.

— Выстрел!

Столб из камней, песка и щебня поднялся над дамбой.

— Фугасный!

И еще столб, теперь уже с водой, взлетел на воздух. Появилась первая пробоина, и вода хлынула в нее, смывая песок, выворачивая камни. Скалов перенес огонь правее.

Башня заполнилась дымом от горячих гильз, не продохнуть. Я открыл люк, глотнул свежака. Наш островок вроде бы стал выше. Вода уходила. Я глянул на мост. Танка там не было, он вернулся на берег и оттуда ударил по дамбе. Фугасные пробили ее на той стороне.

Мост словно вырастал, появился под ним просвет. Он все больше и больше. Батальон, что стоял по колено в воде, наверное, спасен.

Я опустился в башню, подал очередной снаряд и почувствовал себя плохо. Руки мелко дрожали, в шею словно шомпол воткнули — одеревенела, заныла спина — не согнуться.

«Что это со мной? Устал? А как же в бою?»

Однажды на тактических занятиях «пеши по танкам» у меня закружилась голова, земля ушла из-под ног, я словно в темноту провалился, а когда очнулся, увидел над собой Ивана и Сергея. Ворот гимнастерки у меня расстегнут, под голову положен противогаз. Ребята, увидев, что я пришел в себя, подняли меня и почти на руках, подхватив под мышки, доставили в ка-

зарму. Я просил не отправлять меня в санчасть, отлежусь, мол. И отлежался: на другой день был уже в строю.

И вот опять, будь проклята эта контузия...

Я потянулся к боеукладке и не смог поднять снаряд. Он, словно соляром смазанный, выскользнул из рук. Скалов подхватил его, пнул ногой Ивана и кивнул на меня. Старшина помог мне выбраться из башни. Однако свежий воздух не вернул силы. Старшина что-то говорил, указывая на жалюзи, я не слышал его голоса. Он сбросил с себя куртку, постелил: приляг, мол.

Я лежал и глотал воздух. Хотел сказать «воды», и пробормотал что-то невнятное. Старшина пытался нащупать пульс. На броне появился Скалов, потный, в копоти, блестят глаза да зубы. Он с тревогой смотрел на меня...

Так я очутился в санчасти. Сказалась контузия, мозговые центры где-то опять перестали «контачить».

Ночами спал беспокойно, вернее не спал, а бредил. Вскакивал, убивал впервые убитого мной немца, бежал в атаку, стараясь не отставать от Стрельцова... И отставал... Горел в давно сгоревшей «тридцатьчетверке». Видел, как, припадая на раненую ногу, уходил от нее Скалов, а старшина тащил меня на себе, гремел взрыв, по листам разлеталась броня, и мы падали на землю... Виделась мне и подобравшая нас похоронная команда... Все, все повторялось в бреду...

Провалялся я недели две. Друзья наведывались ко мне, успокаивали: все, мол, пройдет, где наша не пропадала. Но я чувствовал: что-то они утаивают.

Пришли они как-то вечером в неурочный час. Сергей сел ко мне на койку, а старшина протянул мне записку. Я прочитал ее, и руки у меня задрожали. Ребята уезжали с маршевой ротой на фронт.

Они молча поочередно обнимали меня, жали руку. Мне казалось, что мы больше не встретимся. Фронт велик, да и попаду ли я на фронт? Выходит, напрасно обманывал я врача, чтобы не отстать от друзей.

Товарищи уехали. Мне стало хуже, из санчасти перевели меня в госпиталь, и я понял — надолго. Память то возвращалась ко мне, то пропадала. Письма и те я не читал и не писал, какое-то равнодушие ко всему и к собственной жизни охватило меня.

Глава шестая

Когда врачи сочли нужным выписать меня из госпиталя, наша армия облачилась в погоны. Нельзя сказать, что бойцы и командиры одинаково радостно нашивали погоны и переделывали отложные воротники гимнастерок на стоячие. Как тавро, крепко тисненное, на видавшем виды обмундировании зияли следы петлиц, «треугольников», «кубарей» и «шпал». Но главное таилось не во внешнем. Особенно остро чувствовалось это в Москве, куда я прибыл с Амура по Северной дороге. Среди множества военных, одетых или пододетых по-новому, я выглядел белой вороной, правда, не я один. Из госпиталей возвращалась уйма подштопанного, подновленного воинского люда. А при выписке нам выдавали то, что сняли с других, что еще хранило запахи сражений.

Не каждый знал, что появление в старой форме на улицах столицы запрещено. В станционных залах, похожих на привал в походе, гудящих разнозвучием, и на вокзальных перронах нас еще терпели, а покажись на площади или на улице — перед тобой, как из-под земли, появлялся патруль. Но как заглушить желание увидеть город, спасенный тобой? Да ведь это не просто город, это сердце Родины.

Меня задержали в метро, на той самой станции, где насмерть стоят коричневые скульптуры людей, вступившие в жестокий бой. Среди них есть красноармеец — солдат революции — с петлицами, что и у меня на гимнастерке. Возле этого красноармейца я и остановился, как бы загородился им, и с неприязнью поглядывал на чеканивших шаг военных — шаги в метро особенно гулки.

— Почему не приветствуете? — вернул меня к действительности молодой голос, фальшиво настроенный на строгий лад.

Я молча смотрел на патрульного, еще не понимая, чего он хочет.

— Товарищи офицеры! — донеслось от эскалатора. — Собираемся у выхода справа!

«И как эти два разнозначных слова — «товарищи» и «офицеры» уравнялись и встали рядом?» — подумал

я, все еще не отвечая на вопрос патрульного, а тот уже метал гром и молнии:

— Оглох, что ли? А может, ослеп? Не видишь, кто перед тобой? Документы!

Что мог я ему ответить? Не приветствую потому, что задумался и не заметил? В кармане лежало свидетельство, «годен к нестроевой в тылу», и отпускной билет с аттестатами: вещевым, продовольственным, денежным и прочие документы. Я достал их и сунул патрульному. Тот небрежно полистал, словно не в них было главное, а в чем-то другом, более важном.

— Почему не по форме? — взгляд его скользнул по знакам различия на петлицах шинели, а затем по выглядывающим на гимнастерке. Темная танковая шинель, командирская, двухбортная, видать, не приглянулась патрульному.

— За нарушение формы вы задержаны, — официально переходя на «вы», сказал он. — Следуйте за мной!

«Хорошо еще не топать под дулом», — подумал я, глянул на скульптуру красноармейца, улыбнулся ему, подхватил свой вещмешок, чемоданчик и двинулся, как было приказано.

В комендатуре довольно пожилой лейтенант, чем-то напоминавший мне родного батю, изучающе-пристально, а потом как-то удивленно долго смотрел на меня.

— Присаживайся, — наконец сказал он немного хриплым голосом и кивнул на ряд стульев, скрепленных воедино двумя рейками, как в кинозале. Патрульный сел, поглядывая на меня. Я понял взгляд его маленьких острых глаз на гладком лице.

«Не думай, — говорил этот взгляд, — что лейтенант вежлив. Рисуется. Начальство, оно всегда так. А нас, рядовых, по-иному инструктирует. Так что, извиняй, я выполнил свой долг». Лейтенант внимательно изучал мои документы, он, казалось, забыл обо мне.

Сейчас я торопился домой в отпуск, хотелось побольше знать обо всем и всех, наконец-то справиться и о своей девчонке. Я не приглядывался особо к лейтенанту из комендатуры и патрульному, я был зол на них: задерживают человека по пустякам, когда каждый час дорог.

— Товарищ гвардии старший сержант! — раздался голос лейтенанта. Этим званием меня еще никто не

величал. «Старший сержант» — я несколько раз перечитывал, слегка шевеля губами. Оно значилось в выписке из приказа и во временном наградном удостоверении за действия на Суйфуне, присланных мне в госпиталь.

— Я! — Вскочив со стула, я встал по команде «смирно».

— Вольно, вольно. Я просто проверил.

— Что, товарищ лейтенант?

— Да ты ли это? — лейтенант загадочно улыбнулся. — А ну, распахни шинель!

Я подумал: отберут добротную танковую и оденут в серенькую. Такие случаи бывали, кожаный ремень отберут, а брезентовый — пожалуйста, или сапоги на обмотки с ботинками сменят: не положено, мол. А еще страшнее было распахивать шинель, потому что в боковом кармане лежал мой парабеллум, но я все же расстегнулся.

— Вот теперь ты уже совсем ты! Гляди, Яско. Настоящий гвардеец перед нами.

Яско, патрульный, вскочил, уставился на мою грудь. «Только бы пистолета не заметили», — боялся я больше всего.

— Эти медали, — лейтенант кивнул на мои «Отваги», — в сорок первом заслужить — не то что сейчас. — И он ткнул рукой в свои ордена. — Запомни, Яско.

— Есть запомнить! — четко выкрикнул патрульный, брякнув прикладом о цементный пол.

Лейтенант поморщился, и я вздрогнул, где же я видел этого человека? И опять вспомнил отца. Да, в лейтенанте было что-то от моего бати.

— Можешь быть свободным, Яско.

Отпустив патрульного, лейтенант снова уткнулся в мои бумаги. Он снял фуражку, стал виден ровный пробор в чуть седых русых волосах. Я прикусил губу, сдерживая крик: я боялся ошибиться.

Это было давно, очень давно, но детская память цепкая.

Отца долгое время не было дома — может, месяц, а может, два. Мы с мамой скучали. Больше скучала, конечно, она. А я — что я понимал тогда, трехлетний малец? Батька вернулся неожиданно, поздно ночью. Поцеловал меня сонного, но утром я сразу вспомнил,

что он приехал, кинулся к маминой постели. Отца не было. Не было и мамы. В другой комнате на полу спал человек. Он укрыт одеялом, только одна голова видна на подушке, вернее, затылок. Папкин затылок! Я прижался к небритой щеке. Человек проснулся. Вскрикнув, я бросился из комнаты. Человек не был моим папой. Это был другой, но до чего похож! И не страшный, а не папа.

Из кухни тянуло запахом жареной колбасы. Папа так любил жареную колбасу. Остановившись в дверях, я увидел спину отца, он жарил колбасу. Но, может быть, и этот не папа?

— Что с тобой, сынок? — мама подхватила меня на руки. Глаза ее испуганны.

Жаривший колбасу повернулся. Страх в глазах матери исчез, как только она увидела радость в моих. Передо мной стоял мой папа.

— А там кто? — я повел глазами на дверь в комнату. Мать и отец рассмеялись — наверное, поняли, что произошло.

— Этот дядя, сынок, твой дядя. Мой двоюродный брат. Пойдем знакомиться.

Больше я папиного двоюродного брата, так похожего на папу, не видел. Он работал где-то далеко, чуть ли не в Китае. Но случай этот оставался в памяти, вспомнил я его и сейчас.

Лейтенант протянул мне документы, улыбнулсля одними глазами. Нет, он не похож на моего отца. По крайней мере, на того отца, которого я видел в последний раз, этот старее — не старше, а именно старее.

— Дядя, — тихо сказал я и шагнул к лейтенанту. Он поднялся, вышел из-за перегородки, разделяющей нас, и обнял меня.

— Узнал, узнал все же... Ну, вот и встретились... Сначала было глазам не поверил, а глянул документы... Ну, ну, ничего.

Зазвонил телефон. Лейтенанта куда-то срочно вызывали.

— Вот что, оставайся у меня на день-два. Идем, идем. Отдохнешь малость.

Дядя, слегка подталкивая меня, шел по какому-то коридору. Раньше здесь, видать, был широченный зал,

а сейчас его дощатыми перегородками поделили на каморки, в одной из таких жил мой дядя, по соседству — солдаты и сержанты из комендатуры. Сейчас здесь стояла тишина, люди, наверное, в наряде, а отдыхающие спят.

— Вот, располагайся. У меня топчан и койка. Занимай что душе угодно. А я, может, и до утра не вернусь. Ну, побежал.

Он не бежал, не скоро усталые его шаги затихли под сводами этого полумонастыря, полукрепости.

Мне тоже пора было отдохнуть, от волнения или от чего другого я голода не чувствовал, а ноги после хождения по Москве гудели, как телеграфные столбы. Я стянул сапоги, приоткрыл маскировочную штору на стрельчатом церковном окне, на воле — темень. Час поздний. Устроившись поудобнее, я накрылся шинелью и быстро заснул, но спал беспокойно. То мать появлялась передо мной, то отец, то дядя-лейтенант, а потом приснилась Зорька, постепенно она приобретала черты моей девчонки, и вдруг эти образы слились. Я даже услышал, словно наяву: патрульный Яско разговаривает с моей любовью. Это было слишком. Надо просыпаться, я открыл глаза, а голоса не пропали:

— Выпейте стаканчик. По жилкам так и пойдет...

— Позвольте, я этого не люблю. Это просто неуважение ко мне. Я лучше уйду. Переночую на вокзале.

— Ладно. Больше не буду. А с вокзала прогонят...

— Я солдат, еду в часть. Где же мне ночевать?

— Вот и я говорю, чем валяться на полу, спите у меня.

— Но вы не даете спать. Я спала с ребятами, но те...

— Так и нечего время тянуть. На сон и часа не останется.

— Пустите. Вы не так поняли меня. Мы спали в одном блиндаже, в одном окопе, но...

— Знаю я, знаю...

— Пусти, кобель несчастный. Нет, нет... Товарищи!

В два прыжка я выскочил из каморки лейтенанта и кинулся к соседней, удар ногой — и крючок слетел, дверь распахнулась. Заплясало пламя свечи.

Я не мог выговорить ни слова. Яско соскочил с топчана, девушка, пряча колени под юбку, забилась в угол. Ступая босыми ногами по холодному каменному полу,

и переваливаясь по-медвежьи, Яско шел на меня. Глаза его горели совсем как у зверя.

— Тихо. Если солнышко любишь.

Только тут я увидел маленький «вальтер» в его руке. Один только глазок ствола, но если в упор пыхнет этот глазок, можно и не уберечься.

— А баба нужна — бери, окопных подстилок не жалко...

Мы стояли друг перед другом, грудь в грудь, я ниже его на целую голову и наполовину у́же в плечах. Рука у меня за бортом шинели. Не знал Яско, что я крепко сжимаю парабеллум и готов нажать спуск — пуля прошила бы мою шинель и навсегда уложила медведя, целиться не нужно, пистолет почти упирается в грудь.

Но что будет со мной? Чем я оправдаюсь? Незаконное хранение оружия в военное время — раз, самосуд в мирной обстановке — два. Трибунал, показательное заседание и перед строем гвардейцев отправка на тот свет. Но и отступать нельзя, танкисты не отступают.

— Ну, берешь бабу? Краля что надо, — говорил он свистящим шепотом — в соседних каморках могли услышать.

Я молчал, тогда он не выдержал:

— А, пропади все... — Жилистая рука его, левая, метнулась к предохранителю, но перевести его он не успел. Я ударил подлеца прямо в круглый, как яблоко, кадык.

Он качнулся и рухнул на каменный пол.

— Бежим! — прошептала девушка, хватая свои пожитки и шинель.

— Бежим! — согласился я, но прежде забрал у Яско вальтер, разрядил карабин, конфисковал все патроны, а затем потрогал бывшего патрульного, он застонал. «В крайнем случае, полежит в санчасти». Я схватил девушку за руку. Она остановилась. Глаза настороженно сверкнули. Я загасил свечку.

— И ты... тоже... О господи... — застонала она.

Я почти волоком затащил ее в каморку дяди-лейтенанта, уложил на койку.

— Не хлюпай, услышать могут, — наклонился я и платком вытер ее лицо. — Куда сейчас побежишь? У выхода дежурный, часовые, а в городе патрули. Давай спать...

Она взяла пистолет и, кажется, расстегнув ворот гимнастерки, спрятала, наверное, на груди. Они, девчонки, все ценное туда суют. Я улыбнулся, и на душе стало легче.

Наутро я проводил ее, помог сесть в поезд. Девушка ехала в сторону фронта, возвращалась из госпиталя в свою часть. А через день уезжал и я, стараниями дяди получив по вещевому аттестату новое, с иголочки, как говорят, обмундирование. Скрепя сердце нашил погоны, а когда глянул в зеркало на вокзале, сам себя не узнал. С погонами я выглядел куда лучше. Они ширили плечи и всю фигуру, словно подчеркивая горизонтальной ровной линией, делали стройнее, строже. Я улыбнулся своему отражению.

Поезд мой стоял под парами, у меня был даже билет, полученный по воинскому требованию, и вагон — не какой-нибудь, а купейный, для выздоравливающих раненых. Дядя все устроил, хотелось ему сделать для меня и кое-что посерьезней.

— Слушай, племяш. Пуля — дура. И штык — не всегда молодец. Возвращайся-ка после отпуска ко мне, я тебя в Москве пристрою. Повоевал ты в меру, два ранения, нестроевик уже. Послужишь у нас, здесь тоже не очень спокойно, но все на глазах будешь...

Мать-то, когда с Колымы вернулся, схоронил. Отмучилась. А сынки на фронте. Андрей во флоте воюет. Виктор в разведке. Давно вестей не было. Валентин вот весточку прислал, — лейтенант оживился. — Этот летает на истребителе, кажется, Москву оборонял. Над речкой Зушей под Мценском сбили его. Госпитализировали... А на станции Змеевка, — продолжал дядя...

— На станции Змеевка, — ставил задачу комэск экипажам, — скапливаются танки противника. Надо помешать им. Облачность густая, пойдем выше ее, обманем зенитчиков. Вон их сколько понавтыкали! — Колпаков потыкал карандашом в точки, помеченные на карте. — Такой заслон не проскочить даже на бреющем. Смотрите в оба, — и оглядел из-под нависших бровей командиров — внимательны ли, особо скосился на своего выученника Валентина Гусакова, словно спрашивал: «Ты-то уяснил?» Потом опять уставился в карту, повел карандашом над квадратами...

— Пойдем вот этаким курсом до линии фронта. Передовую пересечем под углом... Делаем ложный маневр в сторону своего тыла, — огня, мол, испугались. И опять под тем же углом за облака и ложимся на курс Змеевки. Уяснили? Ухо держать востро, с любых ракурсов могут ударить истребители, а мы идем без прикрытия. Все. Вопросы есть?

— Разрешите, товарищ гвардии капитан? — подал голос Валентин. — А если облачность пропадет?

— Типун тебе на язык, Валя,— вскинул брови комэск. — Куда она денется? Зенитками, что ли, разгонят? Прогноз точный!

— Ну а если?

— Действуем по обстановке. Обстановку оцениваю я. На рожон не лезть, машины беречь. Командир полка особо указал, намекнул, что впереди большое дело, полк должен сохранить боеспособность. Так что учтите...

Две красные ракеты взвились над аэродромом. Валентин со своим воздушным стрелком едва успели пристегнуться ремнями, как воздух вспорола третья сигнальная ракета с каким-то змеиным шипеньем. Летчики поочередно доложили о готовности к взлету.

— Выруливать разрешаю, — отчетливо донесся радиоголос комэска.

Самолеты один за другим, кромсая трехлопастными винтами воздух, на малой скорости, притормаживая, а от этого словно спотыкаясь и уткой покачиваясь с крыла на крыло, выруливали на взлетную полосу и становились пара к паре в затылок, готовые к разбегу.

— Пошли! — скомандовал Колпаков.

Пара за парой стремительно взмывали ИЛы и, набрав высоту, также стремительно выстраивались в острый клин-треугольник. Легли на курс. Валентин взглядывал на соседние машины, боялся нарушить, в два размаха крыла, заданный интервал. Привычно следил за указателем курса, высоты, скорости, почти автоматически действовал ручкой управления и ножными педалями, напоминал стрелку:

— Ворон не лови, вострись!

Показалась неровная линия фронта, изрытая огнем и металлом. Поплыла вся в лунных кратерах-воронках нейтральная полоса. Фронт, затаившись, молчал зловеще. Ни одного выстрела, ни с той ни с другой стороны. Похоже, готовится «большое дело» по всей Курско-Ор-

ловской дуге. Летчикам с поднебесья видней, чем солдату на земле, пехота впереди себя, кроме кочки ближней, ничего не видит.

«И нас молчком пропустят?» — подумал Валентин, поглядывая на передовую немцев сквозь плексиглас фонаря, и скорее почувствовал, чем увидел, частые всплески пучков молний. Догадался — залпом ударили скорострельные зенитки, трассирующие пунктиры устремились в небо, но Колпаков уже вышел на курс обманного маневра и, как опытный вожак журавлиной стаи, уводил штурмовики от прицельного огня. Белые комья разрывов повисли справа в безопасной для ИЛов отдаленности.

Вот и тяжелая, низко нависшая облачность, о которой говорил комэск. Полоса ее кажется пологим берегом неведомого материка, впору выпускай шасси и приземляйся на все три точки.

Клин ИЛов, почти касаясь тяжелыми брюхами бархатно-плюшевых буро-черных с проседью облаков, разворачивался курсом на запад. Над самолетами, лаская взгляд, высоко-высоко разверзлось бездонное голубое небо с июльским солнцем в зените. Глянешь на такую голую невидаль — и сердце захлестывает волна радости, а посмотришь по сторонам и вниз — защемит-заколет под ложечкой. Земли не видно, за облаками она, оттого, наверное, и рождается тягостное чувство. На какой бы высоте, в какой бы голубизне ни купался ты, поблескивая на солнце могучими крыльями, главным ориентиром для тебя и родником силы твоей остается земля, и ради нее, чтобы золотилась и зеленела, синела венами рек и зеркалами озер земля-матушка, ты — в небе.

Колпаков скрадывал высоту, почти врезался в облачность, трехпалый винт его самолета взвихрил серый своеобразный бурун, убегающий под плоскостями к хвосту.

В промежье облаков, далеко внизу, показалась земля. Валентин увидел тонкие нити с поперечинами, словно две пары гигантских лестниц, брошенных плашмя. Железнодорожные пути. Они скрещивались, двоились. Вот уже не пересчитать их. Станция. Зеленовато-серые, словно длинные сигары с дымком на одном конце, скрыли блестящие, накатанные металлом, пути.

«Сигары — это эшелоны. Те самые с танками», —

определил Валентин. С платформ по настилам скатываются цвета табака коробки и направляются к зелено-черному лесу. Кучно бегут коробочки, обгоняя друг друга. Наверняка уловили натужный гул эскадрильи штурмовиков.

Мелькнуло промежье в облачности, и видимость пропала. Опять под крылом — бархатно-плюшевые облака.

— Заходим со стороны солнца. Делай, как я! — подает команду Колпаков, и клин штурмовиков перестраивается в кильватерную линию-змейку.

Кажется, замысел комэска удался. Сейчас ИЛы, один за другим, иглами пронизывая облачность, как снег на голову летней порой, ринутся на скопление танков на платформах, на пути к лесу и сосредоточенных под прикрытием деревьев. Звено Валентина в хвосте эскадрильи, а ведущий «змейки» уже в пике...

И вдруг стало светлым-светло под крыльями, облачность словно выпарило. Красные и желтые огненные трассы, косо разлиновывая небо, понеслись навстречу ИЛам. Разом забухали батареи тяжелых и средних зенитных орудий. Захлебываясь, — трах-та-та! — снаряд за снарядом посылали скорострелки и пулеметы. Через эту чащобу огня штурмовики буквально продирались. Взрывные волны и осколки хлестали по фюзеляжам, и плоскостям, ИЛы вздрагивали от боя собственных пушек и пулеметов, но не отворачивали.

Колпаков вышел из атаки, готовый на новый заход, а Валентин только еще входил в первое пике.

— Командир, — радиоголос воздушного стрелка, — справа «фоккер», «фоккер» на хвосте!

— Валя, Валёк, — это голос Колпакова. Значит, за всеми следит комэск. — Переходи на бреющий — и домой, на аэродром. Боя не принимать, срежут. Уходи!

Валентин слышал командирский приказ, но выполнить его не мог. Мгновенно оценив обстановку — вступил в бой. Один из самолетов звена задымил, полыхнуло пламя на фюзеляже другого. Машина Валентина дрожмя дрожит, содрогаясь от моторов до хвоста. Валентин потянул ручку на себя, лег на правое крыло, разворачиваясь для удара со всех пушек и пулеметов по «фокке-вульфу»...

Валентин не видел, как самолеты его звена шли на цель...

* * *

Колпаков докладывал в штабе полка о выполнении задания. Замысел внезапного удара по скоплению танков удался только при первом заходе. Синоптики подвели — облачность рассеялась, и зенитчики имели возможность вести прицельный огонь по штурмовикам на большой высоте. Пришлось уходить, чтобы избежать потерь. На звено старшего лейтенанта Гусакова навалились «фокке-вульфы». Звено на базу не вернулось.

— Вы приказывали Гусакову не принимать боя? — спросил полковник.

— Да. Мне показалось, что он мог увернуться...

— Выходит, не выполнен приказ в боевой обстановке?

— Гвардии старший лейтенант Гусаков исполнительный летчик!

Штабные работники в это время чертили схему предполагаемого боя.

— В таком положении находились самолеты? — спросили Колпакова.

— Да, — проговорил он, оглядывая схему.

Получалось, что Гусаков мог действительно уйти от очередей «фоккера», не приняв боя. Приказ комэска единственно правильный.

— А может быть, Гусаков не принял моего приказа? — пытался выгородить летчика капитан, еще не зная, что с Валентином, жив ли.

— Из двенадцати вернулось шесть. Это черт-те знает что такое, — горячился командир полка.

— Но...

— Никаких но, капитан. Я предупреждал не лезть на рожон...

— Разрешите, — на пороге штабной землянки вырос летчик в обгорелом комбинезоне и, словно новенькой, чистой фуражке. Технари, видать, выручили головным убором.

— Гусаков! Явился — не запылился, — проговорил кто-то из офицеров, и не поймешь — не то с иронией, не то с восхищением. Командир же полка определенно суров, даже жесток.

— Вы получили приказ комэска? И приняли бой? Не выполнили приказа. Хороши инициаторы, столько машин потерять. Один пшик от полка остается?

— Товарищ гвардии полковник, разрешите доложить, — стоял на своем Гусаков.

— О чем? Пойдете под суд, там и доложите обстоятельно.

— В бою над станцией Змеевкой, — ломился сквозь слова комполка Валентин, — уничтожено два «фокке-вульфа», атаковавших меня. Звено, сбив пламя, дважды заходило на штурмовку. Подбито и сожжено более тридцати танков и автомашин противника. Вот подтверждение фоторазведчика. — Валентин протянул пленку...

— Проявить, срочно! — приказал полковник, а Валентин продолжал:

— У самолетов изрешечены фюзеляжи и плоскости. Можно сказать, лохмоты остались. — Летчик криво улыбнулся, что, мол, поделаешь. — У одного загорелся мотор. У моего уже на земле, после посадки, отвалилась хвостовая часть. Убитых нет. Все ранены, по-разному. Я слегка. Вскользь по черепу. Жаль вот шлем загублен...

— Так чего ж ты, горе луковое, сразу с порога не доложил? — и командир полка обнял Валентина.— Эх ты, инициатор!

* * *

...— За тот, несхемный бой, вот, — дядя достал фото Валентина, указал взглядом на орден Красного Знамени.

Дядя, казалось, еще что-то хотел сказать мне, но только крепко пожал ладонь, до боли...

— Спасибо, дядя, на добром слове. Время покажет. Только до Берлина дорожка еще длинная. До свидания. А случится ехать, заеду.

«Товарищи офицеры!» — услышал я опять с перрона и подумал: «Чего не делает с судьбами людей история!»

В родной город приехал я ночью. На вокзале предупредили: ворья на улицах — спасу нет. Подожди, мол, до утра. Тем более с вещами.

Вещи? Ха, заплечный мешок, плащ-палатка и желтый чемоданчик с недорогими подарками для матери, сестры и братишки. Невелико богатство, но кто знает,

чем нагрузился фронтовик. Ждать до утра, когда дома не был сто лет?

Иду. Тихо. Ни огонька. Город словно вымер. Заборов и ворот у домов нет — все, видно, пожгли в стужу. Гуляй с улицы на улицу — сплошные проходники.

Гулки в тишине собственные шаги. Окованные каблуки добротных яловых сапог высекают искры из булыжной выщербленной мостовой. Иду не тротуаром, а серединой дороги — попробуй подойти неожиданно. Рука — за бортом шинели на холодноватой рукояти пистолета, за плечами — вещевой мешок, в левой руке — чемодан.

Вот и родной узкий, с покосившимися двухэтажными деревянными домами двор. Старый вяз у ворот...

...Жил я здесь с бабкой Прасковьей и ее сыновьями, моими дядьками. Отец с матерью в село Большую Глушицу уехали, после коллективизации там специалисты разного рода требовались. Меня не хотели отрывать от школы, летом заберем, мол.

Время тяжелое стояло, голодное. Самаре на такое везет — двадцать первый, тридцать второй да и после бывали прорухи.

Квартира наша в третьем доме, считая от ворот с вязом, в глубине двора, на втором этаже. После отъезда дядьев и теток просторно стало. Бабка да я, а комнат две — темная и светлая, да зальце отдельное в два окна, хотя они и в соседнюю стену, но ясные — наискосок солнце в них с утра входило. Еще кухня с русской печью, сени с чуланом и дровяник внизу у самого бывшего каретника. Обилие жилплощади. Хоть квартирантов пускай. Бабка так и сделала. Поселился у нас волжский рыбак — моторист Сергей Скалов. Веселый парень. От веселости, наверное, без денег всегда, но всегда с неразлучной гитарой.

Скалов каждую ночь брюки — широкие, синего бостона — на газетку под матрас клал, газеткой прикрывал, потом матрас стлал. Наутро брюки и гладить не надо, стрелки словно отутюжены мастером-портным. Вот этот своеобразный утюг и унаследовал я от рыбака.

Недолго мы втроем жили. Вскоре к нам переехала семья двоюродного брата моего отца — того лейтенанта, что из Москвы меня проводил. Самого дяди с ними уже не было.

Жили они трудно, на авось, перебиваясь с хлеба на воду. Старший дядькин сын Виктор в Уфе проживает, говорили, и ждали от него помощи. В Уфе, мол, и хлеба и сахару — завались. Ешь не хочу. Помощь из Уфы по неизвестным причинам задерживалась. Средний сын Андрей устроился на Станкозавод учеником в слесарный цех. Младший, мой одногодок, Валентин, Валёк, даже школу забросил и где-то пропадал целыми днями. Он-то мне и предложил однажды:

— Двинем в Уфу, а?

— Это как, говорю, двинем?

— А так, — говорит, — загоним на барахолке кое-какие шмутки, рубли на три. На хлеб хватит. А в Уфе у брательника! Знаешь! Короче говоря, катайся как сыр в масле...

Валёк и одет-то, смотреть совестно. Пальтишко — заплата на заплате, рубаха на пузе, так что пуп проглядывает, протерта и не чинена. Ботинки лягушачьим ртом, так и кажется, сейчас услышишь — ква, ква.

Я одет сносно. Все на мне отцово, на меня перешитое, но все чисто и крепко, сапоги из дядькиных переделаны. Какое же барахлишко сбывать? Не Валькино же тряпье! Кто его покупать станет.

— Я тут припас, — говорит Валёк и тащит меня в сенной чулан. Там в старом ларе сложен инструмент моего крестного, что на летчика учится, пилки, долотца разные, стамески, и младшего дяди, что в заливе Ди-Кастры служит, — резцы всякие. Все это пуще глаза берегите, наказывали бабке. Я к ларю подходить боялся, а Валёк открывает верхний ящик и достает вышитую косоворотку из доброго белого полотна, — видно, помялась.

— Своровал? — я даже попятился.

— От папани осталась!..

— Нет, — говорю, — Валёк, так не пойдет...

— Ну мотри, мотри. Не хочешь хлеба с сахаром? Масла-мяса не хочешь? Я ведь могу один. Тебя только жаль. Не видал ты ни шиша, окромя своего вонючего двора...

— Вонючего? Ты это брось, а то...

— Что «а то»?

Валёк хоть и одногодок, рослее меня, крепче. К тому же родня. Драться вроде бы нам не с руки. И я

сдерживаю себя. А сахара, хлеба, масла мне — вот как! — хочется, и Уфу повидать не мешало бы.

— Решился? Вот трешница. На буханку коммерческого хватит. Поезд вечером. А сейчас, короче, хлеб доставать идем. Клади сумку — и айда. Короче, мне некогда...

До Уфы не близко, а хлеб наш кончился. Остатки буханки тянули как резину-жвачку, ели и не ели, жевали медленно. Так, говорил Валёк, лучше еда усваивается — грамм за сто граммов.

В вагоне, можно сказать, просторно. Сидят и лежат, стоячих пассажиров не видать. Мы только. Едем, озираясь, проводник в вагон — мы под полки. Хорошо, что он редко показывается. На больших остановках.

В купе две женщины. Бабка в пуховом платке и в потертом плюшевом жакете, другая тетка помоложе, все лицо в конопушках. На коленях у них еда. Жадничают. Заправляются через каждые полчаса. Мучают нас. И все же не выдерживают наших красноречивых взглядов. Бабка в жакете хлеба по ломтику дала, а тетка в конопушках по две вареных картохи.

— Кто ж у вас в Уфе-то? — поинтересовалась тетка с конопушками.

— Брат, — отвечал Валёк, — старательно прожевывая хлеб, напомнив мне, так лучше еда усваивается, грамм — за сто граммов.

— Родной? — продолжала тетка, выждав, когда Валёк сглотнет.

— Да, тетя.

— А где же мать с тятькой?

— Померли, — врал Валёк. Я молчал. Видел, что Вальку не особенно верят и на меня любознательно глядят. Одет-то я чисто, на беспризорника не похож. И с Вальком у меня на личность никакого сходства.

— А ты кто, внучек? — это бабка в вытертом жакете ко мне обращается.

— Со мной. Меньшой братан, — за меня отвечает Валёк, боится, что я не то, что надо, совру.

Тетка в конопушках хитровато оглядывает нас, будто впервые.

— Братки вы, может, и братки. Да не по крови. И одежонка на вас разнодворная. Словно один материн сын, а другой мачехин?

— Ха! — забывается, наевшись, Валёк. — У моей матери семь ртов, а у евонной он один-одинешек!

— Как же так получается, внучек? Сказывал ведь, что мать-то у вас померевши? — вмешалась бабка в жакете.

— Ну да, когда... — начал было Валёк, бабка в потертом жакете перебила:

— Грех, внук, врать, грех. Кабы знала, и хлебушка не дала. Живую мать хоронишь. Верно, и отец жив-здрав?

— Воришки, видно. Спаровались, — раздался над нами хриплый голос. Поднимаю глаза и вижу дядьку в проходе. Стоит, покуривает, чадит самосадом. Плотный, словно сбитая головка сыра. — В милицию заявить надобно, давно я за ними доглядываю. Так и сделаем, сдадим!

— Дядь, а дядь... — Валькин голос снова писклив, опять будет лебезить.

— Есть у него мамка. И у меня есть, — не выдерживаю я. — А жратвы нет. А в Уфе и хлеб, и сахар...

— Так бы давно, парень, — говорит дядька, — а темнят, темнят. Будто дуралеи тут. В Уфе, скажу я вам, то, что и в Самаре. Власть-то кругом одна. Терпеть надо. Ждать. Да, ждать...

— Видно, как вы терпите и ждете! — нахохлился Валёк, оглядывая дядьку снизу вверх и с боков.

— А тебя, пескарь, в угол не ставили?

— Меня? — Валёк ткнул себя указательным пальцем в грудь и улыбнулся. — Нет, не ставили. Мы в юрте жили, она круглая!

— Смышлен, грамотей! — заулыбался дядька. — В карман за словом не полезет. Кто же батька твой, что в мусульманской избе проживал? Башкирец?

— Да, — соврал Валёк.

— На твою личность глядя, не скажешь...

Со средней полки спрыгнул парень в штормовке с блестящей портупеей через плечо. С полки свисает красноармейская шинель в дырочках по поле́. Комсомолец, видать. В вагон он подсел где-то ночью и сразу же задал храпака. Дядька разбудил его своим разговором.

— Так, куда же дрейфуем, товарищи? — продолжал, улыбаясь, парень. — За хлебом-сахаром?

Валёк и я согласно кивнули.

— Я тоже, — ошарашил нас парень. — Будем знакомы, Костя Колпаков. Держитесь меня. В Уфе определимся. Брат-то действительно там есть?

— Есть... — как-то неопределенно, без прежней уверенности, ответил Валька, я даже покосился на него: неужели мне врал?

— Покажи, товарищ Валя, адресок? — Костя Колпаков прищурился. Валёк засуетился. И я все понял. Нет в Уфе никакого брата.

— Значит, товарищи, едем на деревню к дедушке?

— Забыл я конверт с адресом, — оправдывался Валёк. Теперь даже я ему не верил.

* * *

В Уфу приехали ночью. Морозище — дышать с непривычки хоть не дыши. Лицо словно опалило, и уши разом загорелись. Ведь мы в кепчонках и летних пальтишках на рыбьем меху, в голой обувке. У меня сапоги — еще так-сяк, а у Валька — лягушки.

Никакой Уфы на станции нет. Она, говорят, где-то на горе и за горой. Гору видать — крутая. В нашем одеянии на нее и не взберешься — заживо ледышкой станешь. Ветер так и сечет, с присвистом, словно с той горы кто-то неведомый на санях катится.

— За мной, товарищи, — скомандовал нам Костя и пошагал в здание вокзала.

Здесь тепло. Натоплено. На жестких скамьях и промеж них — народ, дорожный, разнодворный по одежде и багажу: рабочий люд с сундучками и чемоданами, крестьянский — больше с мешками-котомками.

Костя облюбовал уголок у паровой батареи, потеснил проезжих, те уступили, косясь на портупею. Костя сбросил шинель, надетую внакидку и расстелил на полу.

— До утра придется зимовать, — сказал он нам.— Я сейчас насчет кипяточку разузнаю. Вам — никуда не отходить. Забрать могут, как безнадзорных беспризорников. Понятно? Стартую!

Шинель Колпаков нам оставил. На ходу высвобождая из вещевого мешка солдатский котелок, затерялся между скамейками и пассажирами.

Присели мы, молчим, озираемся. Подле нас двое мужчин разговаривают вполголоса, но слыхать.

— Надумал я податься в Самару. Там, говорят, не

то, что у нас. Главное, слыхать, и хлеба и сахару вдоволь...

— Я вот тоже, слухами попользовавшись, рискнул. Оно, понятно, и там не будешь, как сыр в масле кататься, но все-таки. Народишко сказывает, нарком приезжал в Самару. Помогу всяческую обещал. Даже отмену карточек... Хлеб коммерческий, это, знамо, с накидкой, уже продают. Так что, земляк, верно мы решили...

Я слушал и ушам своим не верил. Мы в Уфу за хлебом-сахаром, а они из Уфы? Что же это такое получается? Нарком действительно приезжал. Мы, пионеры, школой ходили на встречу с ним. Тепло еще было. Речь я слышал плохо, он с балкона вокзала говорил. Ура ему кричали. И хлеб коммерческий после этого вскоре появился. Все правильно.

— Слышишь? — говорю я Вальку. — А ты: Уфа да Уфа...

А двое рядом продолжают:

— Как бы не проспать поезд на Самару?

— Я и то оберегаюсь. Не сплю. Вторые сутки норовлюсь... Слушай-ка? Кажись, на Самару объявили?

— Я сбегаю, земляк?

— Дуй! А я вещички покудова в кучу...

Один вскочил, побежал, а другой стал собирать разложенное по полу. Весь вокзал будто ожил, зашумел, загудел. Действительно, подошел поезд.

— Самарский! — прибежал тот, что убегал, схватил свою катомку. — Айда давай, земляк. Народищу!

— Валька! — широко разевая рот, прошептал я, словно прокричал, и уставился на него. — Бежим. До дома как-нибудь, не замерзнем...

Валька не колебался, он слышал разговор мужиков и думал о нем, а думал Валька быстро.

— Бежим! — он вскочил и помчался, я — за ним. Мы забыли обо всем, о хлебе-сахаре, колбасах и пельменях. Живут же люди без конфет-пряников, а мы хуже, что ли?

Бежали к поезду — только снег из-под ног! Я оскользнулся и чуть не упал, но удержался. Валька вовремя руку подал и сам заскользил было, тут я ему помог.

Состав стоял на третьем пути, нужно было преодолеть два. Не споткнуться впопыхах о рельсы — с ма-

ху до смерти побиться можно. Преодолели один путь. Летим через платформу. Что-то крыльями бьется над Валькой. Или мне это кажется? Бежим не одни мы — толпа, лавина... Валька вырвался вперед. Его башмаки-лягушки с разинутыми ртами сигают через второй путь, скачут по платформе. Я стараюсь не отстать. И вот поезд рядом.

У входа в вагон — толпа. Надо пронырнуть под сцеп вагонов, забраться на буфер. Если в вагон не попадешь, можно на крышу, потом все равно в тамбур пустят. Не замерзать же в Уфе, будь ей неладно.

Валька уже вскочил. Что-то его не пускает. Ах, на тебе! — эти самые крылья за плечом мешают. Откуда они? Я вскакиваю следом за Валькой. Мы в темном тамбуре. Дышим тяжело. Сердце барабаном колотится. Холода не чувствуем, нам обоим страсть как жарко.

Теперь бы только не прогнали. Проводник ругается с кем-то у ступенек вагона. Ему не до нас. Там лезут с баулами, узлами и без билетов. А мы? Мы что? «Зайцы». А может, от родителей отстали, может, тут они наши родители, в толпе, разлучишь нас — потом отвечай.

Скорей гудок, что ли. Он прогремит этот гудок, прокатится железным шаром от паровоза до конца состава, перепрыгивая с вагона на вагон. Я воображаю этот гудок, вижу струйку пара, белой воронкой вверх, у трубы паровоза. Это машинист потянул за рычаг. Скорее! Но гудка нет. А так хочется хоть немного успокоиться. Увериться, что мы едем.

Такого желания уехать я не чувствовал даже в Самаре, когда собирался в Уфу. А посадку мы совершали тоже безбилетным методом. Откуда же такое чувство? А? Спрашиваю я себя и не нахожу ответа. А ответ прост: домой едем! К картохе и тыкве, к бабкиной печке и затирухе из черной муки! Едем ко двору с малыми да скупыми окнами, что смотрят в стену соседнего дома, но зато с крыш двора такие виды: и Самарка с мостом в три перекида, и Волга, и остров Коровий...

Скорей же, машинист. Пора уже, кажется, запозднился. И вот он, гудок. Протяжный, неторопкий, словно не по охоте. Перекатывается по жестяным гулким крышам, громыхается, а до нашего тамбура еще не добрался. Поскорее бы, порезвее.

А ведь будет еще и второй гудок, и третий. Все сильнее шумят-галдят у вагонов, и плачут, и на чем свет стоит ругаются. В свете фонаря проводника мелькают лица, пропадают и снова появляются. На них — растерянность. Поезд-то уходит, а они остаются.

Без вещей, наверное, каждый бы последовал нашему с Валькой методу, да без вещей в дальнюю дорогу несподручно. Мне жалко оставшихся, ой как жалко! Я понимаю их, я уже знаю, что значит остаться.

Скорей бы второй гудок. Тронется поезд — и, пока набирает скорость, все спокоится, все встанет на свои места. Оставшиеся будут ждать следующего состава, у них появится надежда, что с очередным они уедут. Уедут обязательно. А те, кому посчастливилось занять место в этом поезде, тоже поймут окончательно — они едут и должны доехать. Как это можно не доехать?

О чем думает Валек? Тоже, наверное, о чем и я. Правда, у него характер. Придумал же уфимский хлеб-сахар, брата, которого нет в Уфе. На что он надеялся, фантазер? Ведь где-то и рубаху-косоворотку сбондил для этой поездки. А вот все же один не смог. Компанейский, выходит, парень.

Когда же второй гудок? Меня начинает знобить, значит, остыл уже. Или не от холода дрожь? Оттого, что вижу, как люди все еще стараются попасть в вагон, уговорить проводника, запугать, задарить?

Второй гудок приходит внезапно, я даже не уловил начало его. Ну, теперь все! Сейчас третий. И айда — пошел. Медленно, а потом быстрее и быстрее заторопится наш поезд. Прощай Уфа, дядька, тетка в конопушках и бабка в потертом жакете. Спасибо вам и за картошку с хлебом, и за слова, не столь злобные, а ворчливо-добрые. Прощай и Костя Колпаков, кимовец в штормовке и портупее. Жаль, что кипяточку нам попить не пришлось и у горячей батареи на твоей шинелке выспаться.

— Шинелке? — говорю я вслух и хлопаю ресницами. Шинель! Так это она... Ну, конечно, же, Костина шинель билась крыльями на плече Валька.

— Валька! — кричу я ему в ухо, но третий гудок заглушает меня.

— Что? Что? — я вижу Валькин разинутый рот, он беззвучен.

— Валька! — трясу я его за плечи и убеждаюсь окончательно: шинель он держит за рукав через плечо. Суконную, колючую, пропахшую потом шинель красноармейца с дырочками от пуль по полё.

Поезд трогается медленно-медленно. Доносятся вздохи паровоза, все чаще они, чаще. Тяжело ему, железному трудяге.

— Шинель! — я вырываю шинель из рук Валька.

— Шинель? — удивляется Валька, — Ах, шинель...

Он не видел ее, по глазам видно, что не видел. Схватил впопыхах, не зная, не ведая, что хватает. Украл, не сознавая того. Но все равно украл. Что подумает Костя Колпаков? А тот самый дядька, тетка с конопушками, бабка в жакете? Они, наверное, увидели Костю без шинели, он ищет нас, тех, про которых дядька-сыр сказал «спаровались, воришки, в милицию их». А Колпаков товарищами нас величал!

Поезд задышал ровнее. Валёк, выхватив у меня шинель, шмыгнул мимо проводника на ступеньку и — прыг! — на перрон. Шинель хлестнула по стенке вагона, крыльями взвилась за его спиной. Проводник качал головой, смотрел вслед Вальку, в одной руке — флажки, в другой — узелок: взятку, верно, сунули вместо билета. Занят проводник. Я проскакиваю мимо и прыгаю. Не отставать же от товарища.

Земля улетает, уносится из-под меня, а я стараюсь догнать ее, работаю ногами что есть мочи. Бегу и не падаю. Пора, пора отрываться в сторону, замедляю бег. Поезд, грохоча, проносится мимо...

Костя Колпаков из летного училища оказался. Оставил у себя Валентина, пилотом сделал парня, на крыло поставил. А я вернулся домой. И вот снова у родного порога. Прислонился к старому вязу, дух перевести, в нужный такт сердце никак не поставлю, словно зажигание разладилось, сбилось, как говорят танкисты, «затроило».

На стук мгновенно осветились окна второго этажа, словно там ждали этого стука. Заскрипели ступени. Все ниже скрип, чаще и громче.

— Кто там? — слышно, как прерывисто дышат за дверью, нашаривают дрожащей рукой щеколду.

— Я, мама.

Дверь распахивается. Мать кидается ко мне. Она мне кажется совсем-совсем маленькой. Я неловко целую ее и веду вверх по лестнице. В комнате возня. Малые — сестренка и братишка, поднявшиеся за матерью, бросились обратно в постель, натянули на себя одеяло. Наверное, не узнали, голос-то у меня действительно к тому времени стал полубасом.

На полу, огороженная дощечками, свалена картошка. Под кроватью и столом — тыквы, зеленовато-желтые, красные. Воздух амбарный, с сырцой. А родной дом оставался в памяти довоенным — чистым, светлым, с крашеными полами и фикусами на подоконниках...

— Отец? — глухо спросил я.

— Схоронили в начале этого года. Не прописывали тебе...

— Так... — Я бросил ушанку, опустился на стул.

Мать гладит меня по волосам.

— Мягкие, как и до войны. А думалось, огрубеют.

Я понял, что боль от потери отца уже ослабла, если мать сразу же заговорила о другом. Не буду и я теребить заживающую рану.

Я зябко повел плечами, и мать заторопилась на кухню, к примусу. Загремело ведро, забулькала, наливаясь в чайник, вода.

— Скоро я. Чайку. Правда, с сахаром туго. Да вот за целый год сберегла водку, что на карточки выдавали. Малость на хлеб меняли, а это для тебя.

Я молча развязывал вещевой мешок.

— Здесь, мать, все есть. Распоряжайся. Завтра на продпункте еще получим.

Я подошел к голландке, потрогал — холодна, через день, наверное, топят, а может, и реже — к настоящей зиме берегут топливо. Да и есть ли чего беречь, раз весь город заборы пожег.

— Как, мама, с дровами?

— Слава богу. Тебя не забыли. Каждую осень с завода привозят. Не жалуюсь. И деньгами военкомат помогает. Сто пятьдесят рубликов за тебя ежемесячно. Эх, лучше бы ты был дома. — И мать уголком платка смахивает слезу.

— Ничего, скоро добьем. Вернемся. Ну, а вы что присмирели? Вижу, не спите. Вставайте уж!

Сестренка с братишкой только и ждали этого слова,

Одеяло слетело на пол. И дети повисли на мне. Сестренка чмокнула в щеку, а братишка впился глазами в медали.

Вскипел чайник. Пока мать подавала на стол посуду, соленые огурцы, холодную в мундирах картошку и бутылку белой водки с горлышком, обвязанным тряпицей поверх пробки, чтобы не выдохлась, я вскрыл консервы, нарезал черного солдатского хлеба, ребятишек наделил кусками сахара. Потом сел за стол, боком к окну, на свое старое место. Когда-то напротив меня садился отец.

Выпили. Я — полный стакан, мать пригубила. И поплыла ее торопливая, сбивчивая речь о тех, кто ушел, пишет, и о тех, от кого письма уже не придут.

— Ну, про Гусаковых ты наслышан. Виктор, Андрей и Валентин — все трое там. Не встревал? Отец-то в Москве. Ты бы прислушался к его словам-то.

— Васю Карасева, с нашего двора, видел. Под Москвой вместе пришлось. Командира своего прикрыл он от пули...

— Жив Васяня-то, сынок. Жив. Отлежался, воюет. Юра, дружок твой, что в первой квартире. Здесь служит. Пришел по ранению и остался. А так-то во всем дворе хоть шаром покати. Остались пацанята. Родик Елкин из пятой квартиры, ну и Флянец с Рыжиковым. Под стол бегали, а война подтянула.

— Да, мама, совсем забыл. Помнишь квартиранта? Веселого рыбака, что вечно без денег? Так я с ним в одном экипаже. Смелый парень!

Я ждал, что мать наконец-то обронит хоть слово о моей девчонке. Зарозовели окна, ребятишки давно уснули, зевнула и мать. Облачко пара поднялось от ее зевка: в квартире похолодало.

— Ну, спать пора. Заговорила я тебя. Спокойной ночи, сынок. Покрепче укрывайся, студено у нас.

Я слышал, как она легла к ребятишкам и, наверное, тотчас уснула. А мне не спалось. Я, стараясь не шуметь, встал, выпил еще с полстакана водки, закурил.

«Эх, мама, мама... «Заговорила»... — мысленно пожурил я ее, сердцем чувствуя, что с моей девчонкой случилось недоброе. Мать знает, да умолчала из жалости ко мне.

Что ж, матери всегда такие, а в беде особенно. А какими бываем мы, сыновья?

Помнится мне один случай. Жили мы в том самом степном селе, где я навсегда расстался с отцом. Полы в доме деревянные, но некрашеные — когда моешь, без скребка не обойтись. Мать часто поругивала эти полы.

К Восьмому марта в школе все ученики готовили матерям подарки, решил и я преподнести маме сюрприз. Прибежал из школы пораньше: пока она по базару да магазинам ходит, я полы в квартире вымою. Вот обрадуется! Натаскал воды из проруби, с речки, подогрел на примусе и принялся за дело. Мать часто говорила: был бы девчонкой, помощницей давно стал бы. Вот я и решил доказать, что мальчишка не хуже девчонки.

Поначалу все шло хорошо. Прошелся скребом по всем половицам, они не очень запущенные. А потом столько воды налил, что никак собрать не могу. Уж так и эдак выжимал тряпку над ведром. Почти сухую кидал на пол и снова выжимал. Пот с меня катился градом. Мать вот-вот появится. Заторопился я. Под кроватью протер, под топчаном, на котором спал. Осталось под столом протереть...

Полез под стол, слышу: мать дверь проволочным крючком открывает. Вернулась, стало быть. Заспешил я, мотнул неосторожно головой и от страшной боли не сдержал крика: гвоздь в крышке стола впился в затылок, зажимаю голову руками, а кровь между пальцев течет. Мать чуть сознания не лишилась. И от отца мне нагорело. Устроил им праздничек...

Заснул я, когда уже рассветало. И проснулся поздно. Мать сделала обход по своим почтовым ящикам и обед приготовить успела.

— Проснулся? Ну вот и хорошо, оладьи как раз горячие. А спалось-то как? Не продрог?

— Спасибо, мама, спалось отлично!

Я быстро поднялся, умылся, сел к столу, оладьи нахваливаю, а сам думаю, как бы завести разговор о своей девчонке.

— На радостях-то забыла вчера. Тут писем целая пачка от твоей...

— Где? — я вскочил со стула. В глазах матери — испуг. Она молча выдвигает ящик буфета, роется там и протягивает мне тоненькую связку писем-треугольников.

— Хорошая, душевная, видать, девушка. Писать-то ей некому, сирота, вот и слала мне, словно матери...

Знакомый почерк. Номер полевой почты. В общем, письма от нашей огненно-рыжей Зорьки. Я положил их в ящик буфета, быстро оделся.

— Мне в комендатуру надо. Встать на учет...

Мать вздохнула — не этих писем ждал...

Я прошелся бархоткой по сапогам, навел положенный блеск, ремень затянул потуже, ушанку чуть на висок сдвинул, осмотрел себя в трюмо придирчивым взглядом старшины и вышел из дому.

Минут через пятнадцать я стучался у знакомого подъезда. Когда-то обшитая желтой клеенкой дверь сейчас облезла, на ней висели жалкие клоки серого войлока. Дверь со скрежетом растворилась. Я отступил на шаг. В ощерившемся дверными замками прогале появилась ее мать, закутанная в шаль.

— Здравствуйте, проходите, — сказала она очень спокойно, словно только вчера видела меня. Глаза ее, обычно выразительные, черные, сейчас ничего не выражали.

— Раздевайтесь. Чай поставлю.

Я расстегнул крючки на воротничке шинели, раздеваться не стал.

— За чай спасибо. Я ненадолго. Мне бы только узнать...

— О дочери? Я сама ничего не знаю. Ушла добровольцем в начале войны. Где-то в горах служила. Пишет редко.

— Мне бы адрес. У меня отпуск. Я бы поискал ее.

Она даже вздрогнула, словно ее пронзило холодом, плотнее затянулась в пуховую шаль.

— Затерялся адрес. Отец вот оправиться от контузии не может. Он помнил, да забыл. Прислала фото она, с лейтенантом снята. Да и фото затерялось. Все отец... Куда положит — не помнит. Голодал он в окружении, теперь сухари от меня тайком сушит и тоже прячет, вот и фото спрятал.

— С лейтенантом, говорите?

— Да, да. Красивый такой, молодой. Моряк. А сынок у меня погиб. Похоронную прислали.

Я посмотрел на нее в упор и все понял: играет. Врет от первого слова до последнего.

— А мои письма вы получали?

— Нет. Ваших нет. Не доходили, видать. А может, отец затерял. Он дома, а я все на работе и на работе. Завмаг ведь я, а время такое...

«Яснее ясного: не любила».

Я шел по улице Ворошилова, той самой, по которой провожали меня на военную пересылку — на стадион мукомолов, а оттуда на вокзал и дальше.

От церкви Покрова начиналась кленовая аллея. Посаженная в тридцатых годах, она густо разрослась и разделила проезжую часть улицы надвое, образуя удобную дорожку для пешеходов.

Едва я ступил на эту аллею, как потеплело у меня под мышкой. Вздрогнув, я скосил глаза влево. Рядом никого не было, а тепло не пропадало.

Память, оказывается, может возвращать даже ощущения. Любимая девушка на проводах шла слева, под руку. Это ее тепло я почувствовал сейчас.

Память, если ты способна на такое, я побываю везде, где случалось встречать мне свою первую любовь.

Листья уже осыпались и тихо лежали, чуть припорошенные первым снегом. За оголенными кленами теснились посеревшие деревянные дома, обшитые тесом, и облупленные, давно не беленные, закопченные строения из красного кирпича. Тротуар, неровно выложенный плитами известняка, взгорбился почти до окон первых этажей. Казалось, дома медленно врастают в землю, не в силах выдержать тяжести свинцового неба. Но все, что я видел, осознал позднее.

Я торопился, ежеминутно поскальзываясь, как будто шел по выкопанному огороду. Вот и лунки с дырками, так похожие на те, что остаются после уборки картофеля, вроде бы и побеги высохшей ботвы змеятся под снегом. О картошке я тоже не подумал. В общем, глаза видят, а сознанию не до них. Я свернул на проезжую часть улицы, чтобы не скользить по мягкой земле, и ускорил шаг.

У ограды парка имени Горького, против Дворца пионеров, рос примечательный клен. Ствол его, изогнувшись, ложился на остроконечные пики ограды, а затем стремительно поднимался кверху. Мальчишки взбирались на этот мосток, а с него прыгали в парк, перебегали поросший густой травой газон и, перемах-

нув через низкий штакетник, появлялись на самой верхней, почти всегда безлюдной аллее. Здесь вышагивали медленно, важно, чтобы не выдать себя случайным встречным...

У клена я познакомился с девушкой. Мы, казалось, навсегда полюбили друг друга.

Сейчас я отыскивал глазами тот клен и сам не заметил, что не иду, а крадусь к ограде. Вот он, клен! Стоит, как и прежде, облокотившись на ограду. Она вроде бы стала ниже. Или я вырос? Гладкий когда-то ствол изрезали глубокие морщины, кора стала грубой, почти черной.

Я хватаюсь за железные прутья, рывком поднимаюсь на «ступеньку», гляжу в глубь сада. И глазам не верю. Где же густые заросли сирени, лип, акаций?

Словно после ожесточенной артподготовки уцелели редкие деревца, кустарник выкорчеван и — ни травинки, пусть даже по-осеннему пожухлой. Только какие-то хилые стебли, похожие на ботву картофеля, да лунки с дырками, как на кленовой аллее Ворошиловской.

Я тихо спустился с ограды на улицу и неровной походкой направился к центру города. У Дома промышленности с верхнего этажа до фундамента зияла трещина. Я отвернулся, стараясь не смотреть на этого серого великана с лишаями обвалившейся облицовки.

Вот и белое, строгой формы здание Госбанка. Но и ему чего-то не хватает. Перед фасадом росли привычные взгляду островерхие ели. Загляденье! Не хуже, чем у Кремля. Где же они? Торчат пеньки. Экономно, низко срезаны...

Порубленные руками врага сады и целые рощи — зрелище страшное, не видать бы сроду. Здесь же оккупантов не было. Рубили свои. Знать, великая нужда толкнула людей на это.

Теперь я видел вокруг себя все: и длинные прозябшие очереди у магазинов, и постаревшие, осунувшиеся улицы с уходящими в грунт домами, и огородные грядки перед ними. Железные ограды с ажурными воротами у старых, дореволюционной постройки зданий, тоже кое-где исчезли.

Пристальные взгляды встречали и провожали меня. Может быть, эти люди из очередей и редкие прохожие вовсе не думали обо мне ничего худого, а казалось, что

каждый еле сдерживает готовый сорваться с губ тяжелый упрек: отъелся на военном пайке-то, чист, гладок. И опять же на отдых пожаловал. И сапоги на нем добротные, и шинелька, что шуба, и ушанка — хоть на Северный полюс.

У меня уже зрело решение. Я еще не знал, как это сделаю, но знал, что не сделать не смогу...

Я свернул к Волге — от нее и летом тянет свежей прохладой, а осенью и подавно. Сразу, как говорят, отрезвляет.

Я спускался к Волге, и она торопилась навстречу, становилась шире, выпуклей. Правый берег медленно скрывался за этой выпуклостью, и когда он стал едва видимой полоской, волна накатилась мне на ноги, словно чмокнула. И постепенно отхлынула, и снова двинулась ко мне. Я опустился на корточки, сделав ковшиком ладони, зачерпнул воды, напился.

Где-то здесь должна стоять спортивная станция «Динамо». Мы брали на ней вертлявые шлюпки напрокат. В такой лодчонке чуть не так повернешься — и окажешься за бортом. Особым почетом пользовались у нас устойчивые остроносые волжанки, ими больше владели рыбаки, перевозчики, ловцы бревен из разбитых бурей плотов и прочие промысловики. На этих лодках хоть пляши, а попадешь в бурю — буря не страшна.

Сейчас бы в такую посудину! Выйти на стрежень, вымотать себя на веслах и, отдавшись течению, плыть и думать, думать обо всем, а потом ближе к берегу, где стремя слабее, вернуться.

Но прокатной станции нет — увели, наверное, в затон. Скоро Волга встанет, хотя навигация еще не закрыта. Тянутся по реке вверх и вниз суда: пассажирские — белые и желтые, буксирные, с плотами и баржами, — дымят стараются. Лодок маловато, да и те не прогулочные; лица у лодочников так озабочены, что и подступаться не стоит.

Иду по берегу. Вон там, на песчаном пологом склоне, должен быть макет настоящего крейсера в натуральную величину, с мачтой, клотиками и флагом военно-морского клуба. Мальчишкой я бегал сюда, познавал азы морского дела. И подружка моя состояла в кружке юных моряков...

Крейсера нет. На его месте — останки железных

частей: ребра остова, прутки от бортовых ограждений. Все деревянное, видимо, пошло на дрова.

Но вижу: нынешние огольцы знают сюда дорогу. Ржавые останки «клуба» усыпаны ими. Подхожу ближе. Нет, здесь не учат взбираться по реям и веревочным лестницам. В руках у ребятишек молотки, кувалды, зубила. Гремят они этим инструментом, скрежещут. Растаскивают по железяке, прутку, по гайке и болту немудрое сооружение и сваливают в кучу. Подзываю паренька.

— Эй, юнга, что за аврал?

Пацан посмотрел на меня таким взглядом, как будто хотел сказать: и откуда свалился, дядечка, ничего-то не понимаешь, а еще командир!

— Железо собираем, — голос парня звенел гордо, — на пионерскую танковую колонну!

Я сбросил шинель, взял у «молотобойца» кувалду, поплевал на руки и с полного замаха с глубоким привздохом — э-эх — начал наносить удар за ударом. Зазвенело в ушах, застонало, в лицо бросилось облачко колючей ржавчины, спекшейся краски и пыли. Рвались болты и гайки, съеденные сыростью и временем, отлетали в стороны круглые и плоские, изогнутые в штопор железины. На земле они еще какое-то время дрожали мелкой дрожью и затихали. Железо умирало, чтобы в огне родиться заново.

Я опустил молот. Пахло металлическим, танковым. Отерев рукавом гимнастерки пот со лба, я глянул на пионеров. Они полукольцом окружили меня. Очень пестрые пацаны — на одном фуфайка ниже колен с калейдоскопически пестрящими заплатами, на голове островерхая буденовка; другой в пальтишке, вместо пуговиц — поплавками грубо оструганные деревяшки; третий в шинели, перешитой по росту, он и воздуха полную грудь набрал: солдат, мол. Девчушки обмундированы не лучше.

Я надел шинель, заправился как положено. Смотрю — и ребятня подтягивается, пыль с одежонки своей смахивают, с обувки. Парнишка в шинели, выдохнув из себя лишнее, подошел ко мне:

— Вы, дядя, танкист?

— Не видите, что ли? — отвечаю сразу всем.

— Танкист!

— Видим!

— На погонах — танки!

Многое, наверное, интересовало их, но они не спрашивали, только паренек в шинели заговорил снова:

— Мы все для вас соберем, все, все!

Я опять обвел взглядом ребят.

— Витька правильно говорит. Все — для вас!

— Все, все!

Я перебил:

— И ажурные ограды у домов?

— И ограды! — отвечает тот, что в шинельке.

— И ворота? И тумбы?

Паренек почесал затылок:

— И ограды, и тумбы, и ворота. А что? Ведь война...

Я огляделся. Глаза задержались на пологом спуске к Волге. По всему склону — лунки из-под вырытой картошки. Один огородик выделяется среди остальных, еще не убран.

Ребятам беседовать со мной не было времени: притащился старый «фордзон» с прицепом, надо срочно грузить железный лом. Они побежали к трактору, на ходу оглядываясь и махая мне руками.

Куда же идти? Что делать? Домой? В комендатуру? Но на учет становиться, пожалуй, не стоит.

Домой пошел по другим улицам. На Чапаевской, у здания, стены которого выложены сине-зелеными изразцовыми плитками, бросился в глаза белый флаг с красным шаром посредине полотнища. Флаг страны восходящего солнца.

У дома патрулируют наши милиционеры. Что они делают? Самураев от нас охраняют или нас от самураев?

Я вспоминаю самолет без опознавательных знаков, скороговорку зениток, грибки разрывов. Не разгроми наши немцев на Волге, Квантунская армия открыла бы фронт. Выходит, и на Дальнем Востоке мы были не в тылу.

На улице Фрунзе у бывшего детсада застыли часовые в мохнатых, до плеч, шапках. Турки.

А вот навстречу шагают двое — узнаю по остроугольным фуражкам поляков, приветствую — отвечают.

Оказывается, посольства всех стран разместились в моем городе. Самые лучшие здания отведены им.

В сорок втором пособники фашистов передавали из уха в ухо: «Волга — не граница. Куйбышев — не столица». Они и Урал мечтали захватить. Только вышло не по их. Волга действительно не стала границей, а столицей как была Москва, так и осталась. И останется.

От этих мыслей на душе полегчало.

— Саша! — крикнул я и бросился к девушке в сером платке, повязанном до бровей, концы свисают один на спину, другой на грудь. Девушка оглянулась на окрик и узнала меня.

— Ты?

— Я, я, Саша. Собственной персоной...

Мы обнялись и не отпускали друг друга, пока глаза стали видеть. Прохожие улыбались. Старушка в черном осенила нас крестным знамением. И заплакала. Ее подхватила под руку молодая женщина, тоже в черном, и повела, успокаивая:

— Нельзя же так, мама. Не воротишь...

— Пойдем, Саша?

— Да, да. Идем. Люди разные, а горе о[illegible]о, — проговорила она, настороженно оглядываясь, словно боялась, что нас видят вместе.

— Куда же ты, Саша? Ты ведь там жила? — указал я на каменный дом.

Саша замотала головой, зарумянилась. Ну, ни дать ни взять Сашка из шестого «А»!

— Я замужем. У него живу.

— Поздравляю. Куда же мы теперь?

— Мой не ревнивый. Идем к нам.

Саша провожала меня вместе с моей девушкой. Это ее самая близкая подруга. Потому я так и обрадовался.

Остановились мы около полутораэтажного дома.

— В подвале живете?

— Нет. Наверху, — ответила Саша, взбегая по ступенькам на невысокое крыльцо. Постучала, приглашая меня следовать за ней.

Открыла нам пожилая дородная женщина, в широкой юбке до пят и ватной безрукавке-душегрейке.

— Тетя Матрена, к нам гость. Мой школьный товарищ.

— Милости просим, проходите, — радушно сказала та, встала боком на пороге, пропуская нас.

Саша развязала платок, тряхнула головой. Светлые, словно пшеничная солома, волосы волнами упали на плечи. Я не сдержал вздоха: точно такой, разве чуть потемнее, была и моя девушка. Саша, казалось, не заметила моего волнения.

— Раздевайся. Проходи.

Я сбросил шинель, расправил под ремнем складки гимнастерки и прошел в переднюю.

В комнате два окна на солнечную сторону. В простенке между окон трюмо в дубовой резной раме, у одной стены — диван, накрытый ковром, у другой — кровать с никелированными шишечками. Перина взбита высоко и подушек разных габаритов много.

— Посиди. Сейчас, с минуту на минуту, прибудет мой. Поскольку он военнный, то не приходит, а прибывает и является. Вот альбом, посмотри фото. А я на кухне тете Матрене помогу и на стол накрою.

Я медленно листаю альбом, много здесь знакомых фотографий. На душу опять ложится камень, невольно поджимаются губы и лезут к переносью брови. «Закурить, что ли?»

— Саша, у вас курят? — кричу я на кухню.

— Сейчас подам папиросы и пепельницу! — услышал я, и тут же появилась Саша с пепельницей — примитивное литье из дюраля: голая купальщица на берегу озера-тарелки.

Я достал кисет, бумагу и принялся сворачивать самокрутку.

— Держи «Казбек». И не важничай, пожалуйста.— Саша подала мне пачку в сто штук. — Не удивляйся. Московская «Ява» теперь у нас. На толкучке такая пачка сто рублей. Сто на сто, как у нас говорят. Ну, а мой по себестоимости достает. Кури... — И она опять убежала.

Из кухни уже тянулись вкусные запахи жареного мяса с луком.

Вскоре пришел Вена, такой же пшеничный, что и Саша. Глаза серые, почти бесцветные, рост в полторы винтовки без штыка, в плечах — добр. Меня удивило, что он затянут в новенькое шерстяное обмундирование, так и сияет надраенными пуговицами, бляхой на ремне. Через плечо — портупея, а погоны рядового.

— Как живем, славяне? — говорит он, будто сто

лет меня знает, и протягивает руку. Слепит золотой улыбкой, половина зубов у него — червонные.

— Солдат спит, а служба идет, — в тон отвечаю я.

— Ну это ты брось. Вижу. — Он кивнул на мои награды и нашивки. — Кто спит, тот бляху на ремень не получит. — Он хлопнул ладонью по своему парадному ремню. — Саша, что там у тебя? Подавай.

На столе появились тарелки, тарелочки, вазы и прочее. Закуски по-хлебосольному — навалом. Даже «второй фронт» — американский бекон, ровно порезанный на солидные ломтики и заправленный желатином, занял на столе свое место. Подали икру, рыбу, мясные консервы, горячие котлеты с макаронами.

— Здорово живете! — вырвалось у меня.

— Кто как умеет. Время такое, брат, — ничуть не смутившись, сказал Вена и налил в рюмки из толстого графина. — Рванем? Коньяк. Три косточки. А проще: денатурат, очищенный при помощи глины и заправленный пережженным сахаром. Запаха — ни-ни. Тетя Матрена умеет...

Выпили. Закусывали молча. Каждый, наверное, думал, как и о чем говорить. Наконец Вена отложил нож и вилку, вытер губы салфеткой. Я последовал его примеру. Саша настороженно поглядывала то на него, то на меня. Они мялись, и я знал отчего — сердце чуяло недоброе, да что «чуяло», сказали же мне утром о фото с лейтенантом.

Молчание становилось неловким, и тогда я спросил:

— Где, Вена, служим?

— Я? — Он опять ослепил меня своими зубами. — Я, брат, состою в ансамбле.

— Поешь? Танцуешь? Или то и другое?

— Ха-ха-ха...

Смех явно наигранный. Саша опять превратилась в девчонку из шестого «А». Ей, наверное, хотелось, чтобы Вена не «состоял», а действительно пел и плясал.

— Нет, брат, — Вена вздохнул. — Я, бери выше, — каптенармус. — И опять фальшь в голосе, и всем нам троим это ясно. И Вена говорит, теперь уже по-своему, правдиво: — Хочешь, твои шмутки на новенькое шерстяное барахлишко поменяю? Выпьем еще? — И, не дожидаясь моего согласия, налил рюмки всклень. — Видишь ли, брат, я поначалу тоже на фронт рвался.

А война-то затяжной оказалась. Зачем торопиться? Все навоюемся. Мать у меня повариха в штабной столовой, сумела договориться, взяли меня с пересылки в каптенармусы. Справляюсь. Видишь? — и Вена описал рукой, что циркулем, окружность над столом.

— Вижу.

— Ты по чистой? Или временно?

— А что?

— Можно и тебя устроить. Останешься служить под маминым крылышком. Повоевал — и будя. Матери покойнее и тебе. Хочешь? — он через стол потянулся ко мне с рюмкой, чокнуться.

— Подумаю. — Я опрокинул в себя спиртное, принялся закусывать, чтобы ничего не говорить — мог скандал получиться, и не знать мне подробностей о своей девчонке. А может, еще не все потеряно.

— А о суженой забудь. Саша, сказать? — он повернулся к жене.

— Говори, Вена. Ты это лучше сумеешь, чем я. Я... я не смогу.

Я посмотрел на Сашу, мысленно говоря ей: «Где тебе, ведь ты тоже любила не этого Вену и не ему клялась...»

— Я выйду, — тихо, очень тихо сказала Саша.

— Почему же? Останься: не поверит, подтвердишь, — остановил он ее и продолжал: — Так вот, брат. Стали девчонок на военный учет брать. Взяли и твою. Она в каком-то военном кружке, в морском, кажется, при клубе, еще до войны была...

Я сжал зубы. Ведь только сегодня разбивал я останки этого клуба.

— В армию не всех отправляли, — доносился до меня, издеваясь, голос Вены, — многих военизировали и давали дело на месте. Был в военкомате один тип. Ты, наверное, знаешь его. Спортсмен-стрелок. Он и предложил твоей: или — или... Фронт, армия или его постель. Съездила она его по спортморде и, как следствие, на другой же день повестку получила. Вот и все. — Вена выпрямился на стуле, даже на спинку отпрянул. — Ты того, этим не шали. Я здесь не при чем. Мы после узнали...

Я разжал кулаки.

— Так-то лучше. Выпьем!

Мы выпили.

— Как ни тверд камень, да вода и его точит. Не устояла твоя в армии среди моряков. Вот и финиш, — добавил Вена.

— Где эта спортморда?

— Ты, брат, не горячись. Стрелок-то здесь. Да что толку. Время прощает все.

— Пристрелю гада!

— В смысле — себя?

— Понимай, как хочешь. Веди к нему.

— Ну, брат, нет. Я друзей ценю, даже друзей моей жены.

— Веди, говорю!

На крыльце громко постучали. Тетя Матрена вышла открывать, а через минуту в переднюю влетел моряк, я вскочил навстречу:

— Юрка?!

— Я, мин херц.

После появления фильма «Петр Первый» мы часто называли друг друга меньшиковским «мин херц». Сейчас это коротенькое «мое сердце» дохнуло довоенным, школьным.

Юрка, высокий ширококостный главстаршина, так обхватил меня, что все мосолики заныли. Губы у Юрки мясистые, чувственные, как определяли девчата, он вобрал ими чуть не все мое лицо, задохнешься. Хорошо, что быстро отпустил.

— Вот и встретились. Сеструха моя — ты ее не признаешь, с меня вымахала — тебя утром видела. Кинулся я к тебе, говорят, ушел курсом на комендатуру. Я туда. Нету. Ходил по городу на полных оборотах. И видишь, морской нюх не подвел, учуял запах марки три косточки, — и Юрка устремил взгляд на графин с коричневатым содержимым.

Пришлось выпить еще за одну встречу. Юрка охотно рассказывал о себе, насыщая речь морскими словечками, это он любил еще и в школе:

— В Феодосии торпедировали меня, отбуксировали в госпиталь, там и нашел меня папаша, перебазировал сюда. На пробоину заплату наварили. Пришла пора курсировать в экипаж. Опять папаша бросает мне спасательный пояс. Вот и плаваю в морском подготовительном, оно у нас в городе. Сачкую, мин херц. В наряды хожу, а больше крейсирую за хорошенькими подлодочками. Вижу, мин херц, не одобряешь?

— Иди к черту со своими мин херц! — Я поднялся. — Люди жизни кладут, а вы... — я метнул взгляд на Вену.

— Красивые слова, брат. На углах да в людных местах те, «что мешками кровь проливали», — подайте по копеечке, граждане, в смысле по рублю, клянчат. Да и на червонец ничего не купишь. Кирпич хлеба — шестьдесят целковых. Нет, такого, брат, добровольно не хочу.

— Ты?

— Я, брат. Я и он. — Вена кивнул на Юру.

— И ты?

— Брось, Антон. Ты, я вижу, все такой же: «Вперед, Арамис, за честь Франции». И на целое войско вдвоем кинулись. Так вроде у Дюма? Ты любил эти словечки.

— Кидались с винтовкой на танк...

— Ты мне об этом не трави. Я ходил на эти самые танки. Только мне и медали не дали. Пусть теперь другие походят, а я отдохну, малость. А придет очередь, не сбегу.

— Золотые слова, Юра. И вовремя сказанные. Погонят — пойдем. А может, не дойдет очередь? Сейчас они извилистые да вон какие длинные. Мое звание — каптенармус — на генералиссимус похоже. И это меня устраивает. Вот так, брат. Мы все патриоты.

— Мальчишки, ну что вы? — взмолилась Саша.

— Из мальчишек мы выросли, Саша, только кто в кого. Будьте здоровы. — Я отшвырнул стул.

— Стоп, мин херц. Котлы взорвутся. — Юра положил на мое плечо руку. — И пошутить нельзя?

— Ты, кажется, брат, спортстрелка хотел видеть?— вмешался Вена.

«Значит, ты никаких друзей не жалеешь, ни своих, ни жены», — подумал я и коротко бросил:

— Веди!

Мы направились за железнодорожный переезд, в так называемый Запанской поселок. Когда-то Ленинградская улица именовалась Панской, и все, что за ней, — Запанской. До войны это была самая глухая окраина города, хотя уже тогда носила имя то ли знаменитого лейтенанта Шмидта, то ли заслуженного полярника Шмидта, точно не знал.

В поселке этом красовались добротные срубовые

дома, украшенные причудливой резьбой по карнизам крыш и наличниками, вперемежку стояли каменные, а за ними до мусорной свалки — землянки и просто какие-то шалаши из клепки рассохшихся бочек, старых ящиков и прочей деревянной и жестяной тары.

Улица настоящая, считай, одна — выложенная булыжником, тянется она от Ленинградского переезда до перекидного моста у вокзала, а остальные косые, изгибистые переулки. Сейчас все эти улки-переулки превратились в узенькие тропы, а слева и справа — огородные грядки: картофеля, свеклы, репы. Даже на кровлях землянок торчат сухие стебли подсолнухов.

Смеркалось, когда мы подошли к опрятному тесовому домику с высоким, околоченным проволокой забором. Ворота — под коньковой крышей — на засове, калитка тоже.

— Здесь, — сказал Вена и кулаком застучал в калитку.

Завизжало кольцо на проводке: к подворотне с лаем подлетела дворняга и глухо зарычала.

«От войны задраились», — зло подумал я, вспомнив городские раззабоеренные кварталы, и почувствовал, что задыхаюсь, веко правого глаза мелко задрожало.

— Кто там? — спросили за калиткой голосом, в котором я почувствовал слезы. Пес перестал рычать, зазвенела цепь.

«Заскулил. Юлит перед хозяйкой, — подумал я. — А вот как завоет спортморда? А может, не надо? В ярости я могу... А зачем? Одним покойником больше? Выходит, прощаю? Говорю красивые слова и...»

— Кто там? — опять спросили за калиткой.

— Товарищи Алика, — ответил Вена.

— Не надо, — глухо сказал я.

— Струсил, брат мушкетер? Нет, глянем на твое геройство, — прошипел Вена.

— Ну ты! — Юра положил свою лапищу на плечо каптенармуса. — Не зли!

Отступать было поздно. Калитка заверещала петлями, отворилась, и я увидел щуплую старушку с опухшим от слез лицом.

— Входите, детки, входите. Слава богу, не забыли, старую, в беде. Помянем Алика.

Мы молча, друг за другом, прошли мимо вильнув-

шей хвостом дворняги. Стараясь ступать как можно тише, поднялись на веранду.

В горнице перед иконостасом трепетал язычок лампады, тускло освещая лики святых в медных окладах. Старушка перекрестилась, мы обнажили головы.

— Убили, убили Алика, сынка единственного. Не уберегла. О нехристи, будьте прокляты...

Старуха резко повернулась к нам, порылась на груди и протянула Вене «похоронку», взглянула на Юру и, захлебываясь слезами, повалилась срезанным колосом. Моряк подхватил ее и, поглаживая вздрагивающие плечи, хотел утешить.

Алика всего месяц назад призвали. Как стрелка-спортсмена направили снайпером на передовую...

Вытерев слезы, мать засуетилась, стала накрывать на стол. Как тут откажешься? Мать — всегда мать. Меня трясло, но на душе не было и капли злорадства.

— Вот видишь, мин херц, — на обратном пути сказал Юра, — от судьбы не уйдешь. Одна разница: кого сегодня, кого завтра, а каждого ждет одно...

Я пришел домой и, не раздеваясь, свалился на кровать. Спал или не спал, не знаю, все перемешалось. Виделся мне убитый на фронте стрелок-спортсмен, его проклинающая немцев мать. Появлялась перед глазами блондинка, так похожая на мою первую любовь, черные фигуры милиционеров, запрокинувшийся на спину здоровяк и его с резными щечками наган, и картошка, картошка на цветочных клумбах, газонах, в парках и скверах, на улицах, переулках и на крышах. Огромная картофелина вдруг превратилась в солдата Швейка, такого, что показывали нам в боевых киносборниках, картофелина обрела речь:

«Я не просто картошка, я — гвардии картошка, мин херц, не хуже гвардии гороха и гвардии овса. Свекла и репа мне в подметки не годятся!»

Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Я вскочил. Удивился, что раздет. Быстро натянул брюки, подошел к двери.

— Кто там?

— Откройте, пан!

«Что за чертовщина, откуда здесь паны? Может, какого пана из посольства вчера в ресторане в танце

задели? — мучительно вспоминал я. — А не милиция ли это? Так почему же — пан?»

Я сбросил крючок, распахнул дверь и обомлел, даже попятился. «Не сон ли? Или я спятил, снова контузия входит в свои права?» Передо мною стояли два немца в полном обмундировании, словно они только с неба, парашюты спрятали и рыскают по домам.

— Бери, пан? — один из «десантников» протянул мне выложенную крашеной соломкой изящную папиросницу.

Я расхохотался. Пленные, недоуменно переглядываясь, пучили на меня глаза и глупо улыбались.

— Их пан никс, — сказал я, что должно означать: я не пан.

Немцы стали осмысленней.

— Зетцен зих! — я указал на скамью у кухонного стола. Они поспешно уселись. Я высыпал на стол полчугуна картошки в «мундирах», подумав, подал два ломтя хлеба, лук и соль.

Солдаты обрадованно закивали головами. Они не могли говорить, но по глазам я читал: гут, гут!

И это гордые потомки Зигфрида и Брунгильды?

— Пан, пан... — увидев мое лицо, залепетал немец и протянул мне еще одну маленькую табакерочку.

Выпроводив немцев, я тщательно выбрился, умылся, поел той же «гвардии картошки» и вышел из дому.

В комендатуре появляться бесполезно — Юрку и его лейтенанта мне не вызволить. И я направился опять по Ворошиловской. Убогость постаревшего, заброшенного города, заклеенных полосами бумаги, а то и вовсе слепых фанерных окон, тяжелее, чем вчера, давили на сердце.

Впереди, справа, за оголенными кленами сверкнул ярко-зеленый дом. Я ускорил шаг. Это же Музей Ленина! За мою память он дважды горел, но его выстраивали заново, сохраняя все до мельчайшей резьбы на карнизах. Вот и сейчас он, несмотря на то что война и в страшной нужде народ, свеже выкрашен в знакомый зеленый цвет.

Я поднимаюсь на второй этаж. Как и много лет назад, скрипят под ногами ступени.

В небольшой светлой комнате Ильича — стол, этажерка, койка. На этажерке с точеными круглыми нож-

ками — стопками лежат книги старых изданий, на столе тоже книги. Одна раскрыта, словно не успел он ее дочитать, аккуратно заправил постель и отправился на утреннюю прогулку в Струковский сад или на Волгу. Вот-вот заскрипят ступени — и в комнату войдет Владимир Ильич.

Я стою молча, затем натягиваю ушанку и, как солдат, получивший приказ, круто поворачиваюсь и выхожу.

Останавливаюсь у памятника Чапаеву. Легендарный начдив все так же высоко держит свою шашку. У комиссара штык на винтовке чуть погнут, словно недавно, в эту войну, ходил в штыковую, увлекая бойцов.

В который раз читаю слова на сером мраморе:

Бейтесь до последней крови, товарищи!
Держитесь за каждую пядь земли!
Будьте стойкими до конца,
Победа недалека, —
Победа будет за нами.

Ленин, 1919 год

Разве это не приказ? Не мне?

...Я почувствовал ноябрьский холод. Серое небо обронило одну снежинку, вторую, третью...

Я не заметил, как подошел к проходным воротам своего завода. Из механического цеха, примыкавшего к проходным, доносился гул станков, слышался ухающий молотами кузнечный.

Дыхание завода как бы отодвинуло пережитое, словно я сбросил с себя что-то, на душе стало легче. Я вбежал по ступенькам проходной. Вахтеры, все женщины и ни одного знакомого лица. Я попросил позвонить начальнику. Начальник, тоже женщина, приняла меня, просмотрела документы, позвонила в отдел кадров. После долгих перезвонов мне выписали пропуск.

Из старых, моего времени, работников я нашел Надю Тихомирову из термического. У нее учеником начинал я свой трудовой стаж. Мы обнялись.

— Жив, значит?

— Как видишь. В нашей термичке калился, пули не берут.

Надя водила меня по цехам, без нее я бы заплутал.

ся, так много появилось новых пролетов, мастерских, цехов. И всюду я видел: девчонки, девчонки, девчонки. Девчата высокие и кнопки — и все одинаково глазастые. Я сразу и не понял, что глаза у них от худобы такими кажутся. Но бодры эти рабочие девчата военного времени. Посматривают, улыбаются очень доверчиво, словно сто лет знают меня.

Одна, и за станком-то ее не видно, кинула мне длинную стружку, я поймал синеватую, еще теплую спираль и помахал девушке рукой. Говорить что-либо бесполезно. Гул в цеху, как в башне танка во время атаки, — тут тебе и завывание болванок, дробь пуль и осколков о броню, только вот разрывов нет.

В термическом каждая печь, словно горящий танк. Вот-вот рванет боеукладка. И воют же эти печи, аж жутко становится.

В кузнечном дышать трудно, в воздухе гарь и окалина, под ноги из-под молотов летят раскаленные добела поковки, пропитанный мазутом пол дымится.

Прошли мы не по всем цехам, в некоторые надо особый пропуск — закрытые, чисто военные. У проходной я кивнул Наде на гору бракованных поковок мелких авиабомб:

— Военная тайна?

Она засмеялась и тут же погрустнела:

— Ты помнишь главного механика?

— А как же!

— Убрали с завода. Немец он по происхождению. А какой специалист! И человек душевный был.

Я промолчал.

— А Петра Петровича, мастера?

— Жив старик? — обрадовался я. Это ведь тот Петрович, что обнаружил во мне «рабочую косточку». Он ведь тоже в нашем дворе проживает, а мать что-то о нем ни слова.

— На заводе он. Неделями дома не появляется. Он ведь какой, а сейчас фронт. Все для фронта! На высоте Петрович!

Вернулся домой под вечер, навеселе. В заводской лаборатории спирт еще был. Мать подала ужинать. Я выложил с десяток пробирок со спиртом — подарок фронтовику, слил в графин. Пить не стал, принялся за Зорькины письма и здесь не удержался:

— Цел Подниминоги! — говорил я и вскидывал брови. — Налей-ка, мама. Это мой боевой товарищ. Нельзя за него не выпить!

— Ну и прозвание у него...

Но я не слушал мать, прочитывал еще страницу и снова кричал:

— Цел и Серега Скалов. Налей-ка, мама. А Нинка замуж выскочила... ППЖ.

— Что-что?

— Походно-полевая жена. Выпьем и за нее, все же фронтовичка. Нет. За Зорьку пью, она честная. Налей-ка, мать...

— Хватит, сын. Выпивка к добру не приведет.

— И правда. Убери водку, мой мотор, кажется, заработал вразнос. Завтра, мама... — я не договорил, в дверь постучали. В комнату ввалился мой дядя по матери, Василь Васильевич, человек сугубо гражданский. Мы обнялись, поцеловались.

Бывший токарь, перед войной он работал редактором заводской многотиражки, а после парторгом.

— А теперь я стал колхозником, — весело рассказывал он. — Уполномоченный по заготовке хлеба государству. Вот работка так работка. В жисть бы такой не видеть. В колхозах, понимаешь, ни людей, ни лошадей, в общем, никакого тягла в наличности. Коней и машины в армию мобилизовали. Сам я проводил эту кампанию. Эх! — Дядя, говорливый, никогда не унывающий, любящий пошутить, вздохнул: — А тут зябь поднимать надо. Чем? Как? А как знаешь и чем хочешь. Не поднимешь — хлеба не дашь, а кому не дашь — фронту! Рабочему у станка! Нельзя не давать. Как-то выкручиваться надо. Решили пахать на коровах, колхозных и личных. Хозяйки — в голос ревут, пуще коров в голодуху. Не бывать, мол, этому. Выехал я на село. Вызываю председателя.

«Указание получил?» — спрашиваю. «Да, — говорит, — получена бумаженция. Только сильничать народ не могу. Нету у него на это согласия, а я их выбранный...» — «Клади партбилет на стол!» — кричу и хлопаю кулаком по столу. Председатель с лица словно снегом облепленный сделался, губы так и кривятся, будто обмерзли. Но мужик сильный, переборол себя, понимает: не шутки шутить прибыл я из обкома. «С кого начинать будем?» — говорит наконец. «С себя!» —

рублю, как топором. Едем к его двору. Я в телеге остаюсь, жду, а председатель во двор отправляется. Слышу, там бой идет: куры кудахчут, корова ревет и женщина голосит. Выскакивает председатель из калитки, а за ним супружница его с переломленным коромыслом. Увидела меня, опустила свое оружие, меряет меня глазами, словно норовит еще пару обломков сделать, но уже о мою спину. Председатель тут хвать кнут с телеги да к ней. Она во двор. Как уж там поладили они, не ведаю. Только запрягла баба свою буренку в паре с парторговской рыжихой, а за ними и все село выехало в поле. Вот как, брат фронтовик, в тылу воюем.

— Налей нам, мама, со встречей, — попросил было я, но дядя остановил ее.

— Выпью, хоть и не пьющий, если мое предложение примешь. Пришел я к тебе за делом. Помоги, потрудись в колхозе. Хоть одного живого парня девки увидят.

— Нет уж спасибо. Я решенье принял, а танкисты решений не меняют. Завтра выезжаю на фронт.

— Ой! — вскрикнула мать и затихла.

— Да кто тебя пустит. Чать, врачи понимают? — удивился дядя.

— В этом деле я сам себе врач. Здесь от меня как от козла молока. А на фронте многое могу. И как радист, и как стрелок. С левой руки, с левого глаза бить буду!

— Да и как же ты...

— А вот так. Пока отпуск у меня — до фронта доеду. Кто вернуть меня сможет? Куда хочу, туда и еду.

— Ты не оцениваешь роли тыла.

«Вот еще мне дома политрук нашелся», — подумал я.

— Оценил. У девчонок одни глаза остались. Надолго ли хватит их? Завтра еду. Адрес части Зорька прислала. Конспиратор она, радистка, адрес кодом написала.

Шинель, новую шапку, лишнюю смену белья оставил я матери. Знал, что мать по ночам кроит из лоскутов ватники, а потом на толкучке сбывает, тем и кормит семью,

На ее почтальонское жалованье и в мирное время концы с концами не сведешь.

Достал я из вещмешка кирзовую куртку, танкошлем, облачился, словно витязь в доспехи.

Перед отправлением поезда, когда я простился с родными и шагнул к подножке вагона, кто-то положил мне на плечи тяжелые руки. Оглядываюсь — Юра. Подтянутый главстаршина. Глаза Юры хитро щурятся, а чувственные губы плывут в улыбке.

— Не удивляйся, мин херц. Папаша позвонил начальнику училища, тот брякнул начальнику гарнизона... Скоро и я за тобой. Папаша обещал...

— А моего папаши...

— Не надо... — Юрка обнял меня и крепко поцеловал.

И опять я не успел впрыгнуть в вагон: появились Вена и Саша с подарком: сало, сухари и три банки «второго фронта».

— Спасибо! Особо за «второй фронт».

Поезд тронулся, Юрка вскочил на подножку, еще раз обнял меня, словно знал, что больше нам не встретиться. Вскоре нашла его на Дунае хорстовская пуля.

Вот и снова Москва. В каморке дяди-лейтенанта на столе закуска, та, что Вена мне дал, и фляга спирта, что на заводе подарили. За столом мы вдвоем.

— Что так скоро, племяш? — спрашивает он после объятий. — Ведь у тебя и девушка дома оставалась?

Я молчу. Думаю не о девушке, а как бы это начать про отца. Но почему дядя о девушке спрашивает? Может быть, он уже знает, что бати нет в живых, может, и в первую нашу встречу знал? Но не сказал, пожалел. Неужели в глазах родных я все еще ребенок?

Я посмотрел на дядю, взгляды наши встретились, дядя опустил глаза.

Знает. Все он знает. Я рванулся к нему, положил голову на грудь и, не в силах больше сдерживаться, зарыдал.

Дядя не утешал меня, только слегка гладил ладонью по спине. Ждал, видимо, когда я сам успокоюсь.

А мне вдруг стало жутко — не стало отца, обманула любимая. Мать в день моего приезда до утра почти

перечисляла моих уличных дружков, товарищей по школе и заводу.

Сколько имен назвала она, какой длинный и еще неполный список потерь, а я оставался глухим, я ждал, когда мать назовет имя любимой. Это ожидание затмило все. Но мать ничего не сказала о ней. Пожалела, думала отвлечь большим горем.

— Родной город насквозь пустой. Моего в нем не осталось.

— А мать с малыми?

— Да. Но не мог я там... Жив буду — вернусь. А сейчас на фронт, только туда. Война — всеобщая беда. Пусть же будет она большей бедой для тех, кто затеял ее...

— Немец уже расплачивается, — вставил дядя и налил спирту в крышку фляги. Мы выпили поочередно.

— Немец что? Хочу, чтобы мир почувствовал, весь шар земной.

— Горячишься, племяш. Вот скажи-ка, думалось ли тебе, что в Стране Советов есть советские люди, а есть только советские подданные?

— Враги, что ли?

— Да вроде бы и не враги они. Люди, которых еще надо ковать или калить. С маху не раскусишь. Они разные. Попутчики, что, может, при коммунизме только станут советскими. Самодуры, льстецы и лжецы, жулики — в личном и на общественном поприще. Такие выполняют долг подданного в силу обстоятельства, а больше всего для виду.

— Что ж, и среди коммунистов есть они?

— Может быть, и в нас с тобой...

— Что, что?!

— Вот ты с пеленок советский,— продолжал дядя.— А кабы не война, с неохотой пошел бы в армию. А стране надо не только то, что ты признаешь, а что необходимо ей, миру, человечеству. Возьми меня. Я — честный солдат. Офицер. Коммунист. Ты сейчас просишь меня устроить тебя во фронтовой эшелон, а я должен тебя в тыл на лечебный отдых отправить. Но как поступлю я?

— Дядь,— перебил я его, испугавшись, — я так надеялся...

— Ты дай договорить. Людей у нас таких уйма. У одного меньше, у другого больше несоветского, а у неко-

торых советского вовсе нет. С коммуниста спрос больше, чем с рядового большевика. Партбилет обязывает. Но ему и трудней, людей перестраивай и себя строй. Не всякий выдерживает, а красную книжку не сдает. Такие и товарищей охаивают, доносы пишут, персональные дела создают, а себя в грудь кулаком бьют: я то-то и то-то совершил. А все для того, чтобы показать, что и поныне он — не труп, не отравляет вокруг все и вся.

Дядя глотнул из фляги, я отказался.

— Это у нас, — продолжал он, — в стране победившего социализма, как говорят. А в компартиях, у пролетариата иных стран? В мировом масштабе? Там, Антоша, хочешь не хочешь... Да что там. — Дядя махнул рукой. — Мировую революцию не советские люди делают, а советское в людях... Ладно. Мы слишком высоко поднялись. Ты помнишь Яско?

— Он все у тебя?

— Нет. Отправили в госпиталь. Вылечился и пристроился там санитаркой. Вот так, племяшь, много ли в нем советского? А в то, что эта война последняя, хотелось бы верить. Союзнички-то не очень помогают... А тебе я помогу, — он улыбнулся, — если не хочешь большого греха на душу брать — в Москве пристроиться? Знаю, знаю, — заспешил он, увидев мои глаза. — Мы не из таких.

— Погиб Андрей-то... В Одессе под танк с гранатами... — седой лейтенант ткнулся мне в плечо и заплакал. Потому, наверное, так горячо со мной говорил, боль унимал....

Глава седьмая

Наш эшелон остановился на маленькой станции, началась разгрузка. Я спросил у коменданта, нет ли попутной в хозяйство Стрельцова. Таковой не оказалось, но в сторону фронта направлялась полуторка с каким-то дефицитом. На ней я и укатил. Доставила она меня к развилке трех дорог, прямо — мост через речку, налево — степной проселок, направо — лесной. В начале лесного, на сосне, фанерная стрела с надписью «Хозяйство Стрельцова».

Я простился с автомобилистами. Они умчались в степь. Приседая, поразмял я затекшие ноги, огляделся.

Лесной проселок убегал в сосновый бор, на дороге свежие следы гусениц танков, колес авто- и гужетранспорта. Из-за леса доносился перекатный гул. Оттуда попахивало гарью и дымом. Знакомые каждому фронтовику звуки и запахи. Они и манят, они и пугают, да надо идти. И я пошел.

На мосту мотоцикл с коляской. Откуда он примчался, я и не заметил. Мотоциклист соскочил с седла, подбежал к перилам и начал бить из автомата короткими очередями куда-то вниз.

Я вынул свой парабеллум из-за пазухи, снял с предохранителя и с замирающим сердцем двинулся к мотоциклисту. Солдат палил, не обращая на меня внимания.

Я осторожно выглянул из-за перил: в кого же он стреляет? На песчаном откосе в разных позах лежало семь или восемь трупов гитлеровцев. На другом берегу темнели на пожухлой траве трупы. Видимо, вчера или нынче ночью здесь шел бой.

Я подбежал к мотоциклисту:

— Ты что? Спятил? По трупам?

Парень опустил автомат, посмотрел на меня, глаза его блестели мальчишеским задором. «Совсем пацан» — подумал я.

— Зачем, — повторяю, — палишь? Или мертвых боишься?

— Да нет, не боюсь. Только живых я еще не встречал. Третий день на фронте, а фрица не видел, — сказал сокрушенно мотоциклист и деловито спросил: — А вам куда, товарищ командир? Если в хозяйство Стрельцова, подвезу.

Мотоцикл запрыгал по ухабистой, развороченной танками дороге, того и гляди из люльки вывалишься. Я изо всей силы упирался в дно коляски ногами, а левой рукой держался за скобу впереди. Отвык от такой езды. К счастью, ехали мы недолго. Бор обгорелых черных сосен вдруг расступился, и мы выехали на широкую поляну, словно из улицы на площадь. Из леса от замаскированных танков выбегали бойцы и выстраивались, поротно направляясь к центру поляны.

— Вот мы и дома,— сказал мотоциклист.— Вам туда, — он указал мне на штабную машину, прикрытую сосновыми ветвями. Рядом с ней виднелись два танка, тяжелый и средний. У штабного автобуса толпились

командиры. Я выскочил из люльки и заспешил к штабу. Командиры встали по команде «смирно».

— Вольно, вольно, — услышал я знакомый голос и увидел комбрига.

Стрельцов шел, не глядя на офицеров, те пропускали его и направлялись следом. Но вот подполковник споткнулся, глянул на нас и узнал меня. Остановился. Лицо чуть посветлело, в уголках рта затеплилась улыбка. Я шагнул из строя командиров и доложил, что прибыл для прохождения дельнейшей службы.

Командиры зашумели было: кто, мол, к комбригу с этим обращается? Есть строевая часть. Но Стрельцов обеими руками обнял меня. Командиры затихли, в глазах у меня отдельные сосны на краю поляны слились в сплошную стену, а сердце, как недавно у родного порога, забило не в такт. Наконец комбриг отпустил меня:

— Здоров?

— Как в танковых частях!

— Ясно. — Комбриг посмотрел туда, где выстроилась бригада, брови его сдвинулись. — Пойдешь офицером связи во второй батальон. Ночью погиб офицер. Зорька была там офицером, — выдохнул комбриг.

— Есть во второй батальон, — услышал я не свой, какой-то жесткий, чужой голос. Командиры двинулись дальше, позади них я увидел долговязого солдата в шинели без погон и поясного ремня, в ушанке со следом сорванной звезды. В центре следа — дырка, словно прострел мелкокалиберки.

С лица долговязый осунулся, зарос редкой щетиной, глаза испуганные. Не до него мне было сейчас. Погибла Зорька. Та, что писала мне... И, может быть, любила. И я любил ее — я понял это, когда, отвечая комбригу, не узнал своего голоса. Потерян еще один друг.

А этот? Я снова глянул на долговязого. Как похож на моего земляка Эдика Лаврова, того самого, что в запасном подвел меня с картошкой.

Лавров... За его спиной два автоматчика, стволы смотрят в спину, и в глазах у ребят ни искорки жалости, скорее всего, в них жестокость.

На лесной полянке уже выстроилась бригада. Под тремя высокими соснами взгорок свежевырытой бурой земли, а рядом с ним на хвойных ветвях — укрытые

плащ-палатками те, что останутся только в памяти. Среди них и наша золотоволосая Зорька.

Стрельцов подходит к краю братской могилы, снимает лоснящийся танкошлем, ветер треплет его потемневшие в боях волосы.

— Товарищи... — голос комбрига срывается. — Дорогие боевые друзья, — постепенно выравнивается Стрельцов.— Сегодня мы хороним товарищей, а они могли быть еще с нами. Как ни горько, но я должен сказать вам, что они пали по вине труса...

Я вижу, как долговязый падает на колени, автоматчики грубо поднимают его. По заросшему лицу катятся слезы, бесполезные слезы. Я вынимаю пистолет, но чья-то рука перехватывает мою, оглядываюсь: Сергей. Сергей Скалов. Я убираю пистолет, здороваюсь с ним глазами.

Потом я узнал подробности.

...После тяжелых наступательных боев бригада Стрельцова получила суточную передышку. Штаб расположился на лесной заимке, которая охранялась комендантским взводом. Долговязый в этом взводе служил отделенным. Около часа ночи далеко у моста, того самого, с которого молоденький мотоциклист сегодня стрелял по убитым фрицам, послышалась перестрелка.

Штаб бригады подняли по бевой тревоге. Заняли круговую оборону. Отделенного остановил оперативный дежурный и послал проверить примыкающие к заимке кусты, в которых пряталась узенькая лесная дорога. Послышался гул мотора, автоматная очередь, а затем взрыв гранаты. Из кустов выскочил запыхавшийся долговязый с глазами навыкате от страха. Он бежал, нелепо размахивая автоматом:

— Немцы! На мотоциклах! — прокричал и кинулся было в лес, но его кто-то схватил за ноги и свалил.

— Огонь! — подал команду оперативный. По кустам ударил десяток автоматов, полетели гранаты. Подошли два танка, нашаривая цель орудиями. Но стрелять танкисты почему-то не решались. Зажгли фары, освещая кусты. Из кустов — ни звука. Тогда решили прочесать их.

Осторожно, метр за метром, продвигались бойцы комендантского взвода и наткнулись на исковерканный мотоцикл, нашли наповал убитую Зорьку и двух бойцов. Они везли в штаб бригады донесение о том, что

через позиции второго батальона пробивается оставшаяся в нашем тылу немецкая часть. У моста в это время гремел настоящий бой, который стих только к рассвету. Прорваться врагу не удалось.

Бережно опускали танкисты в братскую могилу боевых товарищей. Троекратно прогремел салютный залп. В воздухе, прямо из-за леса, показалась «рама» — немецкий разведчик, но бойцы не взглянули на нее. Лязгнули затворы. Самолет дал круг и стал уходить к фронту.

Комбриг проводил его взглядом и, кивнув на долговязого, тихо сказал:

— Не здесь, — и махнул рукой на лес.

Заглушая две короткие очереди, понеслась по рядам команда:

— По машинам!

С поляны людей словно сдунуло, затрещал древний сосновый бор, взвыл моторами, дохнул клубами дыма и залязгал гусеницами. Комбриг умчался куда-то вперед на юрком вездеходе. Танки один за другим уходили по просеке на запад. «Рама» прошлась над поляной не ради прогулки. С немецкого аэродрома уже поднялись, наверное, «мессершмитты», с минуты на минуту жди их здесь.

Все было так, как и должно быть, а я все стоял у могилы, опустив пистолет, из которого салютовал. Надо мной укоризненно покачивали кронами три сосны-великана, словно я был виноват в том, что на русской земле появилась еще одна братская могила.

— Пойдем.

Я оглянулся, позади меня стоял Серега Скалов, нахлобучивая танкошлем. У опушки виднелась наша «тридцатьчетверка». Подниминоги ждал нас.

— Пойдем, — сказал я, надевая танкошлем. Когда вскочил на броню, я в последний раз оглянулся. Издали казалось, что золотоствольные сосны сдвинулись ближе к могиле, окружили ее, приняли на вечную охрану.

С запада зарокотало — в боевом строю на поляну летела девятка фашистов, но вдруг «мессеры» ринулись в сторону и стали уходить, а над поляной, поблескивая крыльями, пошли наши, краснозвездные.

Теперь в моем распоряжении бронетранспортер, два мотоцикла. Не хотелось уходить из экипажа. Утешало то, что друзья мои всегда будут на виду. Чувство большой потери душило меня. Почему людей узнаешь поздно, почти всегда поздно. Таких, как Зорька и Стрельцов, и таких, как расстрелянный долговязый, как подлец Яско... Война? Она виновата? Сейчас все валят на войну: и то, что она кому — мать, кому — мачеха, и что война все спишет... Но чья это мораль? Врага или просто слабых людей, втиснутых случайностью, страхом в общий поток. Вырвется такой из этого потока, а куда податься — к немцу? Не любо. Немца сломают, а значит — и тебя. Лучше полегоньку, потихоньку с нашими, как-никак они русские, вперед не лезь и очень-то не отставай, солдат спит, а служба идет — глядишь, и жив останешься... Выпадает счастье любить — люби. Не навсегда, так пока. А там видно будет. Час у жизни урвал, и он твой...

Гады! Вы из одного с нами котла щи хлебаете. Вы себе на уме, и не так-то просто разгадать вас, даже на войне. Многие из вас выживут и наградами брякать будут...

Близился тысяча девятьсот сорок пятый...

Мы снова на выжидательных позициях. Не сегодня, так завтра — в бой. Танкисты только что помылись в походной бане — брезентовой палатке, сменили белье. И принялись за письма домой... Все, как и три года назад, перед боем.

Но я сегодня никому не пишу, настроение у меня неважное.

Теперь, когда мы снова на западе, Серега в каждой части разыскивает радистку, которую он спас под Москвой. Вот и сейчас ушел в соседний полк, что только прибыл и располагается на нашем левом фланге.

Нет и старшины Ивана Подниминоги. На стыке фронтов Украинского и Белорусского лежит его село, освобожденное из-под немца. Командир бригады разрешил старшине побывать с недельку дома.

Сейчас, наверное, сидит Иван в кругу своей семьи. Дочка Ксана на коленях его, Марина обняла мужа и показывает глазами: смотри, мол, какую дивчину вырастила. А мать Ивана, тоже счастливая, подает на

стол и с улыбкой поглядывает на сына и внучку, на невестку. И радость переполняет ее материнское сердце. Замечает мать: постарел Иван, седина на висках пробилась, морщинки у глаз и на лбу поперечная складка. Только что это?! Руки-ноги целы, голова на месте — значит, жив человек. Главное — жив. И не калека. «Угощайся, сынку, угощайся», — повторяет она.

Я вспоминаю, как старшина говорил, что родительница его и винца для встречи припрятала, и погребное: огурцов, моченых яблок. И представляю: в окна хаты заглядывают соседи, каждому хочется посмотреть на фронтовика, своего сельчанина. Вот кончит старшина обедать и выйдет к народу. Расскажет, где и как воевал, за что высшие ордена Советского Союза ему жалованы.

И скажет, наверное, Иван, что войне скоро конец, была великая битва, страшней земля не помнит, но она последняя, больше войн не будет, силу, которая смогла бы затеять новую беду, мы изничтожили под корень.

От моря до моря стоит наша армия фронтом. И пушек, и танков, и самолетов, и пехоты больше у нас, чем у немцев.

Потерпите, дорогие сельчане, еще малость, вернутся с победой солдаты, поднимут рухнувшее хозяйство, и расцветет земля. А теперь, извиняйте, скажет Иван, мне спешить надо...

Раненько, на зорьке, выйдет Иван: Маринка с Ксаной и матерью провожают фронтовика, поклонится он им поясно и пойдет, а они будут еще долго смотреть и махать ему белыми платками...

— Стихи сочиняешь? — В землянку вошел Сергей, отряхнул шапкой снег с полушубка и валенок. — Нет, говоришь? — продолжал он, присаживаясь к железной печурке.

По голосу я понял — дурное настроение у Сергея.

— Что, опять неудача?

— Точно так, — отвечает Серега. — Разве иголку в копне сена отыщешь? Но на войне всякое чудо бывает. Приснилось мне как-то, будто убили меня. А на утро — в разведку боем. Я добровольно напрашиваюсь, но дефект обнаружили, ремонт требуется. Ушли ребята и сгорели вместе с машиной...

— Обожди, Сергей, — перебил я его. — Ведь бой зависит от тебя.

— Все это так. Да когда душа не спокойна — и руки не те, и глаз не тот, и голова другая. Не верил я отродясь в приметы да сны, а тут вдруг верить стал. Черт-те что на душе творится. А может, чует сердце — конец войне и тебе конец. А умирать не хочется. Посмотреть бы, что после войны будет, за что мы голов своих не жалеем и вражьи дырявим.

— После войны, Серега, не жизнь, а рай будет. Правда, потрудиться придется, а потом... Ты знаешь, что потом?

— Что? — Сергей лег на нары навзничь, руки под голову заложил.

— Коммунизм будет!

— Хорошее слово.

Скрипнула дверь, смотрим — Евгений Александрович.

— Старшина не возвращался? — спросил он, присаживаясь на нары у печки.

— Нет, товарищ подполковник, — ответил Скалов и поднялся. — Застрял где-то Иван. А что, скоро выступать?

— Многое знать будешь... — начал было Стрельцов, но Скалов перебил его:

— Война всех нас старит и делает мудрее. Я к тому, Евгений Александрович... О наступлении слухи ходят.

Подполковник сбросил с плеч шинель, надетую внакидку — видно, жарко у нас в землянке показалось. А Сергей продолжал:

— Говорили, что в конце месяца генеральное наступление предполагалось. А выходит, начнем не сегодня-завтра. Союзников Гитлер жмет так, что Черчилль к Сталину обратился: ради бога, молит, помоги, ударь с востока. Сталин, говорят, согласился?

— Не знаю, Сергей.

— Откуда же солдаты знают? В банях моют, белье чистое выдают, письма, говорят, пишите. Боекомплект полностью снаряжают, энзэ и прочее. Политруки беседуют, что, мол, союзникам помогать надо. И вы вот о старшине беспокоитесь.

— Ну, солдатам лучше знать. — Стрельцов улыбнулся, словно хотел сказать: ну и дотошными вы стали.

— Разрешите войти?

— Старшина! Легок на помине. Входи, входи.

Иван грузно шагнул через порог. Лицо землистое, глаза, что яичные желтки. Покачиваясь, подошел к нарам, бросил в угол тяжелый вещевой мешок, сел и опустил голову.

— Что с тобой, Иван? — Стрельцов положил руку на плечо старшины. — Беда?

— Хуже быть не могет...

Позднее старшина рассказывал:

— Добрался до райцентра на попутных, пытаю, как в Гречановку подъехать. Люди глядят на меня, головами качают, словно я с того света возвернулся или с ума спятил. Направился я в Совет. «Дайте,— говорю,— подводу в Гречановку, с фронта на два дня отпустили».— «Садись, — говорят, — солдат. Подвода будет. А что тебе в Гречановке?» — «Как что? — отвечаю. — Там жена Марина, дочка Оксана. С сорокового не виделся и вестей не получал»... Подошел тут сам председатель Совета. Нашенский. Руку подал и не выпускает, а сам в глаза глядит. «Нету, — говорит, — Гречановки. Немцы спалили. Марину твою с Оксаной в Германию угнали. А мать... Вступилась старая за внучку. У живой Оксану они взять не смогли». Выпустил председатель мою руку. Я встал и пошел, не сказавши ни прощай, ни до свидания. Приехал на место, где село стояло... Трубы печные и те порушили. Набрал я золы... — старшина рывком подтянул вещмешок.

Мы молча стояли вокруг. Чем его можно утешить?

Скалов глянул просяще на командира бригады и тот понял.

— Завтра, старшина, выступаем.

— Больше для меня ничего не треба, други вы мои дорогие.

* * *

Мы шли вперед, под нами гудела родная земля, над нами пело теперь уже навсегда наше небо.

Часть II

Глава первая

Темная мартовская ночь. С севера дует низовой сырой ветер. Наволочь. Ни единой звездочки на небе. Даже луна и та упряталась бог весть куда. Кажется, тучи, чтобы не рухнуть, держатся на орудийных стволах танков засады. Время как будто остановилось. Томительно. Вкрадывается сомнение: а вдруг...

Послышался гул моторов. Враг приближался осторожно, с погашенными фарами. Изредка вспыхивали подфарники и тотчас гасли: прощупал сажень-другую дороги и снова вслепую вперед.

Бесшумно опустились крышки люков у наших машин. Командиры прильнули к прицелам, снаряды давно в казенниках. Гвардейцы, еле удерживая себя от соблазна ударить, ждали, когда головной танк врага поравняется с нашей замыкающей засаду машиной.

Гитлеровские танки, натужно ревя моторами, вытягивались на шоссе. Долго. Очень долго. На броне — автоматчики, отчего танки походят на гигантских ежей. Ох и урчат эти ежи, словно из последних силенок выбиваются.

Решили фрицы прорвать оборону. Разведка об этом, совсем как в известной песне поется, доложила точно. Спешно приняли контрмеры. Пехота на виду у немцев, мол, сила уступает силе, еще днем отступила, изображая панический драп. А танки, замаскированные так, что ни в какой телескоп не обнаружишь, остались по обе стороны шоссе в аппарелях. Укутались по башню дерном, сучьями и прочим подручным материалом. Сновала немецкая разведка совсем рядышком с нашими машинами, да ничего не обнаружила и решила: русские бегут, а свежие части еще не подошли.

Была в этом одна правда: наших здесь потрепали изрядно, тех, что держали оборону. Но не бежали они. Нет.

В шлемофонах прозвучало тихо так, полушепотом:

— Огонь!

Гвардейцы грянули орудийным залпом. И началась чертова толчея. Вспыхнула сразу чуть ли не вся фашисткая армада. Горящие машины сшибались, лезли друг на друга, стреляли куда угодно, только не по цели. Округа наполнилась грохотом и воем: рвались боеукладки, баки с горючим, двигатели, снаряды на броне в ящиках, что взяли практичные фрицы про запас.

Низко нависшая наволочь загустела вначале, а потом, словно в страхе, отпрянула. Стало светло, как будто взошло солнышко.

Задние танки, бронетранспортеры, автомобили с пехотой продолжали напирать. Их расстреливали в упор из орудий и пулеметов. Немцы с обезумевшими глазами, спасаясь от огня, метались среди горящих машин живыми факелами.

Гвардейцы двинули танки из укрытий на дорогу. Как сказочные витязи из чрева земли в судный час появились они.

Советская пехота ринулась в прорыв, а танки колонной, развернув башни «елочкой», пошли дальше. Огнем и гусеницами расчищали они дорогу. На рассвете ворвались во второй эшелон врага. И снова — на запад. Без остановок. И днем. И ночью.

Поочередно садились за рычаги члены экипажей. Десантники питались и спали на весу, пристегнувшись ремнями к скобкам на броне. На крыльях ведущих машин дежурные автоматчики подсвечивали ручными фонарями дорогу. Люди держались, памятуя заповедь танкистов-гвардейцев: сгори или прорвись. Люди держались, а техника начала сдавать. От чрезмерной нагрузки рвались гусеницы, особенно у тяжелых танков и самоходок. Одно за другим шли радиодонесения: горючее и боеприпасы на исходе. Наш второй эшелон застрял где-то или сбился с пути. Пришлось остановиться.

Комбриг, подполковник Стрельцов, нашел выход. Он приказал слить оставшееся горючее и полностью заправить танки второго батальона, передать ему и боекомплект. Танкисты майора Перетяги должны завершить начатое бригадой. За это время подвезут боепи-

тание и части соединятся. А пока — врагу никакой передышки.

— По машинам!

Второй батальон выжимал все из не успевших остыть двигателей. Надо было догнать оторвавшегося противника, не дать ему закрепиться. День выдался погожий, видимость до самого горизонта. Булыжное шоссе, как сероперая стрела, ни одного поворота.

Головной танк выскочил на вершину холма у огромного креста с распятием, взгляду открылся лежащий в лощине город. Его-то и должны взять танкисты.

— Командный пункт у креста! — приказывал Перетяга. — Танкам уступом справа. За Родину! За Сталина! Вперед!

На левом фланге бронированного фронта, по грудь высунувшись из башенного люка (так лучше видно вокруг), мчался майор Перетяга. Он был уверен в успехе и открытым текстом подавал команды.

Противотанковые орудия и тощие пехотные заслоны, что успели выставить немцы, танкисты смяли и двинулись к городу. С командного пункта заметили какое-то движение на правом фланге. Там, в густом сосняке, можно было предположить, скапливаются немцы. Донесли о противнике и на левом крыле. Коридор, которым шел батальон, мог оказаться огненным мешком. Начальник штаба капитан Федоров связался по рации с командиром батальона. Перетяга подтвердил свой первоначальный приказ:

— Делай, как я!

Начинало смеркаться. Комбат торопился. Неожиданно появились немецкие танки. Не принимая боя, на полной скорости они перескочили мост через речку у города и стали уходить влево к лесу. Мост запылал.

Видать, взорвали его неудачно, сплоховали фашистские минеры. Наши танки с ходу и коротких остановок густо палили из пушек, не умолкали и пулеметы.

Танк майора Перетяги взлетел на мост, который уже бабахал в небо горящими головнями. Вторая машина на предельном газу нырнула в бушующее пламя. Видно было, как мост прогнулся, но выдержал. За ней проскочили еще две «тридцатьчетверки». У следующей машины траки блеснули в воздухе: обугленный настил моста рухнул, но танк выбрался на противоположный берег.

Машины противника оказались рядом. Развернутые к нашим бортами, они как бы сами обрекали себя на гибель. Две вспышки — и два немца полыхнули. Третий уходил, выбрасывая горящие дымовые шашки. За ним устремился Сапун. Майор подгонял своего водителя.

Головной танк плеснул пламенем в упор, когда ствол чуть ли не пропорол сзади вражескую машину. Густым облаком заволокло оба танка. На командном пункте и в подразделениях услышали голос командира:

— Навести переправу. Я атакую город!

Пять машин пошли на штурм, а за ночь в город втянулся весь батальон.

Гитлеровские артиллеристы не ожидали удара с тыла и не успели повернуть орудия. Танки влетели на огневые с железным ревом, разворотами, давили пушки. Не ушли и тяжелые «фердинанды», пока разворачивались, с ними покончили болванками по запасным бакам с горючим.

Подниминоги вылез из танка, свернул самокрутку, прикурил от своей круглой, в медаль «За боевые заслуги», зажигалки и подозвал меня.

— Снимай свой мотор. И дуй в бригаду. Бачишь, что творится?

Перед нами лежало черное поле, по которому, словно костры, разложенные для сжигания стерни, догорали танки. А те, что уцелели, расстреляв все снаряды, пятились к городу, грозно поводя стволами.

Так же пятясь, как и танки на пашне, уползали в город самоходки, то появляясь на гребне рухнувших кирпичных стен, то пропадая за ними. На город надвигалась лавина «тигров». Один русский танк метался среди развалин, посылая болванку за болванкой в «тигров».

— Дуй, Снежок. Расскажешь комбригу, что и как. А мы попытаем счастья! По машинам!

Пять «тридцатьчетверок», не разворачиваясь, колонной ринулись на город параллельно немцам. Быстрые наши машины догнали «тигров» и какое-то время шли борт о борт.

«Тридцатьчетверка», что вела огонь по немцам со стороны города, стала уходить к ратуше.

Немцы, казалось, ничего не замечали, увлеклись преследованием самоходок или приняли наши маши-

ны — за свои. Ведь штаб дивизии, тыла и резервные части — на железнодорожной станции. Откуда взяться там русским?

Поравнявшись с головной машиной немцев, «тридцатьчетверки» повернули «все вдруг», стволы орудий уперлись в борта вражеских машин.

Взвыли болванки. Пять «тигров», расстрелянных в упор, запылали, обволакиваясь дымом. Опять взвыли болванки. Немцы смешались. В смотровые щели обстановку определить трудно или совсем невозможно, а выглянуть из люка в бою равносильно смерти. «Тигры» закружились на месте, а гвардейцы не прекращали огня.

Головной «тигр», выжимая до предела газ, ворвался в город. Расстреляв самоходку, он направился к ратуше. Немец ловко маневрировал между развалинами. Не теряя его из виду как ориентир спасения, глухо рыча моторами, мчались за ним еще три машины.

«Тридцатьчетверки» пальнули им вслед. Еще один немец подбит. И тут из проулка выскочил танк. Я узнал машину Федорова. Выстрел. «Тигр» остановился. Теперь по второму. Сапун почти коснулся лбом машины немца. Выстрелил. И «тигр» взорвался.

Головной уходил. Он смял противотанковую пушку и вышел напрямую к ратуше. Противотанкисты ударили из своих ружей.

«Тигр» стал стремительно разворачиваться, но не успел: танк Федорова шел на таран. Глухо лязгнула броня. Машины вздыбились, засверкали выщербленные траки гусениц. Мотор у немца заглох, и Сапун столкнул его, попятился. Федоров выстрелил в хвост. Взорвалась боеукладка — и «тигр» запылал.

Грохот боя с севера все слышнее. Можно догадаться, что в сражение вступили новые силы. Наверное, подоспел гвардии подполковник Стрельцов. Теперь немцам не удержать наших, а не то чтобы город отвоевать. Отсюда, с опушки, видна убегающая к морю котловина. В нее из леса подковой идут немецкие танки. Обтекают город или удирают? Позднее я узнал, что Стрельцов решил подойти к городу не с востока, а с севера и повел танки малопроезжей грунтовой дорогой в сторону моря. Едва боевое охранение вышло из леса на открытое поле, завывая, понеслись болванки. К счастью, ни одна не попала в цель.

Словно живая, танковая подкова врага все сгибалась и сгибалась. Левое крыло ее — от булыжного шоссе, правое — от грунтовой дороги, центр подковы — прямо на лес, в центре — тяжелые машины и самоходные орудия. На огонь бригадных дивизионок центр, казалось, не обращал внимания. Видно было, как снаряды чиркали по лобовым броневым листам.

Все поле наполнилось катящимся гулом моторов и летящих снарядов, одиночных выстрелов не было слышно, выстрелы, разрывы слились воедино. Взлетало и падало рваное дымное зарево, пронизанное частыми выплесками огненных молний.

По тому, что немцы бьют не бронебойными, а простыми осколочными, можно было понять, что враг не видит наших танковых позиций и стремится подавить огнем батареи дивизиона.

— Батареям поочередно прекратить огонь! — передал команду артиллеристам Стрельцов. — Самоходкам выдвинуться вперед! Танкам приготовиться к атаке!

Одна за другой, словно их действительно подавили огнем немцы, батареи замолчали. Теперь был слышен рев только вражеских машин и орудий... Подкова смыкалась на флангах батарей...

— Тысяча метров... Девятьсот... Восемьсот! — докладывал дальномерщик Стрельцову.

— Самоходкам! Огонь!

Бегло загремели тяжелые орудия, завыли болванки, которых никакой «королевский тигр» не выдержит. Залпом ударили наши танкисты с закрытых позиций. Огненные смерчи взмыли над боевыми порядками немецкой подковы.

— Батареям дивизиона возобновить огонь! Танкам фронтом вперед! За Родину!

Лес словно ожил, — поводя длинными хоботами стодвадцатидвухмиллиметровых орудий, двинулись в бой наши «щучки». А по крыльям подковы ударили «тридцатьчетверки», стреляя с ходу и с коротких остановок.

Не ожидая в этот момент встречного бронированного удара батарей и самоходных установок, немецкие танкисты опешили, остановились. Гвардейцы вклинились в боевые порядки немцев и с ближних дистанций, а где и в упор расстреливали машины врага. Гитлеров-

цы, повернувшие вспять, сшиблись со своими. Образовалась пробка. Бой шел пушка в пушку. От взорвавшихся машин загорались соседние. Стрельцов отдал приказ танкам — отойти. И когда наши задымленные машины, пятясь и рыгая огнем, оторвались от врага, артдивизион ударил изо всех орудий, прямой наводкой били самоходки.

Немецкие танкисты выбрасывались из люков, спасаясь от пламени, их находили пулеметные очереди. «Тридцатьчетверки», расклевав фланги немецкой подковы, отрезали пехоту, и, расстреливая из пулеметов, погнали они ее на запад до леса, из которого начинали атаку, а на опушке, развернувшись, встретили огнем отходящие танки врага.

Поняв, что «подкова» зажата в кольцо русских, немцы решили биться до конца.

Багряное солнце клонилось к горизонту. От дыма и копоти поле в междулесье уже погрузилось в ночь. Наши танки и орудия, не приближаясь, продолжали расстреливать уцелевшие машины врага.

— Ну, Скворцов, в бригаду! — сказал я, усаживаясь в прицеп. Пока мы выезжали на шоссейную дорогу, что вела в сторону бригады, солнце закатилось. Бой в городе еще гремел, впереди тоже слышался рокот. Будто и там шел бой. Скворцов включил фару и прибавил газу. Но далеко уехать мы не смогли. Навстречу нам двигались танки с гвардейскими знаками на башнях, по обочинам шла пехота.

— Наши, Витя, наши!

Мы свернули на обочину. Пехотинцы, поругиваясь, чего, мол, дорогу загородили, обходили нас.

— Какой части? — пытался узнать я у гвардейцев.

— А ты якой? — смеялись они и шли дальше.

Сколько их! Танки, самоходки, крытые брезентом «катюши». Было ясно: в наш прорыв вошли основные силы. Бригада выполнила приказ. От избытка чувств я обхватил Скворцова, словно хотел повалить. Забыл, что Виктор еле стоит на ногах.

— Слушай, гвардии старший сержант, куда нам теперь торопиться? Свернем в лесок, обождем, пока колонна пройдет, отдохнем малость. Все равно сейчас ни вперед ни назад. Под ногами только мешаться будем. А?

Я подумал и согласился. Мы заехали в лес, на-

сколько позволяла чаща, и заглушили мотор. Скворцов спроворил костер. Достал из своего багажника бутылку трофейного вина, сухари, шматок сала.

— Подзаправимся?

— С утра маковой росинки во рту не было, — сказал я.

— А у меня все выдрало. Ну и наглотался я дыму.

Мы слили вино в котелок, наломали туда сухарей, получилась отличная тюря. С аппетитом накинулись на нее, обнажив залежавшееся в голенищах личное оружие — алюминиевые ложки. А мимо все шли и шли войска. Казалось, и конца им нет. Стемнело. Танки и автомашины погасили фары. К нам подбежал автоматчик:

— Вы что здесь? Фрицевским самолетам сигнализируете? — уставив на нас автомат, запальчиво крикнул солдат.

— Убери игрушку! — тихо сказал Сворцов.

— Я те уберу. Кто такие? Документы. Или стреляю!

Видно, парень не шутит, я кивнул Виктору.

— Туши.

— То-то. А еще огрызаются. Ведь на фронт прибыли, — уже более миролюбиво начал урезонивать нас автоматчик. Я посмотрел на него — совсем мальчишка, моложе Скворцова. Неужели и взрослых в России не осталось? Бородатые старики в строю да юнцы.

— Поспешай, поспешай, — торопил автоматчик Виктора.

— А пошел ты... Салажонок! — не удержался мотоциклист.

— Что? — солдат смотрел то на меня, то на Скворцова. Такого оскорбления он, видать, не ожидал. — Товарищ лейтенант, — заорал он в темноту, — двое тут. Не слухают. — Он передохнул. — И документы не кажут!

С шоссе сбежало несколько человек. Окружили нас. Высокий в плащ-накидке выдвинулся вперед:

— Документы?

Я понял, что это и есть лейтенант.

— Мы с особого задания. Документы сдали в штаб.

Лейтенант мотнул головой. Я понял этот жест, но сопротивляться было бы бесполезно.

— Выясним, где ваши документы! — грозно сказал

лейтенант, вешая на руку автоматы, — мой и Скворцова.

Мотоцикл наш подняли на грузовую машину и повезли.

— Лейтенант, отвечать будете. Я следую с донесением.

— Разберемся! — равнодушно ответил тот и приказал трогать.

— Да черт с ними, пусть везут. Хоть отдохнем, — проворчал Скворцов, заворачиваясь в пропахший гарью и бензином ватник. Мы легли, прижавшись друг к другу. Автоматчики опустили оружие, закурили.

Я уснул, как в яму провалился. Не слышал, когда остановилась машина. Автоматчики растолкали нас и повели.

— Куда?

— Может, еще выдать вам расположение штаба? — издевательски спросил лейтенант.

— Вот тут ваше место! — грубо сказал он. Нас втолкнули в темный холодный подвал. Сырость пронизала до костей. Обмундирование не согревало, напрасно мы жались друг к другу то спиной, то боком.

Было смешно и в то же время муторно. Мы слышали, как сменялись часовые у дверей подвала. Я пробовал стучать в дверь. В ответ — угроза. Что за черт? К своим ли попали?

Утром пришли за нами, повели. Светило солнце, в небе — ни тучки. Не слышно даже отдаленного грохота боя. Как это непривычно, невольно мотаешь головой, словно уши заложило.

В вестибюле белого здания за массивным столом сидел дежурный лейтенант в фуражке с зеленым верхом.

«Пограничники», — отметил я про себя.

— Это и есть подозрительные? — спросил лейтенант, с улыбкой оглядывая нас. — Ну, подозрительные, толкуйте, кто вы такие?

Я начал рассказывать. Лейтенант слушал, брови его хмурились, сходились у переносицы.

— Я вам верю, ребята, — наконец сказал он, — но чем докажешь, что ты есть ты? Где ваша бригада?

— Я вчера говорил...

— Запрашивали. Нет там никакой бригады. Город разрушен до основания.

— Значит, наши ушли вперед...

— И впереди их нет. Мы охраняем тылы фронта. Мы все знаем.

— Отпустите нас, мы найдем своих! — в отчаянии попросил я.

— Не могу. Будь у вас хоть какие-нибудь документы...

Я посмотрел на Скворцова, Скворцов на меня. Взглядами мы сказали друг другу: «Ничего не попишешь». Виктор разорвал подшитый изнутри гимнастерки карман, я сделал то же самое. Два комсомольских билета легли на стол лейтенанта.

— Вот теперь другой разговор, — лейтенант сразу обрадовался. — Словно гора с плеч. Можете двигать в любом направлении. — Лейтенант отпустил автоматчиков и склонился над своими бумагами.

— Товарищ лейтенант, — обратился я к нему. — А где наш мотоцикл?

— Мотоцикл? Какой мотоцикл?

— Нас же вместе с мотоциклом в кузов погрузили.

— В кузов? Какой кузов?

— В кузов машины, что привезла нас... — Голос у меня упал, предчувствуя недоброе.

— Да вас на попутной доставили. При мне. Ночью. Мотоцикла никакого не сгружали...

— Как не сгружали? — сверкнув белками глаз, крикнул Скворцов и придвинулся к столу. — Вы эти шуточки бросьте, товарищ лейтенант. За машину и в трибунал попасть недолго. Знаете приказ?

— Знаю. Только ваш мотоцикл я не видел. И отвечать за него не могу. Идите, ищите. Понятно? — Лейтенант сделался скучным и строгим. И я понял, что в спешке они забыли выгрузить мотоцикл.

Глава вторая

Черт бы побрал этот город. Почему этот, а не какой-нибудь другой прусский городишко? Нет, именно этот оставил неприятную оскомину, и даже не оскомину, а что-то вроде раны чуть ли не в сердце. Ноет эта рана, никак не затягивается.

Танковая бригада вышла на исходные. Скоро бой. Забыть бы все, написать письмишко домой, может, ду-

мают, что и в живых тебя нет. Не хотят, наверное, верить. А поверить можно. В штабе не успевают писать похоронки. Сколько легло на удобренной кровью земле товарищей и подруг? И кто-то не верит, что их уже нет.

— По машинам!

Лязгнули подковы сапог по броне. Закрылись люки.

— Заводи моторы!

Взревели дизели. Качнулась машина и поплыла: земля — небо, небо — земля. Вот и все, что видно в смотровые щели.

Не время кваситься. Перед боем нужно собраться, сосредоточиться. Как в стихах:

Когда на смерть идут — поют,
А перед этим можно плакать...

Иван Подниминоги приник головой к налобнику триплекса, руки крепко держат рычаги. Он ведет танк в бой не в первый раз, а может быть, в последний, хотя бы потому, что эта война последняя, как говорят все.

Сергей Скалов, он так и не нашел свою подругу, поет, в песне выливая грусть. Голос его, как будто издалека-далека раздается в шлемофонах:

Ты снова сядешь у подоконника,
Платок батистовый прижмешь к глазам.
Играй, играй, моя гармоника,
Тебе я грусть свою отдам.

Кругом бои идут жестокие,
Мой край огнем охвачен весь.
Смотри в глаза мои, глаза глубокие,
Глаза живые, пока я здесь.

Сергей поет. Ему никто не мешает. Идем в бой — и песня идет.

...Приехали мы с Виктором в часть и сразу направились в штаб. Поразили необычные изменения. Танкисты обмундированы по всей форме. При погонах, в шапках-ушанках, не в танкошлемах, брюки хаки. Через плечо — противогазы. Оружия нет.

Не вчера ли еще гвардейцы щеголяли в ватниках, куртках, танкошлемах? Сапоги — всех воюющих держав: германские, американские, английские и кирзовые — русские.

Облаченные еще «по-вчерашнему» — неделю не были в бригаде, — я и Виктор выглядели белыми воронами среди своих. На мне кирзовая танкистская куртка,

перепоясанная офицерским ремнем, на шее автомат, на бедре — пистолет. Комбинезон, а не форменные шаровары. На голове замасленный танкошлем. Погон на куртке нет.

Скворцов еще пестрее меня. Телогрейка его прожжена, вата вываливается, комбинезон тоже весь в прожогах, сапоги — немецкие. Погон нет. Не образцовый, конечно, вид. Но кто виноват! Такими или похожими на них были все мы на передовой.

Штаб разместился в доме с колоннами. Графская или баронская дача в живописном лесу, не сосновом, а березовом. Часовой скучает у входа. Вдруг он вытянулся, прижал левой рукой автомат к груди, а правую кинул к виску. Из штаба вышел майор Перетяга и молча уставился на нас, словно чудо увидел. Я доложил, сказал о мотоцикле. Крупное лицо гвардии майора похмурело. О том, что мы где-то пропадали, что мотоцикл потеряли и, наконец, нашли свою часть, ему, кажется, и дела нет.

— Почему не в форме? Где погоны? Кто видит, что вы старший сержант?

Я давно знал майора, но таким никогда не видел. Не мог он, видимо, простить себе, что смалодушничал, застрелиться хотел. Весь батальон только и говорил об этом.

— Снять танкошлемы...

Я понял его буквально и обнажил голову. Скворцов последовал моему примеру. Ветер растрепал мне волосы, бросил вихры на глаза. Стоя по стойке «смирно», я не смел шевельнуть рукой, чтобы поправить их.

— Почему не стрижены?

Вопрос ошарашил меня. Вот уже второй год я не стригся под машинку.

— Я на должности офицера. Мне положено...

— Я лучше знаю, что вам положено, сержант. «Губа» вам положена. Пять суток строгого. Волосы остричь. Сдайте оружие.

Я молча снял автомат, отстегнул ремень и вместе с кобурой подал часовому. То же пытался сделать и Скворцов.

— Отставить, — сказал майор мотоциклисту, — отправляйтесь в подразделение.

Скворцов виновато глядел на меня. Я кивнул ему, где, мол, наша не пропадала.

Гауптвахта — в подвале помещения штаба, подвал почему-то заполнен водой, по самые матрасы утонула двухспальная кровать красного дерева. Я сел на нее, пружины жалобно тренькнули.

Скрестив по-восточному ноги, задумался. За что же меня арестовали, за то, что отстал от части, потерял мотоцикл или за то, что одет не по форме и головы не стригу под нулевку?

Вскоре в подвал привели сержанта Прончатого. Он кубарем скатился по ступенькам и чуть не плюхнул в воду. Он ввел меня в обстановку.

Бригаду вывели на отдых, а заодно и для пополнения техникой, личным составом.

— И дня передыху не дал гвардии майор. Принялся наводить порядок в танковых войсках. Строевой приказал обучать и разным там нефронтовым делам. Облачил всех, словно на парад в Берлин готовит.

В окно протиснулась буханка хлеба. Я поспешно подхватил ее, чтобы в воду не упала, смотрю, узелок за буханкой на веревочке спускается, тоже подхватываю, за узелком — фляга. Взял ее в руки — тяжела.

— Бог послал? — говорит Прончатый и потирает руки.

— Богов у меня много, — говорю и отвинчиваю пробку алюминиевой, в зеленом суконном чехле фляги, делаю глоток.

— Спирт!

В узелке завернуты куски копченого сала.

Выпили мы, закусили. Сразу на душе полегчало. Вроде бы и не под арестом мы, не в подвале и сыростью не пахнет.

— Попался я начальству на глаза, — рассказывает Прончатый. — Приветствую, как положено, а майор не отвечает. Почему, говорит, без погон? А я в телогрейке. На неформенную одежду погон не полагается. А на майоре бушлат солдатский, и тоже без погон. По званию, видишь ли, могут определить, какая часть стоит. Глупыши! Глянул я, что погон-то у майора нет, и, черт меня за язык тянул, говорю: рыба тухнет с головы. Понял меня товарищ гвардии командир. И вот сюда для проветривания направил. Да оно и лучше. Шагистикой заниматься совсем ни к чему.

Сержант говорил долго. А меня сморили и спирт, и усталость. Целую неделю мыкались, искали свой

«харлей давидсон», полк искали, нервишки все время на взводе. И сон не шел, и еда в горле застревала.

К утру «губа» была набита, как говорят, битком. Натащили сюда диванов, коек, перин. Я удивленно оглядывал товарищей по несчастью. Оказывается, все попали сюда за нарушение формы.

Что сделалось с майором, вроде бы на передовой он добрей был?

Теперь я стал понимать: в подвале ратуши самолюбию майора рана нанесена не из легких, вот его и крутит бес. На его месте в другую часть проситься надо.

Я поднялся по каменной лестнице наверх, к выходу. Поздоровался с часовым и попросил у него закурить. Тот, забывшись, что он на посту, а я — арестованный, подал мне кисет с махрой и аккуратно нарезанными листочками газеты. Развязывая кисет, прочитал шитье шелком «Лучшему бойцу». Посмотрел на солдата, ничего необыкновенного в нем, разве что подоворотничок слишком выглядывает из воротника новенькой, вчера полученной гимнастерки. Не «лучший», а как и все. Но и все в армии разве не лушие? Конечно...

Я завернул цигарку такую, что на «дармовую» крутят, присел на ступеньку перед колонной и задымил.

Деревья начали оперяться зеленым, первая трава уже пробилась. В воздухе свежо, молодо. Я снял танкошлем, положил на колени...

Гвардии майор Перетяга появился неожиданно, часовой едва успел поприветствовать его. И я вскочил со ступеньки.

— Снежков? — строго спросил майор.

— Так точно, гвардии старший сержант, товарищ гвардии майор.

Майор как-то нехорошо улыбнулся, словно слово «гвардия» кольнуло его. Сегодня он в шинели, по всей форме, при погонах. Запомнилось, наверное: «рыба тухнет с головы», что ему вчера сказали.

— Почему не снял волосы? — словно оправившись от внутреннего раздражения или пытаясь скрыть его нарочитой строгостью, спросил майор.

— Меня на «губу» отправили. А на «губе» парикмахеров нет, товарищ гвардии майор.

Перетягу опять дернуло, казалось, он забыл, что посадил меня под арест и ему так некстати напомнили об этом. Ничего не сказав, он прошел в штаб. Вскоре

прибежал санинструктор Иванов, его обязанностью было стричь рядовых и сержантов.

— Из-за тебя хозяин вызывает. Посадит и меня.

— Ничего. В нашем полку прибудет, — смеясь, говорю я санинструктору и указываю на подвал. Я прошел за Ивановым в вестибюль. Из полуоткрытой двери одного из кабинетов доносился голос майора Перетяги:

— Оформите приказ на Снежкова. В штрафную роту. Не выполнил приказа в боевой обстановке, отстал от части... Пишите!

— Я не понимаю вас, товарищ гвардии майор. — Это говорил капитан Федоров. — Гвардии старший сержант три года на передовых. Исполнителен, самоотвержен. Отлично справлялся с должностью офицера. За образцовое выполнение задания представлен к награде. И штрафная?

— Товарищ капитан. Я хозяин в части. Выполняйте приказ.

— Товарищ гвардии майор, я прошу...

Резко скрипнул стул, видимо, Федоров поднялся, голос его зазвенел.

— Этого делать нельзя. Это позор для гвардии!

— Гвардии? Вы, товарищ капитан...

— Гвардии капитан! — вставил Федоров.

— Хорошо. Гвардии капитан. Вы считаете нормальным расхлябанность? Люди отвыкли от формы, офицеры заражены панибратством... — И вдруг Перетяга словно захлебнулся, замолчал.

Санинструктор Иванов глянул на меня, расправил гимнастерку под поясом и вошел в кабинет.

— Товарищ гвардии майор, по вашему приказанию явился... — Иванов, как говорят, ел начальство глазами. Федоров даже прикусил губу и лицо его дернулось, губа болела, он ее прокусил, целясь в «тигра» в бою у ратуши.

— Почему не остригли Снежкова?

— Никак не мог, товарищ гвардии майор. Старшего сержанта сразу же увели на «губу».

— Остричь и доложить мне.

— Есть остричь и доложить!

— Пусть сам лично доложит!

— Есть, чтоб сам лично.

Иванов ухватил меня за руку и потянул за собой

к санлетучке. Вооружившись машинкой, подступил ко мне:

— Подставляй, герой, буйну голову. Да помни присказку: он гордо голову носил, потому и не сносил. Волосы я тебе сниму, конечно, а голова останется. Считай, что я тебя спас. Вижу, капитан с майором на таран сходятся. Я и разрядил обстановку.

— На то ты и санинструктор! — говорю я.

— А насчет штрафной. Тоже в горячке. В штрафную через трибунал мобилизуют. А за что тебя? За волосы? Так мы эти волосы — мигом!

Под ноги мне падали русые валки волос. Обидно, но не плакать же. Я шмыгнул носом.

— Ты чего? — встревоженно спросил Иванов.

— Волосы за шиворот попали, колются.

— А я подумал в нос. Вот и готово. Кругл, как шар земной!

Танкошлем стал мне велик, полез на глаза. Поверну голову, а шлем на месте, верчусь в нем, словно ось в колесе.

Откуда-то с Балтики — море-то рядом — нагнало туч. Пошел накрапывать холодный, как острые льдинки, дождь. Я переходил площадку у здания штаба, на «губу» торопился и здесь увидел комбата. Смерив глазами расстояние, за пять шагов перешел на строевой, не доходя трех, остановился, рука — у налобника танкошлема.

— Товарищ гвардии майор, ваше приказание выполнено!

— Снять шлем.

Я сорвал с головы шлем. Колкие дождинки падали на меня, я невольно поежился, сыро стало на душе, невыносимо муторно. Капал и капал дождь.

— Надень шлем-то, моросит ведь. На складе получи обмундирование и чтобы больше ни-ни. Иди.

— Товарищ гвардии майор, разрешите. — Я все еще стоял с непокрытой головой. — Направьте меня в экипаж...

— Учту! — Майор хотел повернуться и уйти от меня, не по-уставному бы это получилось, но уйти ни ему, ни мне не пришлось. К штабу подкатил вездеход Стрельцова. Из машины вышел подполковник, за ним майор Пименов. Стрельцов шел, стараясь не прихрамывать.

— Товарищ гвардии подполковник, второй танковый батальон занимается по распорядку дня. Командир гвардии майор Перетяга.

— Вольно, майор. Здравствуй, — подполковник пожал руку майора и увидел меня. — Снежок, ты? Жив?

— Так точно, товарищ гвардии подполковник! — вскинулся я, забыв сразу обо всех обидах и треволнениях.

Подполковник повернулся к Пименову:

— Как же так, комиссар? А?

— Чего не бывает на фронте. Мотоцикл его нашли в кювете. Мне доложили. Я знал, при каких обстоятельствах Снежков выехал в бригаду. Вот и посчитали погибшим его и мотоциклиста...

— Не могли связаться с батальоном. Эх, комиссар, — Стрельцов еще по старинке называл замполита комиссаром.

— Связывались, Евгений Александрович. Ответили, что не вернулись с боевого задания...

Комбриг повернулся ко мне. Танкошлем наушником пришелся мне на лоб.

— Шлем, что ли, велик? Или в боях похудел? — глаза Евгения Александровича смеялись, из-под околыша фуражки, черного как смоль, выбились седые пряди. «Следы последнего боя», — мелькнула у меня мысль.

— Да нет, товарищ гвардии подполковник, — ответил я как можно бодрее. — Не похудел я. И шлем все тот. Да остричься пришлось...

— Что так? Форма двадцать?

— Да нет, — я глянул на Перетягу, на Пименова посмотрел. — Осколком мне макушку задело. Медики остригли.

— А! Ну, а голова-то не болит?

— В порядке, товарищ гвардии подполковник, как в танковых частях. На мне, как на собаке.

— Товарищ гвардии подполковник, — козырнул Перетяга. — Снежков просится в экипаж!

Комбриг задумчивым взглядом посмотрел на меня, вспомнил, должно быть, Зорьку и тихо сказал:

— Надо учесть. Представьте Снежкова к званию лейтенанта. Ну, пройдемте к вам, — и подполковник направился мимо приветствующего его часового в здание.

Майор Перетяга чуть поотстал, подозвал караульного и что-то ему сказал. Тот круто повернулся и побежал на гауптвахту. Через пару минут из подвала высыпали товарищи. Гауптвахта прекратила свое существование.

В тот же день я видел в офицерской столовой — специальной палатке — наших командиров. У майора Перетяги рядом со старыми орденами празднично сиял новенький орден Боевого Красного Знамени, а у Федорова — орден Ленина. Гвардии майор был весел, оживленно рассказывал о чем-то офицерам, а те смеялись.

Дня через три батальон подняли по тревоге. Построили буквой «П» тылом к боевым машинам. В центре — стол, покрытый красным. Вынесли и развернули гвардейское знамя. У древка его застыли часовые с автоматами. От плеча до плеча — ордена и медали у автоматчиков. И на знамени в верхней части его поблескивают ордена Невского и Суворова.

Офицеры штаба позади стола. Капитан Федоров зачитал приказ Верховного Главнокомандующего. Нас благодарили за взятие города. Федоров, после того как батальон проскандировал: «Служим Советскому Союзу» — развернул приказ о награждении личного состава. Названный выходил из строя. Гвардии майор Перетяга, подтянуто-торжественный, вручал награды.

Медаль «За отвагу» зазвякала о медаль «За боевые заслуги» на груди рядового Виктора Скворцова. Он шел в строй и, не в силах сдержать внезапно хлынувшую радость, улыбался. Глаза блестят, нос задорно кверху.

— Гвардии старший сержант...

Я слышу свою фамилию и дальше глухо: «Награждается орденом «Красная Звезда»!»

Ноги наливаются тяжестью, я не впервые получаю награду, но после ареста, унизительной стрижки как-то все это не так. Федоров взглядом бодрит меня. Я подхожу к столу.

— Кругом! — командует Перетяга. — Смирно!

Теперь я стою лицом к своим боевым товарищам. Голос майора чеканит:

— За невыполнение приказа командира в условиях фронта...

Батальон шмелино загудел, задвигался. Капитан Федоров опустил листы приказа. Майор Перетяга на

мгновение смолк. Я услышал, как бьется собственное сердце. А гвардии майор продолжил еще громче:

— За то, что бросил мотоцикл и отстал от части... — Тут Перетяга словно осекся. Встали, наверное, перед глазами пылающие танки и самоходки, вверенные ему, а может, увидел и самого себя на матрасе в каземате старой ратуши.

— Учитывая боевые заслуги, — оправившись, продолжал майор, — ограничиваюсь замечанием, — и уже безо всякой важности бросил в гнетущую тишину: — Становись в строй. Марш!

— Есть! — отвечаю четко, как будто ничего не случилось, подхожу к строю, чувствую на себе взгляды всего строя, поворачиваюсь на месте и замираю.

Федоров читает приказ. Перетяга вручает ордена и медали, но больше уже никого «не ограничивает». Нет и прежней торжественности. Люди словно обвяли, как первые листья, прихваченные утренником.

И вот сегодня снова в бой. Рассветало. В триплексе просматривается широкое поле, бледно-зеленое от пробившихся травинок, под гусеницы плывут голубоватые огоньки подснежников. До самого окоема никаких признаков противника.

— Струсил, гад. Отступил вовремя! — слышу я собственный голос в шлемофонах.

Глава третья

Броневездеход гвардии подполковника Стрельцова сунулся на гребень и, резко затормозив, остановился.

На пологом склоне метров на сто книзу застыли четыре танка. Мой — головной бригады, и три «пантеры». Одна — пушкой в борт нашей, другие две — кормами.

У «тридцатьчетверки» пробита моторная часть. Она еще дымится. Танкисты возятся у рваной по краям пробоины. Рядом валяются красные баллоны разряженных огнетушителей, белая пена которых застыла оспинами на черной броне и катках. Пламя сбили, но что-то еще тлеет или просто угарит неостывший дизель.

«Пантеры» замерли, выкинув позади себя высеребренные катками гусеницы. Люки открыты. Неподалеку от машин в сажени друг от друга уткнулись в моло-

денькую траву трупы немцев в черных мундирах. Кажется, скомандуй — и двинутся они по-пластунски по этой самой мартовской траве.

Весь склон перепахан гусеницами, следы наших траков — поверх фашистских. Бой скатился в лощину. Гремит, завывая утробно, у самого шоссе, что словно прячется за стволами столетних каштанов. Немцы поспешно отходят на задних скоростях, лупят бесприцельно, похоже — заманивают.

Я подхожу к вездеходу, хочу доложить и не могу. Молча прислоняюсь плечом к броне. Ломит раненую руку. Вот, черт, не повезло.

Гвардии подполковник поднимает бинокль, приглядывается и замечает на дороге укрытие за стволами деревьев коробки «фердинандов». А гвардейцы идут на полном газу, из впадин им не видно, что там на дороге. Сейчас немцы свернут вдоль шоссе, а «тридцатьчетверки» за ними, значит, подставят свои борта «фердинандам».

— Засада. Танкам отойти к высоте. Поврежденных машин не бросать, — диктует комбриг радиограмму. На гребень, так что вся высота вздрагивает, выкарабкиваются тяжелые СУ-152.

— Товарищ подполковник, батарея...

— Огонь по «фердинандам» на шоссе, — обрывает Стрельцов рапорт комбата.

— Есть! — отвечает тот и бежит к самоходкам, левой рукой придерживая планшет.

Чуть ли не разом по-медвежьи ухнули тяжелые, тупорылые орудия. И не успела эхом отозваться даль, столбы земли и пламени взметнулись на шоссе, кувыркаясь в небе, полетели, словно горящие спички, прямоствольные каштаны. «Фердинанды» попятились, прячась за полотно дороги. Гвардейцы увеличили прицел.

Задним ходом, словно раки, грозя друг другу стволами орудий, расползались наши танки и немецкие. Боль в руке все сильнее, стараясь не потерять сознания, забираюсь в люльку мотоцикла. Подниминоги отправляет меня в санбат. Что делать? Подчиняюсь.

* * *

Бригада еще до этого боя больше чем наполовину стала самоходно-артиллерийской, а не танковой. Побитые и полусгоревшие машины из ремонта возвраща-

лись редко. Не успевали их «подлечивать», а потери в стремительных боях были велики. Бригаду, чтобы она не потеряла боеспособность, пополняли новенькими самоходками с дальнобойными скорострельными пушками разных калибров.

Боевые танковые порядки вытеснялись артиллерийскими, строго уставными. Самоходчики — люди из полковых школ и училищ, дисциплина у них довоенного уровня. Попробуй обратись не по званию к командиру артустановки — так пиши пропало, без взыскания не обойтись. Танкисты из молодежи к такому не привыкли, а «старички» в передрягах фронтовых давно отучились от формальностей. Даже офицеры-танкисты среди самоходчиков чувствовали себя, как говорят, не в своей тарелке.

— Гвардии старший лейтенант, командир четвертой батареи... — представился комбат-артиллерист.

— Какой батареи? Что за батарея? — возмущался офицер-танкист. «Боги войны» имели свою гордость и не сдавались.

— Четвертой батареи.

— Не батареи, а роты!

— Нет, батареи!

Танкистов в бригаде все же больше. На самоходные орудия попадали они из госпиталей, с подбитых танков. Шли на САУ с великой неохотой, как на вынужденную посадку. Путались танковые команды с артиллерийскими, танковая тактика — с самоходной. Танкисты расчет вели на ближний бой, самоходчики избегали его, предпочитали дальний или с закрытых позиций, ссылаясь на тяжесть брони и малую скорость.

Гвардии подполковнику Стрельцову стали поступать рапорты с жалобами, больше от самоходчиков...

Евгений Александрович своего «комиссара» гвардии майора Пименова не упрекал — не можешь, мол, сдружить пополнение с ветеранами бригады. Подполковник пригласил командира к себе в штабной автобус и просто спросил своего замполита:

— Что будем делать, Иннокентий Фролович?

Долго размышлять времени не было — бригада вела бои. Не все артиллеристы жалуются. Кое-кто таит обиду, другой уживается с ней, и все же она нет-нет да при случае и даст о себе знать. Подтачивает в человеке боевой дух.

— Некоторые офицеры, — говорил Пименов, — я имею в виду и танкистов и самоходчиков, думают, что они командуют пушками, танками, пулеметами.

— И что же? Не правы офицеры? — Стрельцов прищурился, словно хотел навести своего замполита на определенную мысль. Ведь дело не в том, чтобы помирить двух или трех человек, надо сплотить всю бригаду, развязать, а не разрубить гордиев узел.

Пименов улыбнулся, должно быть, понял взгляд комбрига.

— Так вот, — говорил он, — догнал я на днях разведку на марше. Впереди горящая деревня, немецкая батарея гвоздит откуда-то, на обочинах рвутся снаряды. Разведчики стоят. Подхожу, не замеченный ими, к самоходке, у которой столпились люди, и слышу лейтенанта Снежкова...

«Это про меня!» — настораживаюсь я.

Стрельцов достал пачку «Беломора», закурил, глубоко затянулся, о случае в разведке он знает из рапорта командира артустановки Швецова. Помню, как это было:

— Почему, Швец, отстаешь? — спрашиваю.

— Я не танк, а пушка! — отвечает Швецов.

— Не пушка ты, а хлопушка!

— Я?

— Ты и все твои! Я в бой ввязался, батарею смять надо наскоком, за нами бригада идет. А ты отстал и с «закрытых» в белый свет, как в копеечку, хлопаешь...

— Я — трус? — лейтенат Швецов схватился за пистолет...

— Только где там, — рассказывает сейчас Пименов, — десантники Снежкова, сержант Прончатый и рядовой Агафонов, обезоружили Швецова. «Да, так было», — думаю я. Тогда я прыгнул в башню и повел самоходки в танковую атаку на помощь «тридцатьчетверкам».

— Так, Снежков? — обратился ко мне Пименов.

— Так точно, товарищ гвардии майор! — подтвердил я и подумал: «К чему это он клонит?»

— После боя хотел я отстранить от командования обоих лейтенантов, — продолжал замполит, — хотя и смяли они батарею и путь бригаде расчистили. Снежков нарушил устав, но ему нужна была стремительная поддержка, а не огонь издалека. Выходит, прав. Прав

и Швецов, он действовал согласно тактике самоходно-артиллерийских установок.

— Ясно, — протянул Стрельцов и, затушив папиросу о каблук сапога, кинул окурок прямо на пол. Вспомнил, должно быть, что гвардии майор Перетяга намеревался пустить даже тяжелые самоходки в танковых порядках. Комбриг мог отменить приказание командира, «распушить» Перетягу за нарушение устава самоходчиков. Взъерошился бы и майор, чего доброго, рапорт высшему командованию написал.

Евгений Александрович поступил проще, он попросил у гвардии майора тяжелые самоходки себе в резерв. И никто рапортов не писал, обиженных нет.

Пименов продолжал:

— Достоинство советского воина война подняла высоко. Человек с оружием в руках — сам себе генерал. Честь его надо уважать, как свою собственную!

«Черт возьми, — подумал я, — как здорово сказано!»

Иннокентий Фролович словно угадал мои мысли.

— Ребята погорячились. Снежков уверен в своей правоте, а Швецов не совсем. Виноватым-то кому быть хочется. Надо бы написать в рапорте, как было дело, а он обрисовал, как должно быть по-уставному. Во главу возвел оскорбление: меня, мол, трусом обозвали, а я по уставу действовал. Об исходе боя он умолчал. Мысли об этом разлетелись, так сказать. Он оскорбился, выходит, как самоходчик, пушка, а не человек. Вот почему те офицеры, которые думают, что они командуют орудиями, танками, пулеметами, не правы. Вы не хуже меня понимаете, Евгений Александрович, что командовать можно людьми, только людьми. Нельзя забывать главное в человеке — человечность. Посрамленная, она мстит за себя, рождает рознь между людьми, которая подтачивает уверенность в общем деле, в успехе его.

— Спасибо, Иннокентий Фролович дельно мыслишь. — Стрельцов встал с сиденья, уперся руками в стол. — Но что делать? Между танкистами и батарейцами артдивизиона подобных споров не возникало? Нет. Вывод? Как это у Крылова?

— Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду? Вы об этом, Евгений Александрович?

— Вот именно, Иннокентий Фролович, чтобы не

оставался «воз поныне там», расставим силы по местам!

Тогда-то в нашей бригаде самоходки были сведены в отдельный артполк, а танковые батальоны стали чисто танковыми. Командиром полка назначили гвардии майора Перетягу.

— Вы, Николай Остапович, — объяснил свое решение гвардии подполковник, — отлично использовали самоходные орудия. Помните бой у ратуши? При надобности будем придавать танкам батареи артустановок.

— Я слушаюсь, — не очень-то бодро сказал Перетяга, еще не понимая, повышение это или понижение.

Обо всем этом я вспомнил по дороге в санбат.

Действительно, самоходки — не танки, и применять их надо умеючи. Сегодняшний бой — доказательство этому.

Глава четвертая

«Здравствуй, мама!

Я уже лейтенант. Высылаю аттестат. Я знаю, как тебе трудно, хотя ты не пишешь об этом. Ведь не я один получаю письма. Мамы и жены разные. Одни такие, как ты, а другие слезно жалуются, все боли свои на бумагу перекладывают. Зачастую письма читаем сообща, поэтому знаем, как там, по всей стране.

На голодный желудок не повоюешь и не поработаешь. Исхудали, должно быть, Милка с Вовкой, они ведь растут. Да и ты, наверное, сдала. С аттестатом полегчает малость. Писала ты, что дядя Ваня без руки вернулся, продал все свое барахлишко, да еще подзанял — не хватало, и лошадь купил, к родственникам жены в Киндяково уехал, единоличником стал, с учетом, что с инвалидов войны налогов не берут... Как он там? Ведь токарем был? Не одумался?

За что, думаешь, мне звание лейтенанта присвоили? И сам толком не знаю. Длительное время я занимал должность офицера. Помнишь Зорьку, мама? Ту, что письма тебе обо мне писала. Она погибла, нелепо погибла, глупо. Была офицером связи, ехала ночью на мотоцикле с донесением. Один из наших, трус, испу-

гался, за немца принял ее, бросил гранату да еще из автомата прошил.

Расстреляли его. Да что толку. Мертвых не воскресишь, а трусов не поубавишь. Жалко Зорьку, ой, как жалко. Ее Зоей, как и тебя, мама, звали. Выручала она меня не раз. И раненного еще под Москвой из-под огня вытащила, а потом контуженного из горящего танка. Считай, на себе по земле волокла. Опоздай она на минуту — и все, танк-то взорвался...

Я думал, все это так — боевая дружба. Я бы ее тоже в беде не бросил, солдатский долг. Мне дневник Зорьки передали, именной пистолет, отца ее, погибшего пограничника. Почему, думаю, мне? А как прочел, понял — любила она меня, оказывается.

Тогда и заступил я на Зорькину должность. Ничего. Справлялся. Писали мне, что Юра (помнишь, моряк, что заходил к нам?) погиб где-то на Дунае. А Веня Шурин на фронт ушел, это тот, что каптером в штабе округа служил. Выходит, и у него совесть заговорила? Может, ты что слышала о других ребятах?

Мне пишут редко. Заботы, наверное, мешают. У каждого — свои. Да, получил орден Красной Звезды. Это еще до присвоения звания.

В общем, со службой все в порядке. Заявление в партию подал.

Порассказать мне есть о чем. Вот кончится война, расскажу, в письме обо всем нельзя.

Ну, до свидания, мама. Целую. Поцелуй за меня малых.

Остаюсь в добром здравии ваш сын гвардии лейтенант танковых войск А. Снежков.

25-го марта 1945 года. Германия.

P. S. Высылаю фотокарточку, что еще в прошлом письме обещал. Посмотрите, какую морду наел. Кормят от пуза. Глянете и не узнаете. Фотокарточку наш полковой фотограф делал. На ней я еще старший сержант. Некогда было проявлять да печатать, наступаем.

Еще раз целую и обнимаю А. Снежков».

Письмо я закончил, сложил треугольником, адрес написал, а мысленно продолжаю его, словно с матерью глаз на глаз беседую. Ребята живы, пострадал только я, и то пустяки. Завтра же буду в бригаде. На танк меня, наверное, не посадят. И потому — что в первом же бою, будучи командиром танка, машину потерял, а

больше потому, что рука-то у меня на перевязи. Опять, наверное, назначат офицером связи при штабе. Теперь уже на полном основании по званию, а не за то, что грамотный.

Ну, вот, мама, кажется, и все. Врач начинает обход. Многие в строй просятся. Отказывает врач. Ныне, говорит, не сорок первый год или сорок второй. Людей беречь надобно. Нужны люди России не только для ратного дела.

Он добрый, наш врач. Старый, но добрый. С усами, серыми от седины. С выпиской строг старик. Значит, и мне проситься в часть нет смысла, не отпустит. Скажет: «Отвоевался и радуйся, что легко».

Я все же попрошусь, попытка — не пытка. И на душе греха не будет, когда сбегу, — ведь я добром просился. Так-то вот, товарищ гвардии главный врач, сбегу.

* * *

Я действительно сбежал. Старшина Подниминоги ввел меня в курс дела. Рассказывая о «пантерах», посмеивался:

— «Пантера», значит, саданула нас в упор, как только выскочили на гривку. Но и сама развернуться не успела. Сергей як вдарит. Фрицы — люки настежь и деру. Мы, чую, горим, а Сергей все лущит и лущит. Эти вот, две — вспять, Сергей — по гусеницам. А тут и наши из-за бугра скопом. Вот так, товарищ гвардии подполковник, — докладывал я комбригу.

— Почему ты докладываешь? Куда Снежков девался, я только видел его? — Стрельцов направился к подбитому танку. Я за ним.

— Лейтенанта, Евгений Александрович, — говорю, — задело трошки. В левую руку. Кость вроде бы цела. В санбат его на мотоцикле отправил. Мотоциклист, что приказ на атаку привез, может, помните, Скворцов? Так вот он, бисов сын, за нашим танком на «харлее давидсоне» увязался. Он и увез Антона да еще одного десантника, ногу тому задело.

— Помню, как не помнить. Медаль ему свою отдал. Легко, говоришь, ранен лейтенант? А как же он машину покинул? Не в его характере такое.

— Я ему в порядке партдисциплины приказал. Он перед боем... заявление...

— Знаю. Сам рекомендовал. Молодцы. Высоту с ходу взяли и засаду сбили. Молодцы, ничего не скажешь.

— Скорость. Она все решила, — говорю. — Даже «пантеры» к нам пристреляться не сумели.

А про Серегу сказал:

— Скалов, он, бисов сын, что твоя скорострельная пушка.

— Евгений Александрович, — к Стрельцову тут подошел зампотех инженер-капитан Кузьмин, — вашу «тридцатьчетверку» придется на СПАМ[1]. Двигатель менять надо. А «пантеры» целехоньки. Немцы успели проводку порвать. В башнях кое-что покорежили. А гусеницы — плевое дело. Снарядов — полная боеукладка. Если разрешите, мы их «подлечим» — и в строй. А? Евгений Александрович, сам знаешь, не из тех, что ценят только себя, замполитов называют идейными, а техников — жестянщиками. Гвардии подполковник — кадровый танкист. В первую очередь у него забота о технике. Выдался малый передых в бою или на марше, сразу же команда: «Осмотреть матчасть!»— рассказывает старшина. Да я и сам знаю: в бригаде устраняли даже тяжелые повреждения всех родов оружия.

— На СПАМ пошлешь и хрен концы найдешь, — говорил Стрельцов своему зампотеху, когда тот прибыл в бригаду. — Организуйте, инженер-капитан, ремонт на месте. Отдельная тяжелосамоходная танковая бригада прорыва должна иметь такую роту техобеспечения.

Старшина продолжал:

— Послушал Стрельцов Кузьмина, «пантеры» оглядел. Пригодятся. Бедному вору все впору, — и обратился ко мне: — Сколько под тобой машин сгорело?

— За последний год — три, товарищ гвардии подполковник.

— А знаешь, сколько в бригаде танков на ходу?

— Как не знать. Все больше восстановленные да самоходки. Давненько не пополнялись техникой.

— Поэтому, старшина, придется тебе дрессировать «пантер». Врачуй их вместе с ремонтниками. И води в

---

[1] СПАМ — сборный пункт аварийных машин.

бой. Бей немцев немецкими, да так, чтоб тошно им стало!

— Есть, чтоб тошно стало, — говорю.

— Кузьмин, срочно проверьте и доложите, сколько машин в строю. Подбитые восстановить. На СПАМ пойдут только «безвозвратные». И с них снимите, что пригодится. Сактируйте, как потери в бою. Помощи тыла ждать недосуг.

— А как быть с вашей? У нас нет дизелей?

— Решайте сами. А я... Да вы знаете, что бы я хотел, — ответил комбриг.

На каких гробах не воевал. С легких у Бреста начинал. А теперь вот, дивуйся, на «пантеры» пересел. Глядишь, ближе к Берлину и «тигра» заседлаем.

— Ну ладно, Иван... Пойду к комбригу. Может, и прогонит.

— Не дрейфь, — батя не выдаст.

Я втискался в штабной автобус, встал у порога. Дальше не пройти. У Стрельцова собрались командиры частей. Меня вроде бы никто и не замечает. Понимаю, не до меня им сейчас. Стою, жду подходящего момента.

За столом, устало откинувшись спиной к кабине водителя, — гвардии подполковник, поседевшие волосы упали на лоб, рядом начальник штаба, перед ним видавшая виды карта. Гвардии капитан Федоров слушает доклады прибывающих в штаб командиров и делает пометки на карте.

— Прилегли бы, Евгений Александрович, — предлагает он комбригу.

— Я засну, а за мной и остальные? Нет, так дело, капитан, не пойдет. Вот кончится война, за весь недосып как завалимся! — Стрельцов встряхивается, прячет волосы под форменную с бархатным околышем фуражку. Входит инженер-капитан Кузьмин и докладывает о потерях матчасти. Комбриг, закусив нижнюю губу снежно сверкнувшими зубами, сокрушенно покачал головой:

— Мало танков осталось. Ой как мало. А приказ выполнять не Яшке Шамардину, а нам...

Кто такой Яшка Шамардин, никто не знал, а гвардии подполковник упоминал его часто. Поначалу думали, что есть такой всесильный командир, который любое задание выполнить может, а потом поняли —

никакого Шамардина нет. Некоторые командиры, распекая своих подчиненных, говорили, что, мол, я за вас буду делать или Александр Сергеевич Пушкин?

Стрельцов Пушкина в подобные дела не вмешивал, у него на такие случаи привлекался несуществующий Яшка Шамардин. И действовало. На офицеров и рядовых.

— И куда этот приданный батальон усиления запропастился? — продолжает комбриг, оглядывая офицеров, словно по лицам, лучше чем по рапортам, можно узнать настроение. В штабном автобусе тесно, но все молчат. Никто не может ответить на вопрос гвардии подполковника. Гвардии майор Перетяга не выдерживает:

— И на кой хрен он нам сдался?

— Это как же так, Николай Остапович? Там же люди! Боевая единица!

Батальон американских танков МЗС в том бою, когда меня ранило, шел головным впереди боевых порядков бригады. Оторвался и словно в воду канул. На склонах высоты — ни одного подбитого «американца». Может быть, «шерманы» прорвались в город, каким-то чудом миновав засаду немцев на высоте и шоссе? А может быть, немцы умышленно пропустили батальон, добьем, мол, после, а с начала расправимся с русскими танками? Фашисты отлично знают боевые способности высоких, с узкими гусеницами американских машин типа МЗС. Игра стоит свеч.

Еще в канун зимнего наступления на одном из участков дороги почти все танки этой конструкции оказались в кюветах.

— Как вас угораздило? — спросил тогда комбриг комбата.

— И не говорите, товарищ гвардии подполковник,— с отчаянием в голосе ответил комбат. — За какие грехи нам достались эти калеки? На них только на парады ходить. А тут война. Здорово нам союзнички помогли...

Стрельцов тогда посоветовал рубить перед гусеницами наледь и подложить под них «самовытаскиватели» хотя бы из тросов. Иначе без тягачей не обойтись.

Про эти «шерманы», а по-солдатски просто «шарманки», сложили танкисты куплеты:

Америка России
Подарила ЭМ-ЗЭ-ЭС —
Шуму много,
Толку мало,
Ростом до небес.

И вот в последнем бою батальон «американцев» ушел в неизвестность.

— Эх, «генерал шерман», — с горькой иронией произнес Стрельцов, — и куда ты запропастился, бедолага?

— Товарищ гвардии подполковник, — начал я, вытягиваясь в струнку. Голос дрожал и от радости, что вернулся в часть, и от затаенного страха: как еще посмотрит Стрельцов на мой побег из госпиталя. И за подбитый танк ответ мне держать, а не мифическому Яшке Шамардину.

— Явился? — перебил рапорт комбриг, хватая меня цепким взглядом всего сразу, с головы до пят. — Целехонек? Можно думать, в санчасть удрал, чтобы за бой не отвечать? — подполковник посмотрел на Федорова. — Как думаешь, гвардии капитан?

Начальник штаба кивнул на гвардии майора Пименова:

— Комиссарское дело. Пусть разбирается.

Иннокентий Фролович «разбираться» не стал, он подошел ко мне и протянул руку. Я, немного удивившись, несмело взял и крепко пожал ее здоровой правой. Пименовская ладонь стиснула мою. Я сразу успокоился. Переменился и Стрельцов, сбросил с лица (уж я-то знал наверное) нарочито напущенную суровость. Знал и все же боялся, как всякий в чем-то провинившийся.

— Кстати вернулся, Антон. Танков у нас мало. Будешь при мне, — и почему-то строго глянул на Пименова и Федорова. — Ну так вот. Иди ближе, — подполковник пригласил меня к карте, вынутой из планшета и разложенной на столе. Я узнал потрепанную, видавшую виды карту комбрига. — Изучай обстановку.

* * *

Бригада с большими потерями вырвалась на оперативный простор, попала в засаду, сбила ее, но вынуждена была остановиться. Что впереди — неизвестно. Вторую засаду «фердинандов» случайно избежали. Ба-

тальон «американцев» или заплутался, или... Черт знает что за этим «или». Соседи справа и слева — отстали. Ждать? А немец тем временем подтянет силы и контратакует. По морю в город перебрасываются войска, снаряжение, боеприпасы. Сопротивление противника не ослабевает, а нарастает. Впереди не просто город, а город-крепость, обнесенный старинным валом и каменной стеной. Перед древними укреплениями — целая система современной обороны, на господствующих высотах — доты и дзоты. Основные магистрали, ведущие к городу, простреливаются дальнобойной артиллерией кораблей, дрейфующих в заливе. Хорошо, что авиацию немцев подавили, пожгли на аэродромах. Чисто в небе — и на душе радостней.

С трех направлений подкатываются войска к городу: с востока, с запада и юга. Отстанет хотя бы одно направление, затянется операция.

Уже десять дней идет штурм обороны противника, расчеты на быстрое преодоление ее не оправдались. А начинали успешно.

Командир корпуса вызвал командиров частей и подразделений.

— Командующий фронтом приказал взять Штольп, срок — сутки. Приступаем к выполнению задания...

Танки прошли через боевые порядки пехоты, обогнали ее и скрыто по лесным дорогам подобрались к этому Штольпу. Атаковали с флангов и тыла. Танки так ошеломили врага, что тот уже не мог по-настоящему сопротивляться — и капитулировал.

Танкисты, передав город, трофеи и пленных подошедшей пехоте, устремились на восток, рассеивая и уничтожая колонны немцев, двигавшихся с севера и юго-востока.

Передовые отряды танков с десантниками на броне, выдвинутые далеко вперед, обходными маневрами захватывали мосты, опорные пункты и удерживали их до подхода основных частей. И снова вперед. Противник поспешно отводил свои войска, прикрываясь сильными заслонами, пытался оторваться от танкистов, чтобы успеть занять своими главными силами заранее подготовленный укрепрайон, затем остановить наших и сковать на длительное время. В какой-то мере это ему удается.

«Вот остановил Стрельцов свою бригаду, — поду-

мал я, — и соседи — где-то замешкались. Да и немудрено». — Мысленно оглядываюсь на путь, пройденный за эти десять дней марта. Отступая, немцы минируют и разрушают дороги, взрывают плотины водохранилищ, затопляя целые районы. Дороги загромождены брошенным военным снаряжением, разбитой техникой.

Шоссе и проселки забиты обезумевшими людьми — беженцами со всем домашним скарбом, колясками с детьми, цепляющимися за подолы матерей. Наслушавшись о «зверствах» советских солдат, люди бежали целыми семьями куда глаза глядят — одни на запад, другие на восток. А потом, убедившись, что никто их не трогает, успокоенные, радостные, лавинами запружая все пути, хлынули они теперь уже в обратные стороны: что на восток бежали, стали пробираться на запад, а те, что на запад стремились, поползли на восток.

Перед таким препятствием поневоле остановишься, а то и уступишь дорогу, а время не ждет.

* * *

Гвардии подполковик еще раз оглядел своих помощников:

— Вслепую не воевал. Избавь бог. Пусть Яшка Шамардин воюет. — Командиры улыбнулись. — Вышлем вперед усиленную разведку. А каким образом — подумаем. Подойдут соседи справа и слева, да и главные силы подтянутся. Вместе и навалимся на немцев. Так-то оно вернее. Пименов, — обратился комбриг к замполиту, — разъясните в ротах и батареях, что и как. Пусть весь наш политический корпус работает. Федоров, — повернулся к начальнику штаба: — Налаживайте связь с соседями, запросите обстановку, передайте нашу. — И к зампотеху: — Как там с «пантерами»? Успеют подлечить? Могут пригодиться.

— Приказано, — уверенно ответил Кузьмин. — Я сам прослежу.

— Постарайтесь. Начальник разведки! Старший лейтенант Быстров! Вы что, уснули? Останьтесь.

— Есть остаться, — бодрясь, ответил гвардии старший лейтенант и, поднявшись со скамьи, подошел к столу.

— Товарищи командиры, готовьте людей, технику к бою. О готовности докладывайте в штаб, капитану, — и кивнул на Федорова, а потом легким взмахом руки

остановил майора Перетягу. — Вы действовали отлично, особенно тяжелые самоходки. Берегите их. Самоходки не танки, ближний бой им заказан.

— Я понял вас, Евгений Александрович. Да ведь танков осталось...

— Знаю. Не стоит лишний раз теребить, — Стрельцов похлопал себя по левой стороне груди. — Самоходки пригодятся нам. Идите.

— Есть! — Перетяга медленно поднес руку к козырьку и грузно шагнул к раскрытой двери автобуса.

— Присаживайтесь, гвардии старший лейтенант,— пригласил Стрельцов начальника разведки к столу. — Где ваша карта? — Быстров раскрыл свой планшет, вынул сложенную гармошкой карту.

— Вот, смотрите и отмечайте у себя. Булыжное шоссе, слева стоим мы. На склоне вот этой высоты. Отметили?

— Да.

— Ты, Снежков, тоже слушай. Есть и для тебя задача. А справа от шоссе — заболоченная низина, которая, видите, тянется до железнодорожного моста, значит, и за мостом — низина. Насыпь является как бы валом, за насыпью возможна очередная танковая или артиллерийская засада. Мы должны знать, что там. Слушайте дальше. Дорога связывает один порт с другим, по ней возможна переброска войск, на ней может появиться бронепоезд. С этой насыпи уже видны предместья порта. Значит?

— Надо разведать и, если это так, постараться захватить и мост и дорогу.

— Правильно, Петр Сергеевич. Но этого мало. Надо проникнуть если не в сам город, то в предместья. Выяснить, что и как там. Где доты, бронеколпаки, пушки. Штурм не завтра, так послезавтра. Это наше направление, — Стрельцов провел карандашом по карте, — и никто нам его не изменит. Бригада должна знать, что ее ждет впереди, хотя бы наполовину.

— Ясно, товарищ гвардии подполковник. У нас есть трофейный бронетранспортер, немецкие мундиры. Небольшой маскарад...

— Только не мушкетерствовать, — предупредил Стрельцов. Быстров хорошо владел немецким языком и частенько под видом гитлеровского офицера выполнял поручения, требующие большой отваги и мужест-

ва. Лихость могла повредить, потому и предостерегал комбриг молодого командира. Однажды Быстров со своими разведчиками, переодевшись, сняли фашистских регулировщиков и повернули колонну танков по другой дороге, где ждали их в засаде советские танки. Быстров, пропустив колонну, вскочил на замыкающий танк, захватил его и, когда начался бой, открыл огонь в хвост колонне. Хорошо, что захват танка прошел удачно, а если разведчики не сумели бы этого сделать? И немцы обнаружили их? Свернули бы на прежнюю дорогу и приготовились к бою. Хорошо продуманная операция сорвалась бы. Досталось тогда Быстрову от комбрига.

— Разрешите выполнять? — поднялся старший лейтенант.

— Вас поддержат три «пантеры», что сегодня взяли в бою. Можете идти. Готовьте людей и ждите приказа. Обождите, — вдруг остановил его комбриг, — и надо ведь! Совсем забыл о батальоне «шерманов», поищите его.

— Да это само собой, товарищ гвардии...

— Само собой ничего не должно быть. Просто устали мы, Петр Сергеевич. Прощаем или стараемся простить друг другу оплошности. А это, дорогой, ведет не к добру. Ну ладно, идите... И ты, Антон, пока отдыхай. Твоя задача держать связь с разведкой по рации, через связных.

— Есть держать связь!

— Уясните с Быстровым что и как...

— Есть!

Я ушел с Быстровым к его разведчикам, которых, почти каждого, превосходно знал по совместным операциям. Часто ходили они десантниками на танках.

Глава пятая

— Вот кончится война! — тягуче проговорил Тимофей Прончатый и вздохом, глубоким, шумным, оборвал мысль-думу, словно балалаечник не в лад зазвеневшую струну.

— А что тогда, Ипатыч? — продолжал лейтенант Быстров.

На дощатых нарах и просто на полу, бросив под себя что под руку попало, в оставленной немцами землянке спали бойцы. Быстров в накинутой на плечи шинели сидел за столом и при свете коптящей лампы-«катюши» колдовал над картой.

Не до сна командиру, а почему? После боя и отдохнуть можно. Тимофей, прищурившись, смотрит на командира: «Шутит тот? Нет ли?»

Думы о доме расхолаживают, как говорят, бдительность притупляют. Ныне одна дума имеет полное право на жительство — добить вражину в наикратчайший срок. Об этом каждодневно напоминают замполиты, боевые листки и дивизионка. Но коли спрашивает сам начальник разведки, надобно понимать: чует командир, что «вот кончится война», и все, что стоит за этими тремя словечками, заполонило души не только старых вояк, таких, как Тимофей Ипатович Прончатый, а и тех, что бреются для того, чтобы волос рос.

— А вот что, Петр Сергеевич, — гвардеец поднимается с нар, отряхивает ватник, присаживается к столу, автомат на колени кладет. — Кончится война, вернусь домой, значит, и перво-наперво отосплю ден пять кряду...

— Что так мало? — глаза старшего лейтенанта смеются. Оживляется и Тимофей. Поднимаюсь с нар и я, сажусь к столу.

— Считай, что по дороге из Берлина в эшелоне суток пять сна да домашних пять. И шабаш. Хватит, значит. Даже лишку. И скоро-наскоро в гору артель поднимать, всем миром.

— Осилишь ли? — послышался сиплый, прокуренный, но сильный голос. И еще одна фигура в ватнике нараспашку поднялась с нар. Это Захар Кузьмич Агафонов, односельчанин Прончатого и одногодок, с черными соболиными бровями и тяжелым, жадно хватающим взглядом.

Земляки, друзьями закадычными быть бы им, а, видать, вороной масти кот пробежал промеж их. Обнажила война души. У каждого — своя. В воинском деле односельчане противниками не были. Ни Захара Кузьмича, ни Тимофея Ипатовича упрекнуть в нерадивости никто не мог. Удалым, завидным разведчиком был Тимофей. Душой-характером открыт и прям. Он и сапер-подрывник, и следопыт, и в механике смыслит. А стре-

ляет? Будто таежный добытчик. И на язык остер. Как-то на замечание командира резанул: «Рыба тухнет с головы». И попал за это на «губу». Вместе мы с ним тогда «загорали». Смолчал бы лучше, щелкнул каблуками, рявкнул: «Виноват. Исправлюсь!» И все с тебя, как с гуся вода. Ну кто этой житейской мудрости не знает. Так нет вот, на тебе правду-матку. Ты, мол, командир, а под бушлат солдатские погоны упрятал, и я на свой телогрей их не пришил. В разведке они мне ни к чему.

Молодежь Тимофею не чета, он форса не любит, молодые в эти самые погоны фибровые вкладки вшили, чтобы не гнулись. Топорщатся погоны, как у воробья-желторотика крылья. А на марше от ремней потертости на плечах.

Про рыбу Тимофей не зря вспомнил. И не в книжке пословиц да поговорок позаимствовал. «Батяня, бывало, — рассказывал мне Тимофей, — вернется с путины и живую рыбешку своему первенцу Тимке поиграться в банке из-под консервов принесет. В водице, в травке да иле шныряют серебристые и словно позолоченные малявки». Тимке забава да и польза. С пеленок вдыхал Тимофей рыбацкий дух, родимые запахи Волги.

Вырос Тимофей и стал рыбаком-охотником.

Охотничал Тимофей, потому и стрелок он, что твой снайпер. Хотя всей оптики — только верный глаз да твердая рука.

А как о Волге говорил Тимофей, заслушаешься, влюблял полчан в реку-красавицу.

— Одно купанье чего стоит. Летом она прохладна и ласкова, так и обволакивает тебя живительными струями. Любую усталость как рукой снимает. А вечером вскарабкаешься на увал, притулишься у самого гольца — и предстанет перед тобой Волга, словно обнаженная залетка. Близкая, тихая. Воздух, дыши — не надышишься. А от простора душа ширится. И забываешь ты все беды-передряги. Мало, что лечит она тебя, она и кормит. Только не всякого. Лентяям на Волге житье-бытье не славное. Волга богатырей любит. Степан Тимофеевич, Емельян Иванович, Владимир Ильич Ленин — вот что значит Волга. Без нее и России не быть бы. Эх, да что там!

Схож с Тимофеем Ипатовичем и Агафонов Захар Кузьмич. Хозяйственный, в чем-то, может, радивее

своего односельчанина. Когда границу Польши переступили, чистосердечно жалел польских крестьян.

— Убого, убого жили. Глянь, как у нас при царе, сохами ковыряли землю. А угодья кое-где не хуже нашенских.

Тимофей молча соглашался с ним. Единоличность да к тому же подневолье панское да немецко-фашистское.

В Пруссии Захар оглядывал подворья бауеров, обнесенные высокими заборами тесовыми, сплошняком или каменными на цементе:

— Вот это хозяева!

Хваткой лошадника на цыганском торгу похлопывал сильной ладонью по ременн: м приводам у движка и молотилки. Задумчиво глядел на лобогрейки, триеры и веялки. Отыскивал что-то, хмуря соболиные брови, которые в такие моменты, казалось, грызлись между собой.

— Глянь, Тимофей, клеймо-то нашенское. Вот, вот, глянь: «Ростсельмаш». Все свезли, скопили. И тракторы у них и прочее. Что ни работенка, мотор заместо живого тягла. А наши на бабах пашут. Коров и тех загнали. На веслах руки до кровяных мозолей, до костей трудят. Прописывал мне сынишка Пронька. Развалилось все хозяйство. С голоду пухнут. — Захар скрипнул зубами.

Тимофей гневился молча, только пальцы его рук белели от натуги, сжимая кожух ствола и приклад автомата на груди. Захар приметил тяжелую кувалду, схватил ее и ринулся к движку. Замахнулся.

— Не тронь! Сдурел? — остановил его Прончатый. — Это теперь все, как и у нас, народное.

— Что? — Брови сморщили лоб, но тут же опустились, а тонкие губы зазмеились улыбкой. Захар засмеялся и вдруг захохотал.

— Народное! Как у нас! — выкрикивал он между взрывами дьявольского смеха. — Ты зачем сюда шагал? На брюхе сквозь свинцовый шиповник продирался? Тоже мне, миротворец!

Высоко со свистом метнулась вверх кувалда. Вдребезги, как лимонка-граната, разлетелся бы на мелкие осколки чугунолитой корпус движка. Тимофей вовремя перехватил повыше локтя руку Захара. Агафоновские красные пальцы разжались. Пудовая кувалда глухо

ударилась о залитый цементом ток. Будто земля вздохнула под ногами солдат.

Земляки впились глазами друг в друга. Представляю их: плечистые, словно из бронзы литые, дюжие. Оба с Волги, оба рыбаки-охотники, оба мстители за изгаженную немецко-фашистским сапогом Родину. Оба целовали гвардейское знамя...

— Охолонись, — сдался Захар.

— Пошли! — Тимофей пустил руку Агафонова и первым шагнул со двора прусского бауера.

Как-то на привале Агафонов появился среди разведчиков с мешком, замаранным мокрым илом. Захар подмигнул солдатам, развязал мешок, в нем оказалась свежая рыба.

— Разводи, гвардия, костры. Заваривай уху! — захлебываясь слюной, выкрикнул он.

— Ай да Кузьмич!

— Вот это рыбак, мать твою так!

— И где удил и как, Захар?

— Чего где и как, был бы судак!

— Подставляй котлы!

— Заваривай!

Гремя котелками, гвардейцы подходили к Захару. Прончатый тоже хлебал наваристую уху. Видели гвардейцы, и не один раз, как снаряд, угодив в озеро или реку, поднимал столбы воды, а никто и не подумал, что взрыв глушит в реке всю живность. Не успеет угомониться вода, как поверхность ее покрывается слитками серебра — оглушенная рыба всплывает. Выбирай что покрупней, вари и жарь.

— С головой Агафонов!

Вырастал в глазах однополчан Захар Кузьмич не только за удачливые поиски. И Прончатый, казалось, забыл о том случае на прусском дворе, о котором сам же мне рассказывал. И вот в немецкой землянке, где ждали разведчики приказа на очередное задание, Тимофей заговорил о самом сокровенном, а Захар одернул его своим «осилишь ли?».

— Если — нет, зачем же бьемся? — сказал он сурово, и у меня мысли пошли круговертью.

«Вот кончится война» — эти три весомых слова родились не в марте сорок пятого на дальних подступах к Берлину у города Данцига. Они были сказаны, может быть, в первый день войны одним из защитни-

ков Брестской крепости или у Перемышля. Они равнозначимы словам: победа, жизнь, будущее.

Сказывал Тимофей, мобилизованный в первый день войны, как Петр Чернов, шофер, односельчанин Прончатого, вздыхал по дороге на сборный пункт:

— Не успел крышу покрыть. Разве Васька малый с Евдокией осилят? — и тут же убеждал себя и других: — Вот кончится война, покрою. Ненадолго же из дому.

Известный всему поселку портной Яков Гринблат тоже, помнится, приободрился:

— Костюм дотачать не успел. Подождет клиент малость.

Знает Тимофей — семьи шофера и портного, дочка Ленушка уведомляла, получили «похоронки». А тут на тебе: «Осилим ли?»

Тимофей не успел ответить Захару, как тот свернул самокрутку и подошел к лампе-«катюше», что стояла на столе старшего лейтенанта.

Ясно, что в кармане Захара — зажигалка, и не одна. «Давай махнем не глядя» — любимое занятие Агафонова в последнее время. С кем ни «махнется», обязательно выиграет. Тогда все были добрыми и простыми, доверчивыми промеж себя. Разожмет солдат кулак: на ладони зажигалка или часы, а бывало что и поценней, а Захар раздвинет свою клешню: пуговица в ней от эсэсовского мундира или вовсе пусто.

— Ой, и везуч ты, Захар Кузьмич!

— Шельмец ты, Захар, подсмотрел?

— Кто как! — отвечал Агафонов и прятал выигранную вещь. Свои перестали с ним «махаться», так он встречных-поперечных на фронтовой дороге ловил.

Тимофей многое знал о Захаре. Видел Прончатый сгубленный на подошвы приводной ремень. Упаковав заготовки, спровадил их Агафонов на полевую почту... Тимофей тогда вскочил на один из танков, а Захар не успел. Остался вроде бы поджидать следующую машину, а сам вернулся на подворье, срезал ремень. И рыбу добывал Захар не только так, как рассказывал. Сам глушил противотанковыми гранатами. Заставал Прончатый Агафонова за этим делом, знал и о других «грехах». Бахвалился Захар перед молодыми солдатами:

— Встретил я фрейлен. Пальчики оближешь. Круг-

лая, словно спелая дыня. Вот такая, — Захар рисовал руками «флейлен». — Хальт, говорю, и показываю знаками, разоблачайся, мол. А она мне: «Капут?» — и в грудь себя пальцем тычет. «Никс», — говорю и сам ей ворот на платьишке расстегиваю. Поняла она, огляделась. В лесочке, где повстречал я ее, — ни души. Принялась моя фрейлен платья с себя стягивать. Одно, второе, третье. Скинет — и тощеет вроде. Штук десять одеж сбросила. Столько же на ней рейтузов, и чулков, и этих как их, бухгалтеров. Совсем, смотрю, в щепку превратилась, а улыбается соблазнительно. Вынул я после всего того из своего вещмешка пару чулков, бросил ей. Плюнул и пошагал, чтобы не смотреть, как она вновь полнеть начнет. Вот до чего жадны до барахла немки. А остальное им хоть шо...

Солдаты смеялись, а те, кто постарше, хмурились. Глядя на похмуревших, Агафонов спохватывался:

— Да я пошутил, товарищи. Для смеху байку сочинил. Я с малолетства люблю такие сочинительства. А что немку встречал, то встречал. Сорок одеж на ней, еле ногами переступает. Говорю, свяжи в узел, никто тебя и твое барахло не тронет.

— Не сочинительство это, — предполагал Тимофей. — Доложить бы замполиту, но не в моем характере такое. Сам думал повлиять на Захара, все же односельчанин. До заграницы другим был Агафонов. А здесь повел себя словно волк в овчарне.

Слюнявя тонкими губами самокрутку, Захар потянулся к огню. Тимофей отстранил его легонько.

— Осилим, нет ли — всем известно. А в разведку с тобой, Агафонов, я боле не ходок.

Быстров удивленно взглянул на Тимофея, тот понял взгляд командира: хочешь не хочешь, а объясняй.

— Разведка, товарищ гвардии старший лейтенант, дело добровольное. Потому я так категорично и сказываю. Как я могу с таким? Кроме своего интереса, ни шиша не видит. Душу он мне ножом полосатит. Другой жив будет, с пустыми руками домой вернется, а такие... — Прончатый отрешенно махнул было рукой, но под взглядом Быстрова продолжал: — Иголки для швейных машинок по немецким домам собирать, мелочь? А в России ныне они по рублю штука. Целый капитал, хоть лавку открывай. Заявятся такие капиталисты домой, заберутся на печь и будут оттуда погляды-

вать на тех, кто в оглобли порушенного хозяйства впрягся. Ждать будут: осилят ли. С такими не то что в разведку, в нужник совестно...

— Скоро выступать. Хочешь — оставайся. — Глаза старшего лейтенанта от недосыпа были красными. «Только вернутся люди из разведки, а тут готов приказ на новую. Когда разбираться в тонкостях? Воюет Захар не первый год. Дельно воюет, дай бог каждому. А во всем прочем, кончится война— разберемся!» — должно быть, подумал Быстров.

Прончатый с таким ходом дела, видать, не согласен. Что будет и как после войны и кем кто станет, надобно заботиться и ныне. Говорить же об этом командиру, наверное, — пользы мало. Вот-вот приказ — и айда — пошел. Прончатый нахмурился, поднял с колен автомат, прижал к груди, поднялся:

— Я иду с вами, Петр Сергеевич, — и метнул недобрый взгляд на Агафонова.

— Тогда, гвардии сержант, поднимай народ.—Потом взглянул на часы и стал складывать карту гармошкой так, чтобы нужные квадраты были на виду.

— Так завсегда. Днем спим не спим, а каждую ночь воюем, — проворчал Агафонов, глубоко затягиваясь дымком крепкого «дергача», смешанного с мелконарезанной крошкой из сигар.

— Высшей марки! — любил говорить Захар про эту пахучую смесь. — Сигары — то сам Гитлер для нас сберегал.

Затяжки Захара становились все чаще, видно, «переваривал» сказанное Прончатым, а Прончатый глядел недобро. И опять душа Тимофея загорелась было.

— Если бы не гвардии старший лейтенант, не пошел бы в поиск, — сказал он мне. Я понимал его.

Встретились они с Быстровым в одной из частей, что формировалась в городе Куйбышеве и с ходу, из эшелонов, ринулась навстречу врагу. Вместе они, рядовой Прончатый и младший лейтенант Быстров, дрались на речке Друть, выбивали фашистов из города Рогачева. Более месяца удерживали этот город. А потом с боями отходили на курскую землю. Сражались у Сталинграда. В Прохоровской битве командир взвода гвардии лейтенант Быстров был ранен.

Снова встретились на тульской пересылке. И опять вместе. Польша. Восточная Пруссия. Давно уже гвар-

дии старший лейтенант к сержанту обращается просто: Ипатыч. Словно к родному. И вдруг Прончатый не пойдет с ним в тыл врага.

— Подъем, ребята. Подъем. Наряжайся, как на святки. Играть будем, — голос Прончатого потеплел, словно Тимофей только что не кипел нутром.

Разведчики отдельной роты управления быстро преображались в немцев. Зелено-пегие масккостюмы с капюшонами, трофейные автоматы, каски.

Гвардейцы еще позевывали, потягиваясь с хрустом, но были уже готовы. Прончатый построил их в тесной землянке. Быстров еще раз повторил задачу. Тем временем Подниминоги привел свои «пантеры».

— Действовать будем днем. Не забывайте, что на вас немецкая форма, — напомнил Быстров и скомандовал: — По машинам!

Разведчики заняли свои места на трофейных танках и бронетранспортере, таких же зелено-пегих, как масккостюмы. Рядом с водителем бронетранспортера сидел Альберт Фишер в форме обер-лейтенанта. В рейде он был главной фигурой. Ему вести разговор с немцами на заставах.

С этой группой я держал связь по рации и через связных. Знал: когда рассветало, разведывательный отряд наткнулся на первый заслон врага. Пехоту с одной противотанковой пушкой можно было снять, но не в этом состояла задача. Немцы машины с крестами на броне приняли за свои. Отдельные группы танков и самоходок с автоматчиками прорывались к своим из русского тыла.

Разведка двинулась вперед. Я принимал кодированные радиограммы:

— Прошли пункт «А». Пехотные окопы. Фаустники.

— Прошли пункт «Б». Снова пехота. Движемся дальше.

— У пункта «В» батарея зениток занимает позиции, видимо, для стрельбы по наземным целям.

— У железнодорожного моста перед насыпью — «фердинанды» и «тигры». Сколько машин — выясним пешей разведкой.

— Виден город. Ищем позицию...

— Маскируем танки. Разведчики с Быстровым и Фишером на бронетранспортере уходят в город. Мы готовы поддержать их огнем.

— Мост и железная дорога под прицелами наших орудий.

Бронетранспортер передал еще несколько радиограмм об огневых точках на окраине и в предместье.

Появился в бригаде и Агафонов с донесением начальнику штаба. Тот прочитал его, сделал пометки на карте. И, увидев, что разведчик все еще стоит, отпустил его отдыхать.

— Пока вы свободны.

Агафонов тут же, во дворе, где располагался штаб, опустился на каменную тумбу отдышаться. Скоро его окружили солдаты комендантского взвода, свободные от дежурства связисты. Подошел к ним и я.

— Оттуда. Еле-еле ноги унес, — отвечал почерневший Захар.

Постепенно он разговорился, слов не жалел, видно, хотелось ему облегчить себя.

— Все шло как положено, — начал Захар. — Последний раз проверили у шлагбаума и пропустили. Пошныряли мы по окраине. Обстановку выяснили, огневые точки засекли и прочее. Потом укрыли броневик и ватажками, по трое, двинулись на своих двоих в город. Магазины торгуют, автобусы снуют. Сели и мы в автобус: я, сержант и гвардии старший лейтенант Быстров. В автобусе офицеры, с ними нарядные девки. На нас они — ноль внимания. Да и что тут сомневаться? Двое солдат сопровождают своего обер-лейтенанта. Переехали мост через речку. Большой мост. По реке белые пароходики снуют, музыка с них слышна. Чудно мне показалось. Наши под городом, а они тут гуляют. На том берегу собрались было выходить, разведывать. Один из офицеров обратился к старшему лейтенанту. Тот ему ответил что-то, фриц насторожился. Опять что-то лопочет и гримасы корчит и пальцем этак вроде, мол, не проведешь, перед носом гвардии старшего лейтенанта водит. Гвардии старший лейтенант что-то сказал, обращаясь к остальным офицерам, те засмеялись. И тоже что-то пальцами выделывают, показывают на что-то. Может, у кого из нас, может, у меня, из-под маскхалата русская гимнастерка выбилась?

«Хенде хох!» — крикнул фриц. Это мы сразу уразумели. На мушку их. Гвардии старший лейтенант фрица под вздых. Свернулся немец. Автобус — стоп, фрейлен — на выход коммен, распоряжается гвардии

старший лейтенант. Фрейлен выскочили, мы за ними. Офицеры ни с места. Тронулся автобус. Пусть бы ехали, — Захар вздохнул, — а я не стерпел, швырнул в автобус гранату, загорелся он, а потом взорвался. На взрыв патрули сбежались. Кто-то из фрицев уцелел и сказали про нас. Глядим — погоня. Здесь никакая маскировка и немецкая болтовня не спасет. Кинулись мы улочкой, бежим, куда и сами не знаем. Немцы службу понимают, оцепили каждый двор. Со всех сторон началась пальба, автоматы бьют, гранаты рвутся. Видать, и остальные наши тройки обнаружены.

Забрались мы в канализационную трубу. Думали: переждем переполох и ночью уйдем. Какое там! Сунулись, кругом оцепление. Засекли, видно, нас. Ждут, когда сами вылезем. Прорываться боем, а куда? Позади река, — Захар замолчал, облизнул пересохшие губы, обвел глазами солдат, словно хотел спросить — говорить, что ль, и вдруг подобрался, голос стал ровнее:

— Утром началось столпотворение. Словно небо разверзлось, посыпались бомбы. Мы обрадовались было. Да что поделаешь, — опять Агафонов вздохнул, словно что-то недоговаривал, а это «что-то» и лезло на язык.

— Выбрались из трубы и под бомбами к мосту. Как уцелели, не ведаю... Глядим, а моста нет. Искалеченный автобус застрял между взорванными фермами. Женщина вниз головой висит, волны ее волосы полощут. Платьем, видно, зацепилась за что.

Приметили мы у мола пришвартованный катерок. Попрыгали в него, чалки перерезали. Понесло нас стремя к другому берегу. По реке уйма разных калош плавало, вроде этого катерка. Немцы и потеряли нас из виду. Ну, думаем, оторвались. Тут гвардии старший лейтенант и написал донесение в трех экземплярах. Кто доберется, тот и передаст. Выходить к бронетранспортеру, а оттуда к танкам приказал.

Прибило катер к берегу, а встречь — немцы. С боем прорвались ко двору, где бронетранспортер укрыли. Глядим, а он дымится, взорван. Вокруг убитые — наши и немцы. Пополнили мы боезапас, хотели и документы у мертвых забрать, слышим: «Хенде хох! Хальт!» Мы друг за другом в подвал скатились. Гвардии старшего лейтенанта в руку ранило. Перевязали. Опять налетели самолеты. От взрывов земля ходуном ходит, здания рушатся, а гвардии старший лейтенант «вперед»

командует. Тут вторая пуля в ногу его ужалила. «Уходите, — говорит, — пока наши бомбят». — «Нет!» — говорит Прончатый. Пеленает гвардии старшего лейтенанта в плащ-палатку, взваливает на плечи, как цыганка дите. Командует мне: «Прикрывай», — и сам вперед.

Слышу, бомба летит, аж дух захватывает, воет как. Укрыться негде. Побег я что было мочи...

— И товарищей кинул? — спросил кто-то укоризненно.

— Обожди ты. Бегу я, а бомба нагоняет. Ну, думаю, не уйти. Бросился ласточкой на землю. Уткнулся в каменную ограду, голову руками закрыл. Бомба разорвалась по ту сторону ограды, меня только землей обдало. Вскочил я, забег в дом и, не помня себя, кинулся не в подвал, а вверх, на третий этаж занес меня страх. Слышу — опять бомба, ну эта, решаю, моя. И катунком вниз, по ступенькам. Лечу — и бомба понад крышей летит. Память отшибло. Очухался в бельевом шкафу. В простыни, бельишко и прочее, словно нарочно забинтован. Еле вытащился. И на выход. Бомба разорвалась у подъезда, будто она по крыше катилась. Ямку вырыла, небольшого, видать, калибру была. А выла-то как!

— У страха уши, что у осла! — опять раздался голос.

Агафонов, не обращая внимания, продолжал:

— И опять же фрицы на меня бегут. Сорвал я гранату и — в них, а сам в воронку.

Агафонов еще раз облизал губы, попросил махорки.

— Да у тебя же свой кисет в руках? — услышал в ответ.

Когда свертывал из своей пахучей смеси самокрутку, руки мелко дрожали. Затянулся раза два и упавшим голосом сказал:

— Перед оградой, от коей к дому бежал, ни гвардии старшего лейтенанта, ни Прончатого не было. Дымилась на том месте громадная воронка, что твоя силосная яма. Бронетранспортер волной перековырнуло... Дальше пробирался один, бежали немцы за город, они в оборону легли, а я по кюветам да обочинам дальше. «Пантер» разведки на месте нету. Гляжу, вроде бы они дымятся у моста. Должно быть, немцы выманили их на открытое место и пожгли.

Забрался я на чердак придорожного дома, гляжу — наши танки из низины в атаку идут. Немцы вспять мимо моего убежища. Сорвал я с себя все немецкое, а сам палю из автомата гитлерякам во фланг. Вот видите, жив остался. А гвардии старший лейтенант и посельчанин, мой дружок, сгибли, значит. Воронка, как силосная яма. Как сейчас вижу, курится. Эх, Тимофей-Тимоша... — Захар глянул на товарищей и снял каску.

— Да тя что? Контузило?

Агафонов оглянулся на голос и увидел санинструктора старшего сержанта Иванова.

— Хоронишь и людей и танки? — продолжал Иванов. — Разведчики возвращаются. С «пантерами» связь есть, в засаде они. Эх, горе-головушка, дай-ка пульс. — Иванов взял руку Захара, потом приложил ладонь ко лбу, прищурился и, цокая языком: це-це-це, покачал головой. — Шокирован центр храбрости, — заключил санинструктор тоном начальника медслужбы бригады майора Сеслера. Гвардейцы засмеялись. — Режим и метод лечения: прогулка на танке на передок, туда, откуда ты так смело выбрался. Бригада уже сосредоточилась для атаки, ждут только тебя и приказа командующего. Замялись там наши...

Гвардейцы хохотали, на какое-то мгновение забыв, что стоят на исходных позициях, ждут сигнала на атаку. И вдруг смех оборвался. К солдатам подошел гвардии сержант Прончатый. Он, словно не замечая Захара, проговорил как-то радостно с полуулыбкой.

— Будет жить гвардии старший лейтенант. Сам гвардии главврач заверил. Правда, — улыбку словно смыло, усы опустились, — руку пришлось, по локоть, того...

Гвардейцы вздохнули, кто стал автомат поправлять, кто ремень у автомата.

Агафонов вскочил, как только увидел Тимофея, а когда тот кончил говорить, хотел обнять его. Прончатый отстранил его.

— Тимофей, пойми. Думал...

— Плохо думал, Захар. Ты все поведал ребятам?

Агафонов слегка побледнел, солдаты, собравшиеся было уходить, остановились.

— О чем гвардии старший лейтенант говорил в срамной трубе?

Агафонов стал еще бледнее и опять опустился на каменную тумбу, с которой только что встал.

— Я же не понимаю по-фрицевски, — сказал Захар.

— А по-русски приказ Петра Сергеевича разумел? Не открывать огня без команды, а не то что гранаты бросать. Сказывай ребятам начистоту. Или ты не внял ни дьявола, Агафонов?

— Уразумел, все я уразумел. — Агафонов опять свернул самокрутку, но, не прикуривая, начал тяжело, с надрывом в голосе:

— Я уже сказывал, не надо было бросать гранаты в автобус. — Захар чиркнул зажигалкой, дунул слегка — огонек погас. Фитиль задымил. — Вот. А во мне полымя пышет и не притушить. Разумел, как рассказывал, а дело-то по-иному складывалось. Когда в трубе отсиживались, Петр Сергеевич сказал, что пули на меня жалко, что провалил я дело. Я и тогда не понял, сдержал себя, слушая такие слова. Оказывается, в автобусе-то подвыпивший офицерик урезонивал Петра Сергеевича, как обера, пальцем перед носом вертел. Только, мол, русский крикнет «руки вверх» — хенде хох, значит, вы и рады стараться. За это, мол, мы не пощадим вас, великий фюрер призвал таких, как мы. Говорит он это по-немецки. Я-то не разумею, а Петр Сергеевич — знаток, спусти он сейчас — может подозрение пасть на него. Ну и проучил он югенда, как старший по званию младшего, а остальных по стойке смирно поставил... Не брось я гранату, все бы могло обойтись...

Гвардейцы молчаливым кружком все плотней подступали к Захару.

— А еще сказал гвардии старший лейтенант, что прав Прончатый, когда война кончится, поздно разбираться в таких, как я. Сейчас, получается, надо. Судите меня. — Агафонов притушил окурок, раздавил тяжелым сапогом и вмял в землю.

— Разведка! К начальнику штаба! — крикнули из подвала.

— Идем, — за всех ответил Тимофей и зашагал по двору. Агафонов поднялся с каменной тумбы, надел каску, поправил автомат на груди и поплелся следом.

Глава шестая

По радиодонесениям и рассказам связных можно было представить, как разворачивались события в группе «пантер».

Три «пантеры» под командой гвардии старшины Подниминоги заняли выгодную позицию и замаскировались. Башни развернуты в трех направлениях: на дорогу, по которой добирались сюда, на город, куда умчался бронетранспортер, и на мост, под которым укрылись «фердинанды» и «тигры».

Машины немцев хорошо просматривались из башни танка Подниминоги. Задача немецкой засады, наверное, была такова: за американскими «шерманами» пойдут «тридцатьчетверки», или приедут тягачи ремонтников вызволять уцелевшие танки, или саперы попытаются восстановить переправу по болоту — фашистские орудия ударят по ним, и танки, и саперы, и тягачи — добыча для «тигров» ценная.

Иван Подниминоги понимал, если он откроет огонь для поддержки своих разведчиков в городе, станет прикрывать отход их, немецкие танкисты сразу обнаружат его. Шутки с ними плохи, особенно с дальнобойными крупнокалиберными «фердинандами». Остается одно: сжечь немецкие машины у моста, обезопасить себя и открыть дорогу нашим, если те появятся здесь. Помнил старшина и о батарее зенитных орудий, что осталась в тылу. Обнаруживать свои позиции никак нельзя, и немцев уничтожить обстановка требует. Но как это сделать?

— Серега! — позвал старшина Скалова. — Побачь в бинокль... Да не шарь ты прицелом! (Ведь и ствол двигается, а Скалов, кажется, забыл об этом.) Засечь могут, бесшабашная ты голова...

— Точно, Ваня, ты прав. Давай твою игрушку, — он взял бинокль и проговорил: — Вот с такими окулярами буду ходить в театр. Чтоб любую красавицу видеть. Ведь я, Ванюша, театрал. Люблю театр с детдома. Какие комедии не играли мы! Коли полюбил театр, без него, как без воды.

— Ты что-нибудь бачишь? — перебил Сергея Подниминоги. — Товарищ гвардии старший сержант! Немец вокруг, а ты балагуришь.

— Слушаю, Ваня. Бачу я «фердинанда» и два «тигра». Почивают. Разреши, я им попорчу короны?

— А больше ничего не бачишь?

— Ни!

— Кто, по твоему разумению, охраняет танки? Пехоты у машин нет?

— Нет, Ваня, не вижу что-то. Горит душа на эти королевские короночки. Разреши, врежу болванку?

— Я бы и сам не прочь по этим королям. Да не возьмешь отсюда. Только себя выкажешь. А нельзя бесов на фланге оставлять. Гиблое дело.

— Да, Ваня, гиблое. К тому же они по рации запрашивают нас: чьи машины, какой части. Я приказал радисту отключиться. Но в молчанку долго не поиграешь. Свяжутся гады со своим штабом и сюда пожалуют. Надо с этими, под мостом, кончать. Нападение — лучший вид обороны.

— Но как? — Иван протянул руку за биноклем и снова стал наблюдать. Наши десантники-разведчики веером заняли оборону вокруг танка. Глянул на них Скалов и стукнул себя ладонью по лбу.

— Да у нас, Иван, пехоты навалом, — и кивнул на разведчиков. — А пехоту какие танки не боятся?

Старшина уже думал об этом, не боялся остаться без надежного прикрытия, подползут фаустники — беды не миновать. Немцы в тылу у русских могут стоять и без охраны. Если те под мостом без автоматчиков, можно рискнуть.

— Кого, Сергей, послать?

— Фаустпатроны у нас есть. Пусть немец проглотит пилюлю собственного изготовления.

— Это ясно. Кто пойдет, спрашиваю? Не ты же?

— А почему не я?

Сергей стал вылезать из башни. Подниминоги остановил его.

— Нет. Без тебя я — грош. Ты — мой снайпер, Серега. Не можно тебе. Это вроде бы бекасиной дробью по медведю. Ты своим калибром вдаришь, когда будет треба.

— Зови сержанта Ноздрева. Он старший у разведчиков. Пусть поспрашивает охотников. Так будет вернее.

Автоматчик соскочил с танка и побежал за Ноздревым. Тот быстро явился. Голова его свесилась в командирский люк.

— Лезь сюда и вникай, сержант...

Подниминоги объяснил обстановку.

— Охотники найдутся. А поведу их я. Разрешите?

— Добро, гвардии сержант, — старшина пожал руку Ноздреву. Тот легко выпрыгнул из люка.

Шесть разведчиков с фаустпатронами вскоре зашагали по дороге, открыто, в сторону передовой.

— Свихнулись, бисовы души, — заворчал старшина, не разгадав маневра сержанта Ноздрева.

— Сам ты, Ваня, свихнулся. Ноздрев идет, как немец, на свой передок. От кого ему прятаться, он же в немецком! — проговорил Скалов и прищурился. — Что-то, Ваня, осторожничать ты стал... О своих думаешь?

— И о своих думаю.

— Марина твоя в неметчине не сгинула и дочку сберегла. И сама своим ходом в Россию поехала. И на родине не пропадет. И за Ноздрева не болей, — продолжал Скалов. — Вот, бачь, дойдет Ноздрев до железки и — пропал. Затем круто повернет на сто восемьдесят градусов и двинет по полотну. И прямо с моста — по танкам. Промашки не будет. Он хитер, этот Ноздрев. Зубы съел в разведке.

Иван не отрывался от бинокля, а Скалов смотрел в прицел, загнал снаряд в казенник и держал на перекрестье «тигр».

Разведчики во главе с Ноздревым свернули на железнодорожное полотно. По дороге из города показалась колонна немцев.

— Готовьтесь, — скомандовал Иван Подниминоги, — могут обнаружить.

Автоматчики вставили запалы в гранаты, улеглись поудобнее за башнями машин и в развалинах кирпичного дома. Танкисты прильнули к прицелам.

Колонна приближалась. Солдаты шли нехотя, вяло переставляя ноги. Передние поравнялись с «пантерой» Подниминоги и пошли мимо. Долго тянулись «тотальники» с автоматами, с фаустпатронами.

— Батальон, — определил Иван и приказал радисту: — Передай в штаб бригады.

— Есть.

Зашипела рация.

— «Волга», «Волга». Я — «Нептун». Как слышите?

Не успел я из бригады ответить, запросили морзян-

кой: «Кто такие, какой части? Радируйте или открываем огонь».

Радист выключил рацию:

— Товарищ гвардии старшина, опять кто-то на волне. Засекли, видимо, грозятся открыть огонь...

— Отключись и молчи!

— Есть молчать.

Молоденький радист, почти совсем мальчишка, прибывший в часть с пополнением, вчера перед боем получил гвардейский значок и сейчас чувствовал себя героем, старался во всем подражать старшине Подниминоги и старшему сержанту Скалову.

Ивана беспокоило и радовало, что разведчики Ноздрева пропали из виду, словно в воду канули.

— По ту сторону насыпи подбираются к мосту, — предполагал Скалов.

— Добро бы, — вздохнул старшина, скользнул биноклем по гати и впился в чуть заметную точку. Скоро точка превратилась в танк. Он узнал этот танк, и сердце его сжалось. — Побачь, Серега!

— «Тридцатьчетверка»! — одним дыханием выдавил Сергей. — К «шерманам» подползает. Неужто немцы не видят ее? А? Иван? Смотри, «фердинанд» зашевелился. Опоздал Ноздрев. Эх, не удалось. Теперь держись.

Над башней «пантеры» просвистела болванка. Голова радиста вжалась в плечи.

— Не трусь, брат, — сказал ему Скалов. — Заводи, Ваня, — и толкнул старшину в спину.

Вторая болванка прошлась еще ниже, но мотор уже ревел. Скалов не обращал внимания на снарядный вой, он пытался поймать в перекрестье «фердинанда». Тот разворачивал медленно, тяжело.

«Тридцатьчетверку», которую заметил Сергей с Иваном, вел я в разведку боем. Подбирались мы к застрявшим «шерманам», но не прошли и двухсот метров, снаряд угодил в лобовой лист брони. По бортам полыхнули два фонтана огня.

«Фердинанд», думая, что сделал свое дело, выпятился под мост, чтоб его со стороны русского переднего края не могли заметить, и стал ждать, когда новая жертва выйдет на прицел.

— Вот так вот, Сергей, — проговорил Подниминоги и дал прогазовку.

— Стоп! — крикнул Скалов. — Выстрел! Полный назад! Уходи, уходи, Ваня!

Под мостом полыхнуло заревом. Три свечи поднялись выше пролетов. «Тридцатьчетверка» на луговине продолжала гореть, все больше обволакиваясь черным дымом.

* * *

Меня, когда прекратилась связь с «пантерами», вызвали к подполковнику Стрельцову. Здесь же были замполит Пименов и начштаба Федоров. Вхожу, докладываю, как положено: явился и так далее.

— Некоторые военные не сумели подковать «шерманы». Вот они и поскользнулись.

Подковать — это значит наварить шипы на гусеничные траки. Кто знал, подумал я, что «американцам» встретится такое бездорожье, как загатированное скользкими бревнами болото.

— «Шерманы» надо спасти. Ты проследишь. Вот комиссар с начальником штаба говорят, что под носом у немца сделать этого нельзя. А мы попробуем. Подбитые и подгорелые оставьте на поле. А уцелевшие из болота — в строй. Возьмешь с собой разведчиков. Федоров, где разведка? Поговоришь с ними, они были на месте, им видней.

Вошли гвардии сержант Прончатый, за ним Агафонов.

— От страха дорогу не запамятовали? — комбриг усмехнулся.

Агафонов потупился, Прончатый косо глянул на Захара и ответил комбригу:

— Все сделаем, товарищ гвардии подполковник.

Агафонов щелкнул каблуками, подтянулся весь.

— Вот и порядок, старики. Поезжай, Антон, и поторопи Кузьмина. Напомни: танки нужны вот так! Да, проведай там нашу «тридцатьчетверку». Ну, всего доброго, гвардии лейтенант.

— Евгений Александрович, разрешите мне взять мотоциклиста.

— Того, что на «харлее» в атаку с тобой шел?

— Его самого. Виктора, — обрадованно сказал я. — Для связи.

— Бери. Только смотрите мне. Один раз вас уже схоронили.

— Как схоронили? — не понял я.

— А так, что на вас обоих «похоронки» отосланы...

Гвардии капитан Федоров уткнулся в карту. Иннокентий Фролович побледнел. Сердце забилось у меня где-то в горле.

...Мне плевать, что вы, гвардии капитан Федоров, и вы, гвардии майор Перетяга, за «похороны» меня и мотоциклиста получили выговор, а вы, замполит Пименов, — замечание. С вами грубо говорил Стрельцов, но вы не обиделись...

Толкуете о достоинстве советского воина, которого высоко подняла война, а сами живых хороните? Спешно составляли строевую? Хотели, чтобы быстрее пополнилась бригада?

Стрельцова вот так же в сорок первом «похоронили». Он-то жив. А мать не перенесла горя. То в сорок первом, тогда все перемешалось. А сейчас сорок пятый. За такие дела судить надо...

Обо всем, что и как происходило, я узнал позже. А в первый момент был просто ошеломлен. Наверное, и комбриг понял, что сказал лишнее мне перед боем. Выходит, каждому свойственны ошибки?

— Ты, Снежок, не падай духом. Я лично написал твоей матери, извинился. Понял?

— Так точно. Понял, Евгений Александрович. Все понял...

— Ну, ну. Не девочка...

— Так точно. Разрешите выполнять приказ?

— Желаю удачи.

Я пошел, ничего не видя перед собой. Разведчики за мной. Во дворе ко мне кинулся Виктор, глаза блестят: сама радость жизни. И этого тоже покойником сделали.

— Эх, Федоров, Федоров, хороший ты мужик, душевный вроде бы. Смелости тебе не занимать.

Как же ты, старик, подписывая список павших, не увидел в нем моей фамилии? А?

Что же ты наделал, капитан? Как мне простить тебя?

А Пименов? Душа бригады, ты-то как? Подписал — и с плеч долой?

Перетяга? Ну, тот мог, тому не человек, а полк нужен. Писарей, что ошибку допустили, разогнал по эки-

пажам десантниками и спокойно продолжает командовать.

Вот так получается, Евгений Александрович, батя ты наш войсковой. Один только ты удивился, когда увидел меня живым у штаба. А я ведь скрыл тогда, почему шлем стал велик, почему острижен наголо, за что под арестом сижу. Нет, остригли меня не потому, что осколком голову царапнуло, а так захотелось Перетяге.

Он-то понял сразу, что я выгородил его перед тобой, и тут же освободил всех арестованных. Понял и то, что совершил преступление. Да, да, — преступление «похоронка» на меня и Скворцова. А одну ли такую страшную бумагу по всей России разослали, забыли или не думали, что эти бумажки бьют, как пули в упор.

Я вспомнил мать спортстрелка Алика, проклинавшую немцев. Увидел потухшие глаза матерей погибших моих школьных дружков. И еще много-много сраженных.

Что же творится сейчас дома? С моей матерью? Может, успокоилась, получила письмо комбрига, а может, не застало оно ее, пришло слишком поздно, на час, на два, на день или минуту. Какая разница? Убивают-то один раз.

— Товарищ гвардии лейтенант, как? — услышал я голос Виктора.

...Знает ли он, что и на него послана «похоронка»? Пусть лучше не знает. Четыре брата и отец погибли у Виктора. Он — один-единственный у матери.

— Порядок, Виктор, — говорю я. — Переходишь в мое распоряжение!

Разведчики молча курят за моей спиной, они слышали все в штабе, понимают, почему я не говорю мотоциклисту о «похоронках».

Сержанта Прончатого я знаю хорошо, познакомились при особых обстоятельствах. Известен мне и Агафонов, ходил на моем танке десантником в разведку. Гвардейцы надежные.

В ремроту едем на бронетранспортере, впереди Виктор на своем «харлее».

Въезжаем в сосновый бор по вспаханному траками проселку. Меж сосен виднеются оголенные корпуса танков на толстых деревянных стульчаках. Странно

видеть машины без гусениц, подвесок, а то и без башен. Навстречу проворно идет подъемный кран-стрела, тащит танковый двигатель. Здесь же зарядно-аккумуляторная станция и походная кузница. Вспыхивают голубые зарницы электросварки. Стук кузнечных молотов прорезает заливистый треск зарядного агрегата. Воркотню электромоторов нет-нет да и просквозит пронзительный свист затупившегося токарного резца или фрезы. Разнотонный гул эхом разносится по лесу.

Настоящий завод!

Я вспоминаю свой родной завод на слиянии Самары с Волгой. Молоты там тюкают, конечно, осадистее, глуше, и станки гудят ровнее, жаром дышат термические печи, и гудок прокатывается над крышей, оповещая смены. Сейчас там в две смены работают, по двенадцать часов. Трудно. А здесь — круглосуточно. Заварят, подклепают, мотор приведут в порядок — и в бой, а через денек-другой танк волокут обратно. И так без конца, всю войну, туда и обратно — сплошной конвейер.

Я слышу голос Прончатого:

— Как у нас в эмтээсе! В страдную пору!

— Здесь могутнее! — это Агафонов вставил.

Скворцов уже разыскал зампотеха бригады инженер-капитана Кузьмина и командира роты техобеспечения — незнакомого мне старшего техника-лейтенанта, и привез их к бронетранспортеру. Я доложил, как положено, передал приказ комбрига.

— К эвакуации все готово, — объяснил старший техник-лейтенант.

— Мне приказано проследить за эвакуацией, — бросил я, не глядя на него, а больше обращаясь к инженер-капитану Кузьмину.

«Так вот они «военные», что не сумели подковать «шерманы», — с неприязнью думал я.

— Можете доложить комбригу... — продолжал ротный.

— Я доложу, товарищ старший техник-лейтенант, когда танки встанут в строй.

— Снежков, не горячись. Тягачи уже вышли. Сейчас погрузят кое-что на ваш бронетранспортер — и в дорогу, — вмешался Кузьмин, застегивая планшет и сдвигая его за спину. — Что-то грозен ты, как я погляжу? — Кузьмин улыбается.— Пойдем-ка со мной. Есть

чем тебя порадовать. Ты подлечился. И мы в грязь лицом не ударили. Евгений Александрович сам просил. Для тебя, стало быть. (Вижу — загибает зампотех.)

— Двигатель трудно достать. Механик твой Подниминоги где-то выкрал. Вот, принимай!

Я вздрогнул. Перед нами — головная бригады. Опознавательный знак и гвардейский значок на башне опалены, словно их подкоптили снизу, на моторной части брони наварена заплата, выпуклый шов сварки поблескивает металлом в сероватой шелухе окалины. Вмятины на башне и люке водителя тоже не закрашены.

Я повернулся к зампотеху:

— Спасибо... Спасибо, товарищ гвардии инженер-капитан. — Неприязни к нему как не бывало.

— Готова к бою. Я тебе, Снежков, кое-что расскажу. При дневном свете из-под носа у немца застрявшие машины увести не просто, пришлось поломать головы. А вот эвакуаторы придумали...

Из роты технического обеспечения мы возвращались на танке, перед этим гвардии сержант Прончатый успел сказать мне:

— Мотоциклист ваш, как только вы с зампотехом ушли, отозвал меня в сторону и говорит... о «похоронках». Не сказывай, мол, о них Снежкову, расстроиться может и всякое. Мотоциклисту, видите ли, писарь из разжалованных Перетягой, все рассказал. Я скрыл, что вы в курсе дела. Так что учтите, товарищ гвардии лейтенант.

— Учту. Спасибо.

— А еще об Агафонове. Змей у нас водится много. Давят их, мнут, на кострах ради потехи сжигают. И не разумеют, что ядовитых-то из нашенских раз-два, и обчелся. Да и тех можно пользовать умеючи. Смекаете?

В ответ я улыбнулся. Вроде бы ничего особенного не открыл мне ни Кузьмин, ни Прончатый, а легче стало. В жизни как в жизни, на войне как на войне.

Вот и опушка леса, из которого ринулись «шерманы» на шоссе и, встреченные огнем «фердинандов», стали один за другим сползать по крутой насыпи в пойменную луговину. Здесь танкисты обнаружили гать к железнодорожному мосту, по ней решили пройти к мосту, захватить его. На бревнах они и «заскользили».

Узкие гусеницы прорезали дерн луговины. Буксуя, машины зарылись чуть ли не до башен. Некоторые пытались развернуться, да так и остались в десяти-двадцати метрах друг от друга, одни на борту, другие кормой, третьи носом — в трясине. Стоило танку ожить — фашисты накрывали его минометно-пулеметным огнем.

Шоссе, по которому шли «шерманы», держит под огнем батарея зенитных орудий — не сунешься. Луговина и застрявшие на ней танки — на прицеле «тигров» и «фердинандов», что скрываются под мостом.

Где-то там, за огневыми зенитками немцев, «пантеры» Подниминоги, но связи с ним нет.

Подполковник Стрельцов скрытно выдвинул вперед, на всякий случай, батарею тяжелых САУ. Самоходчики ждали команды.

Над землею еще стлался дым от недавних разрывов мин и снарядов. Продираясь сквозь кусты, эвакуаторы поползли к «шерманам» и забуксировали их. Оказалось, экипажи сидят в танках четвертый день без крохи хлеба.

Буксировать танки с экипажами? А если немцы откроют огонь по ним? И танки пожгут, и люди погибнут. Немцы не такие дураки, чтобы давно не взять каждую машину на прицел. Выход один — выявить огневые врага и подавить.

Мне предстояла разведка боем. Надо вызвать огонь зениток и «тигров» на себя. Корректировщики засекут их и артиллеристы сделают свое дело. Под огнем самоходок эвакуаторы потащат «шерманы» на сухое. На жалюзи моей «тридцатьчетверки» лежало несколько баков с соляром и уйма дымовых шашек. Как только меня накроют огнем, Прончатый и Агафонов зажгут шашки и бросят горящие баки по бортам, будет создана видимость, что танк горит. Немцы, предполагалось, прекратят расстреливать горящую машину. После операции я смогу отойти.

Кузьмин не хотел пускать меня в это «самосожжение», но я сказал ему на ухо:

— Я покойник, мне терять нечего!

Он покачал головой и отошел к бронетранспортеру. Прончатый и Агафонов вызвались добровольцами. Сначала Прончатый вскочил на броню, а за ним Ага-

фонов, отставать от своего сержанта и земляка он уже, видимо, не мог.

За рычагами машины сидел Игнат Мешков, он тоже напросился добровольно.

Я подаю команду:

— Трогай, Игнат!

«Тридцатьчетверка», словно застоявшийся конь, чуть присела на корму и понеслась вперед. Я не следил за «шерманами», я видел только мост и оттуда ждал выстрела. Разведчики Быстрова не ошиблись: из-за каменного быка медленно выдвинулся ствол «фердинанда». «Далеко, — подумалось мне, — прямого попадания не будет». Дульный тормоз короля гитлеровской артиллерии осветился, а в следующее мгновение наш танк словно споткнулся и задрожал всем корпусом. Вспыхнули дымовые шашки, столб дыма окутал нас. С кормы по бортам полетели и загорелись бочки с соляром, — Прончатый и Агафонов свое сделали.

«Фердинанд» попятился, уверенный, что его снаряд достиг цели.

Мою «тридцатьчетверку» заметил и узнал Подниминоги из своей засады. И тотчас под мостом полыхнуло зарево, послышались взрывы, и выше пролетов взлетели три смерча огня. Это Ноздрев со своими разведчиками-фаустниками с моста поразил фашистов.

С железнодорожной насыпи скатилось шесть фигурок и, отстреливаясь, кинулись в нашу сторону. На полотно вырвался танк, было видно, как на его броне рвались снаряды. Стрелял и танк, но не в нашу сторону, а туда, где, по сведениям Быстрова, должна быть батарея зениток.

— «Пантера» Подниминоги! — догадался я и крикнул Мешкову: — Вперед!

Игнат отлично понял меня. Вырвавшись из дыма и огня, «тридцатьчетверка» понеслась по шоссе, легко одолела крутую насыпь и на предельной скорости помчалась по булыжнику. Теперь все зависело от Игната Мешкова. Где-то на дороге, по обочинам ее — фаустники, противотанковые пушки и еще черт знает что. Но впереди, отрезанный от своих, ведет бой разведотряд Ивана. Я догадывался, кто уничтожил немцев у моста и атаковал зенитную батарею. По «шерманам» она не била. «Жми, Игнат Мешков, жми. Мы еще повоюем. По-гвардейски, а не как-нибудь».

Я приоткрыл командирский люк. Вцепившись в скобы, на броне за башней залегли Прончатый и Агафонов с пулеметами, следят за обочинами шоссе. Значит, тоже решили: не все еще сделали.

Я закрыл люк и только тут заметил, что Игнат ведет машину с открытым водительским люком.

— Игнат, ты что? Спятил? — крикнул я в танкопереговорное и услышал в ответ спокойное:

— Так, командир, виднее нам, а гадам страшнее.

Я не возразил. Для Мешкова это не лихачество. Ярость переполняет его, и не слепая. Пытки водой, огнем и током, выбитые парабеллумом зубы, искривленные ноги... Счет немцам торопится предъявить Игнат! Таких, как он, не остановишь и не сломишь, его можно убить, а не победить.

Я вспомнил о вмятине на люке водителя — след удара болванки — и усмехнулся: в одно и то же место дважды не попадают. «Жми, жми, Игнат!»

Я чувствовал себя, как говорится, в полной боеготовности. Меня охватило чувство приподнятости, которое ощущаешь только в бою, оно как бы подхлестывало все видеть и слышать и быстро принимать решение. Приоткрываю люк и смотрю вправо: как там «шерманы»? Сразу не понять — то ли застрявшие танки двинулись кормами назад, то ли это наша машина летит вперед, — и все: каштаны на обочинах, воронки в кюветах, трупы на оставленных окопах, исковерканные орудия — уносится назад.

Перед кормами «шерманов» катятся огромные валы дерна, а позади остаются глубокие канавы, в них поблескивает вода.

Но где же тягачи? Ни одного не видать. Вспоминаю придумку Кузьмина тянуть танки на длинных тросах лебедками. «Молодцы технари!»

Башни «шерманов» настороженно шевелятся, пушками нашаривая цель. Ожили экипажи, готовы отстреливаться.

— Командир, прямо по курсу пушка! — слышу в шлемофонах. Танк прибавляет скорость. Захлопываю люк, бросаюсь к прицелу.

Вижу противотанковое орудие, наверно, то, что значится в разведдонесении Быстрова перед пунктом «А». Стараюсь поймать пушку в перекрестье. «Эх, Скалова

бы сюда!» Ловлю, но понимаю поздно. Немцы уже взяли на прицел.

Мешков, только ему ведомым чутьем угадывает момент выстрела, кидает «тридцатьчетверку» вправо. Болванка срезает левый запасной бак с газойлем. Танк некоторое время летит, правым бортом чуть не задевая каштаны на обочине. Заденет — и мы перевернемся. Нажимаю на спуск, стреляю почти в упор. И промахиваюсь. Заряжающий вталкивает новый снаряд. Меня бросает резко вправо — танк пошел влево, потом прямо, опять — вправо. Завертелся на месте. Прижимаюсь к прицелу и ничего понять не могу. Вероятно, порвало гусеницу. «Тридцатьчетверка» вертится на месте. Надо открыть люк, осмотреться.

— Командир, одна вместе с расчетом готова! — слышу спокойный голос Игната.

Машина, набирая скорость, устремляется вперед. Заряжающий вытирает пот со лба, откинув на спину танкошлем. Я приоткрываю люк и вижу удаляющуюся от нас вдавленную в шоссе пушку вместе с расчетом.

— Вот так Мешков! — Опускаюсь на свое сиденье и слышу спокойное:

— Командир, к пушке!

Молча выполняю приказ Игната. Вспоминаю донесение Быстрова: «Пункт «А» — фаустники». Заряжающий уперся плечом в шарнирный приклад пулемета, лбом в триплекс смотровой щели.

«Как там Прончатый с Агафоновым?» — проносится мысль. Проверять поздно, вижу в прицел, как перебегают дорогу солдаты с трубами адских машин под мышками. Нажимаю на спуск. Осколочный взметнул столб земли. Заработал пулемет башнера. Одной рукой пушку мне не зарядить. Решаю бить из спаренного пулемета, бить только наверняка.

Справа и слева в кюветах облезлые блестящие каски. Заряжающий жарит по правому кювету, я разворачиваюсь по левому.

Фу, вроде прорвались. Приоткрываю люк. Прончатый с одного борта, Агафонов — с другого все еще бьют из пулеметов. Расстрелянный диск, подпрыгивая на жалюзи, скатывается на дорогу.

Опускаюсь на сиденье — и тотчас к прицелу.

Скоро и пункт «В» — зенитная батарея. Веду прицелом вправо. Сквозь мелькающий частокол стволов

древних деревьев вижу железнодорожную насыпь. Недалеко от моста — горит одна из наших «пантер». Значит, не удалось захватить мост. Над мостом пламя еще не опало: горят фрицы.

«Лупанули бы по этому мосту из тяжелых — и делу конец», — думаю я и тут же поправляюсь: «Наверное, нашим нужен».

Кто же был в этой «пантере»?

Настойчивый стук в командирский люк. Открываю и вижу черное от копоти лицо, по усам да глазам узнаю Прончатого:

— Патронов бы к пулеметам, диска по два!

Я опускаюсь в машину и подаю четыре диска, в обмен принимаю столько же пустых.

— Удачи, Тимофей!

— И вам!

За воем мотора и лязгом гусениц мы едва слышим друг друга. Открываю шире люк, высовываю голову, Агафонов машет мне рукой: все в порядке, мол. Осматриваюсь, впереди слышны орудийные выстрелы, размеренные, как на полигоне, но ничего не вижу. Еще один заслон и — пункт «В».

Я опускаюсь в башню — и снова к прицелу. Дорога, каштаны. И все.

— Командир, попробуй связаться с «пантерами»...

«Черт возьми. Как я мог забыть о связи?» Включаю рацию на волну Подниминоги.

— «Нептун», «Нептун». Я — «Волга». Иду к пункту «Б». Пункт «А» смял. Дайте свои координаты, Снежок. Прием, прием...

— Я — «Нептун». Узнал голос. Пункта «В» нет, отошел к «А». Атакуйте с ходу. Из города движутся танки... Координаты немецких танков...

— Вас понял. Радирую в бригаду. Атакую...

Я связался с бригадой и передал координаты. Перегоняя нас, понеслись снаряды наших тяжелых САУ.

— Идем в тыл батареи.

— Есть!

И тотчас болванка впилась в лоб «тридцатьчетверке». «Вот тебе и присказка: дважды в одно место не попадают», — подумал я и увидел слева шоссе зенитное орудие. Они успели развернуть его против нас и даже выстрелить. На шоссе танк, как на ладони. Батарея на взгорке. Между полотном шоссе и позициями бата-

реи низина — мертвое пространство. Командую. «Тридцатьчетверка» замедляет ход, ныряет в кювет, медленно выбирается. Стук в командирский люк. Открываю. За крестом рук усатое закопченное лицо. Сигнал «стоп». На башне разгораются дымовые шашки. Все понимаю и останавливаю машину. Прончатый соскакивает с брони и осторожно ползет на гребень кювета. Сообразил, что мне не видна батарея. С минуту неподвижно лежит Тимофей, потом бежит к уткнувшемуся в кювет танку:

— Порядок, гвардии лейтенант. Обманули. Пушку развернули куда-то в сторону. Похоже, оттуда атакуют.

— Вперед! — командую я.

Прончатый вскакивает на броню. С султаном дыма от шашек летим мы на тылы батареи, а там словно не видят нас. Смотрю, люк у Игната снова открыт. Вижу, на шоссе параллельно нам атакуют две «пантеры». Зенитчики и пехота прикрытия бросают орудия и кидаются в разные стороны.

На батарею ворвались одновременно с трех сторон. Мешков первым, а еще три «тридцатьчетверки» со стрелами на башнях открыли огонь по «пантерам». Я ничего не понимаю. Игнат выскочил из танка и наметом кинулся к «тридцатьчетверке». Подниминоги остановил «пантеры» и открыл люки. Красные флаги затрепетали на ветру. «Тридцатьчетверки» с белыми стрелами остановились.

Не чуя под собой ног, я кинулся к «пантерам», Иван и Сергей — навстречу. Пока мы обнимались и целовались, подошли остальные танкисты, чумазые, запотелые и улыбчивые.

Здоровенный гвардеец в комбинезоне, перебросившись несколькими словами с Мешковым, шагнул ко мне и представился:

— Лейтенант Шамардин, командир разведотряда Пятой гвардейской...

— Ша-мар-дин? — удивленно, по слогам, проговорил я и отступил на шаг. — Яшка?

— Яков Петрович, сын собственных родителей. Мы вроде бы не встречались, товарищ...

Мы хохотали, а Шамардин удивленно оглядывался, выражение его глаз говорило примерно такое: «Ошалели от счастья. Молите бога, что вовремя подоспели».

Так, значит, существует Яшка Шамардин. Объясниться толком мы не успели. Старшина Иван Подниминоги зычным голосом подал команду:

— По машинам.

— Бачите? — и указал в сторону города. Объезжая воронки от снарядов наших тяжелых, навстречу нам развернутым фронтом шли немецкие танки. — Будем держаться! Темнеет, можно и отойти, но тогда какого черта мы бились здесь? У вас какая задача? — повернулся к Шамардину:

— Оседлать дорогу на Оливу, — ответил лейтенант.

— У вас? — Подниминоги повернулся ко мне.

— Тогда организуем оборону. — Старшина развернул карту. — Засядем в районе разбитого пригорода. Попросим еще огоньку и будем биться. Ясно?

Скалов стоял рядом со мной и беззвучно смеялся. Гвардии старшина обрел, как он сам выражался, «стратегический» ум. Его не смущало, что в группе есть офицеры, он знал нам цену, любил нас, воспитывал, а дело предстояло опасное, в котором никакой Яшка Шамардин не поможет, поэтому и взял командование на себя.

Группа, отбивая атаку за атакой, продержалась до рассвета. А на рассвете к городу вплотную подкатились войска фронта. Командующий предложил гарнизону капитулировать. В случае отказа, жителям предлагалось покинуть крепость. Гитлеровцы не ответили на советское предложение. Начался штурм. Самолеты повисли над городом.

Немцы, ожесточаясь, дрались буквально за каждый дом и перекресток. С верхних этажей по танкам метили фаустники. Из подъездов и окон подвалов в упор рыгали противотанковые ружья и пушки. Горящие здания рушились и заваливали узенькие улицы. Пламя с одной стороны улицы схлестывалось с другой, одежда десантников на танках тлела, воздуха не хватало...

В заливе появились вражеские суда. Огонь морской артиллерии обрушился на штурмующих. Тогда на берег выдвинулись дальнобойные орудия. Первыми пришли сюда СУ-122 и СУ-152. Началась артиллерийская дуэль. Корабли отошли на почтительное расстояние, но и там доставали их гвардейцы.

На малых высотах сразу со всех сторон на крейсеры и миноносцы ринулись штурмовики, а сверху обру-

шили свой груз бомбардировщики. Гавань была очищена, а за ней и город.

* * *

Весна уверенно наступала. Подсыхали колеи проселков, сохнуть им помогла «утюжка» тысячами автомобильных шин. Позади автомобилей волоклись шлейфы пыли, трава на лугах поднималась все выше и гуще.

Рядом синело Балтийское море, тихое, мирное. Бледно-голубое, под цвет воды небо казалось продолжением моря. И это весеннее море было позади нас, и над нами, и впереди, словно не хотело отпускать своих освободителей.

Еще долго виднелся трепещущийся польский флаг, водруженный над ратушей теперь действительно свободного города Данцига, поменявшего свое название на древнее польское — Гданьск.

Мы продвигались уже по освобожденным славянским землям.

Через Одер наводились переправы. Левый берег его настороженно молчал. Там готовились к последней схватке. Только каждый советский солдат знал, нет и не будет на свете силы, которая могла бы остановить нас.

Глава седьмая

Утро. Граница Западного Берлина. Контрольно-пропускной пункт в английской зоне.

Мы, ветераны, прошли на огороженную колючей проволокой территорию памятника советским солдатам. Представитель английской военной администрации не посмел следовать за нами.

Я остановился у «тридцатьчетверки» на гранитном пьедестале и, преклонив колено, как перед гвардейским знаменем, положил небольшой букет гвоздик...

По дороге к рейхстагу я все оглядывался на «тридцатьчетверку» — прошлое накатывалось волной.

Мы ходим вокруг колонн, вдоль стен рейхстага. Здесь в сорок пятом мы писали по камню свои имена: кто штыком, кто ножом, кто осколком снаряда, мелом, углем...

От подписей не осталось и следа. Но и камни порой говорят. Не дай бог, если снова война. Мы ей «НЕТ» в сорок пятом еще сказали. Мы... Но в мире мы не одни.

В вечность прочно входят дела, что вершатся на крови. Дело Зои-Зорьки, Стрельцова — комбрига, и ефрейтора Сапуна. Да. Они не дошли до победного дня. Многие не видели наших знамен над рейхстагом. Но с нами они незримо, те, кто убит под Москвой, под Варшавой, у Гданьска... И у рейхстага.

Мы знали комбрига в деле.
Ходил он по жизни в рост.
Лишь в сорок пятом,
В апреле,
Впервые покинул свой пост.
Мы везли его тихо-тихо,
Как не ездили сроду с ним...
Весна раскупавилась лихо:
В цвету резеда и жасмин.
Танк гвардейский
В живых цветах.
Ордена на атласной подушке,
А за гробом та самая... та...
На носу три веснушки.

Не было той «с тремя веснушками». Она ушла раньше. Но нам казалось, что и она, наша Зорька, идет с нами.

Четверть века прошло. Закрываю глаза и вижу: ко мне подбегает мотоциклист Скворцов:

— Слыхал, лейтенант? Победа!

Я схватил автомат и весь диск высадил в небо. На скрещенные руки упал головой, а потом тер глаза кулаками, как пацан, и, откинув шлем на спину, долго смотрел, словно оглохший, на онемевший город. Сквозь тенета пожарищ проглянула вдруг синева и запахло так густо сиренью, как будто она не цвела все четыре военных года. А потом я услышал, что птицы поют. Неужели они всю войну, до последнего дня для меня молчали? А потом увидел ребят. Нет, я раньше не видел таких: ни улыбок, ни глаз, ни румянца на лицах. Счастливые.

— Неужели и вправду мир? Мир навсегда?

— Товарищ гвардии лейтенант! Вызывает комбриг майор Перетяга... — Это снова Скворцов, мотоциклист, уцелевший, как я, как Сергей и майор, заменивший комбрига.

Получаю приказ разыскать на пути наступления

танки и направить на сборный пункт. Пункт отмечен на карте, на «двухверстке» с пришитыми на ней квадратами карты Берлина. Придется проделать мне обратный путь от Берлина до Одера.

Прежде чем сесть в прицеп «харлея», еще раз оглядываю рейхстаг в оспинах от снарядных осколков и пуль, с развороченными амбразурами. Вижу броские надписи, уйму надписей: мелом, углем, краской, штыками.

От фундамента, облицованного кладкой из крупного, прямоугольной формы камня, до самого выгоревшего купола красуются эти меты. Кажется, это сама солдатская слава, не отрываясь от земли, вздымается на крутую высоту и поднимает красные полотнища: одно... второе... третье... в окне, на колонне, на парапете, воткнутое древком в корону бронзовой фигуры, и, наконец, над самым куполом.

На ступенях у входа в рейстаг, на бронеколпаках, дотах и просто присев на что попало — противогаз или скатку, примостились солдаты. Они заняты самыми будничными делами: переобуваются, вытряхивая пыль из обмоток, песок из сапогов и ботинок. А те, кто успел привестись в порядок,— закуривают, дымят солидными самокрутками, трофейными сигаретами и сигарами. Дымят и жмурятся на солнце, бородатые воины-россияне.

Ни дать ни взять — привал. Очередной привал на длинном и трудном марше. Вот-вот заиграет горнист — и тогда не до курева. Но горны пока молчат. Отбой войне уже протрубили.

Парк Тиргартен рядом с рейхстагом. Древние вековые деревья стоят сейчас без верхушек, кроны словно неровно подстрижены.

Между деревьев, у комлей, торчмя торчат исковерканные зенитки, врезавшиеся в землю самолеты, подбитые и закопченные танки, и трупы в зелено-сером и в черном. А над всем этим высоко-высоко—алое знамя Победы.

Скворцов нажимает на газ, хрустит под колесами щебенка, отлетает прочь.

Черт возьми! Подумать только, до какого дня ты дожил! А сколько ползал в окопах, стучал зубами у костров и в блиндажах, спал без сновидений на сырой земле, а то прямо на снегу, с головой завернувшись в

шинель и прижавшись к другу, а то на ногах, как лошадь, на ходу и стоя. Где уж там разуваться, раздеваться, умываться и прочее разное.

Мотайся в танке, в башне или за башней на жалюзи, а на нервах твоих, что на струнах, играют смычки ружейно-пулеметного, пушечного и гранатно-бомбового огня.

В ушах не молкнут стоны раненых и умирающих, в глазах — убитые и покалеченные. А ты силишься прогнать от себя засевшую осколком мысль: и тебя, может, ждет такая доля.

И вдруг все это в прошлом, во вчерашнем дне.

Ты можешь разоблачиться, попариться в бане и завалиться в чистую с холодноватыми простынями постель. А когда выспишься — философствуй о будущем планеты: как-то будет на ней после войны, то есть теперь.

В узкой улочке танк, с кормы до башни заваленный битым кирпичом. Опознавательный знак на башне наш. Подъезжаем насколько возможно. Пробираюсь по навалу щебня к водительскому люку. Стучу. Люк медленно открывается. В его проеме — погорелый рыжий шлем, из-под лоснящегося налобника — красные от недосыпа глаза, в них вопрос: «Чего надо?»

— Дуй на сборный, — указываю механику-водителю координаты. — А где остальные? Живы?

— Спят. Передых вроде бы. А я на часах, — отвечает механик. И я чувствую, как он страшно устал и еще не знает о самом главном.

— Большой передых, друг!

— Что так? Приперли?

— Война кончилась!

— Что? — голова исчезает в люке. Из танка, как из колодца, доносятся радостные громкие голоса. Взлетает круглая плита командирского люка, и — тра-тата-а! — разрезает воздух очередь из автомата: личный салют Победе. Видно, ошалели ребята от радости, уснули на войне, а проснулись после.

— Трогай, Витяня!

У Скворцова улыбка до ушей. Перчатки — мушкетерские, с крагами, он сунул за пояс, держит руль голыми руками, на полный газ бы выжал, да нельзя, на пути то раздавленная пушка, то опрокинутая повозка со снаряжением, трупы одиночные и навалом — от

шрапнельного огня, видать. Трофейщикам и похоронщикам работы такой за всю войну не было.

И горько на душе, и радостно — настроение меняется с каждой сотней метров пути, по которому шли наши в логово фашизма.

Что-то думают обо мне дома? Писем все нет, или не могут нагнать они нашу кочевницу — почту полевую, или не пишут мне, считают, что нет меня.

— Товарищ гвардии лейтенант, — это Виктор перебивает мои мысли. — Еще машина. Гляньте.

Я осматриваю сгоревшую «тридцатьчетверку». У нее по самую маску оторван пушечный ствол, словно алмазом срезан. Под гусеницами смятое противотанковое орудие, в высоко задранном днище оплавленная по краям пробоина. Видать, кинулась на пушку, а стволом пробила стену, забило его, выстрел — и нет ствола, а фаустники из подвала тут как тут. Заглядываю в подвал. Здесь они, не ушли. Труба от разряженного фаустпатрона и два еще годных. Трупов наших танкистов не видно. Снова осматриваю танк. Убеждаюсь, что экипаж не погиб, даже пулеметы сняли и с собой унесли. Помечаю на карте, где встретила эта машина Победу.

— Трогай, Витяня...

Навстречу нам движутся войска: обозники, в упряжке трофейные битюги, автомашины, порожняком и с солдатами, техлетучки, санлетучки, бойцы на мотоциклах, велосипедах, верхом без седел. Подтягивается все, что отстало, затерялось, разбежалось по дороге к Победе.

Подтягиваются ребята, торопятся.

Мост Мольтке-младшего. Голубое полукружие Шпрее. Проскакиваем мост и останавливаемся...

Чтобы пробиться к рейхстагу, надо было форсировать Шпрее. Штурмовые отряды добровольцев осторожно продвигались к ней. У самого моста пришлось залечь, ураганный огонь не давал поднять головы. К самоходчикам приползли пехотинцы и, указывая на высокую кирпичную трубу, попросили огоньку.

На высоте десяти сажен с небольшим кругом клокотали огнем узкие амбразуры: били крупнокалиберные пулеметы.

Долетали сюда снаряды батарей из парка Тиргартен и с набережных на противоположном берегу. Снаряды рвались один за другим. Но танкисты не могли

отказывать пехоте. Игнат Мешков, он после освобождения Данцига пересел с моей машины на самоходку, выслушал командира артустановки. Не закрывая люка, чтобы лучше ориентироваться в сумерках, повел машину на выгодную для обстрела трубы позицию.

Корректировщики немецких батарей с набережных Шлиффен-Уфер и Кронпринцен засекли мешковскую самоходку. Снаряды веером рвались вокруг. Прямое попадание тяжелым — и капут, как говорят немцы.

Самоходка высоко задрала орудие. По таким целям стрелять еще не приходилось.

Выстрел. Промах. А немецкие снаряды рвутся все ближе. Еще выстрел, и тут же за ним следом еще один. Верхняя часть трубы рухнула, ломаясь надвое. Штурмовой отряд кинулся на мост.

Тяжелый снаряд угодил в борт самоходки и, вывалившись сквозь другой, взорвался. Машину приподняло взрывной волной... Один Мешков, не закрывавший водительского люка, успел выпрыгнуть. «Сотка» запылала. Она выгорела так, что в броне на старых вмятинах от болванок образовались дыры, сосчитать можно, сколько ударов выдержала уральская броня, прежде чем получить последний крупнокалиберный роковой. «Сотка» стояла на куче кирпичей с высоко поднятым в небо хоботом орудия, словно слон, безмолвно трубящий тревогу.

— Трогай, Витяня, трогай...

Вот и старинный особняк, рыцарский замок в миниатюре, с башнями по углам и на фасадной стороне, с зубчатыми бойницами поверх стен. От нижних этажей почти ничего не осталось, а верх с башнями и бойницами каким-то чудом держался.

В этом замке-особняке располагался КП самоходно-артиллерийского полка майора Перетяги.

Сюда на своем вездеходе приехал Стрельцов. Он поднялся наверх и в бинокль старался определить, далеко ли продвинулись наши. Рядом стоял Перетяга. Пуля сбила с майора фуражку, он нагнулся за ней, поднял, а надеть не успел. Роняя на грудь бинокль, на руки майору упал комбриг...

* * *

Бригада форсировала Одер. Тяжелые танки и самоходки грузили на спаренные баржи, а средние шли

своим ходом по наведенной мостовиками переправе. Я на мотоцикле одним из первых перескочил Одер по понтонному мосту. За Одером — пойменные луга, перерезанные протоками и речушками, затравевшие озерца да болота с редкими островами-кочками и камышом. Только одна булыжная дамба могла выдержать тяжесть боевых машин, но она методически обстреливалась невидимой с берега артиллерией. Чтобы здесь прошли танки, надо было захватить батареи врага. Штурмовые отряды пехоты уже выдвинулись с этой задачей вперед, наши «петляковы» усиливали пехоту.

Я помчался по дамбе. Устрашающий рев хлынул навстречу со всех сторон, аж зазнобило. Глянул на Скворцова, тот на меня. Мы ничего не понимаем. Что за жуть? Откуда?

На дамбу выкарабкиваются наши танки, рев потише вроде, а чуть стихнут моторы, опять хоть уши затыкай. Приглядываемся. И волосы на голове шевелятся от ужаса. Не кочки торчат из трясины справа и слева от дамбы, а рогатые и комолые головы коров, быков, да и коз, наверное. В редеющей предрассветной сумеречности видны кое-где худые острые хребты. Дико поблескивают круглые обезумевшие глаза, раскрытые пасти исходят паром и ревом...

Немцы, как только перешли мы границы Восточной Пруссии, угоняли всех людей, а заодно и скот. На запад базировались, не дойдут туда русские. У русских политика: «чужой земли ни пяди», а они уже на чужой. И начали пугать советских солдат листовками. За Одером ждет, мол, вас неминуемая гибель, немецкое командование располагает невиданным новым всесокрушающим оружием, не хотите же вы своей погибели... Оглянитесь, доблестные солдаты России, как далеко вы оторвались от Родины. Вас ждут жены, дети, матери, непаханые, заросшие чернобылом поля. Остановитесь...

Спохватились, гады, да поздно. В сорок первом надо было кумекать, герры!

Девятым валом надвигалась Красная Армия, сметая на пути все, что могла выставить против Германия. Становилось ясным — русские не остановятся. Не первый раз им брать с бою Берлин.

А пока... Гитлеровцы принялись истреблять животину. Даже те гурты, что успели переправить за

Одер. И в этой пойме затопили они не одну тысячу голов.

Гвардейцы, развернувшись цепью, перебегали, в темноте думалось, по кочкам, а оказалось, по головам и хребтам утопшей скотины. Ревущих, жалеючи, пристреливали. И от этого, не свойственного солдату дела, матерились в гневе.

Одолев болото, пехотинцы залегли, готовясь для очередного броска. «Петляковы» ринулись на немецкие батареи. Не успел развеяться дым от разрывов бомб, пехота уже была на вражеских позициях. Артиллерия замолчала, и наши танки ринулись через пойму по дамбе.

С неба на пехоту посыпались бомбы, на горизонте появились танки. У наших стрелков даже орудий нет, благо, что траншеи немецкие в рост. Там, где пообвалились, мелькают малые саперные лопаты, подправить надо. А танки — вот они, уже слышен утробный гул моторов. Не жалеют снарядов, бьют с дальних дистанций, забыли о своей особенности — экономии. Бьют и упорно надвигаются.

Жестко хлопают выстрелы противотанковых ружей — пристреливаются к ориентирам, что неподалеку от траншей, подойдет «пантера» к такому ориентирчику, кочке малой, здесь и встретится с бронебойкой.

Выползают со связками гранат смельчаки, спешно окапываются для маскировки.

Не менее полка гитлеровцев прямо с грузовиков бросилось в бешеную безрассудную атаку.

— Фрицы дошли до ручки! — говорит Виктор.

Мы наблюдаем за боем с дамбы. Я понимаю и другое — наших сейчас сомнут или отбросят.

— В бригаду, гвардии ефрейтор. Аллюр три креста! — приказываю я Скворцову.

— Есть, аллюр три креста!

«Харлей давидсон» «мессершмиттом» летит обратно к Одеру, к танкам, что, переправившись, накапливаются на опушке леса. Болото у них уже за кормой.

— Товарищ гвардии подполковник, — кинулся я к вездеходу комбрига и, сдерживая дыхание, выпалил: — Наших атакуют танки и автоматчики. У наших только ПТР и гранаты. Не устоять. Я только что с передка.

Бронетранспортеры с противотанковыми пушками на прицепе, выжимая все из американских девяностосиль-

ных «геркулесов», пошли на подмогу пехоте. За ними вытягивались в колонну «тридцатьчетверки». Дорога не позволяла развернуться фронтом, к обочинам ее плотной стеной подступал густой сосновый бор.

— Я, Витяня, в атаку! — крикнул я Скворцову и вскочил на броню головной машины, на ней должны быть Иван и Сергей. Вцепившись в скобы на броне, «тридцатьчетверку» облепили автоматчики. Все рвались в бой, никого не удержишь, ведь идут последние дни войны.

Не успели мы выехать из леса, в воздухе появились «мессеры». И пошли, снижаясь до бреющего полета, в атаку на «тридцатьчетверки». Зенитных пулеметов на средних танках нет, отбиваться или хотя бы попугать летчиков нечем. Они знали нашу беду, потому и обнаглели.

Я видел, как пилот в кожаном шлеме и черных очках, склонив голову на плечо, глядел на нас и резал из пушки и пулеметов. Люки захлопнулись перед моим носом. Десантников с брони словно смыло, на полном ходу пососкакивали они на землю, залегли в кюветах и за стволами сосен.

Танк задрожал всем корпусом. Очередь бронебойных перепоясала его. Мне обожгло лоб, я схватился рукой за голову, а другой еле удержался за скобу, ветром от самолета меня чуть не сорвало с танка.

Я вытер кровь, боли не чувствовалось. Так, царапина осколком брони, выщербленным пулей. С неба нарастающий гул. Заходит второй «мессер». Он повторяет маневр первого — на бреющем по колонне поочередно, от замыкающей машины до головной, а потом взмывает в небо — вывернуться на новый заход. И так, пока боезапаса хватит.

Ни одна из бомб и снарядов первого «мессершмитта» в танк не попала, а те, что взорвались на дороге, вреда не причинили. Вот если бы прямое попадание...

Второй самолет, почти касаясь брюхом верхушек деревьев, шел на наш танк. Я опять видел летчика за стеклом кабины. Этот не промажет. Я заметался по танку, кинулся вперед за башню и спрятал голову под ствол орудия. Да разве он может меня защитить, весь я, кроме головы, снаружи.

Опять задрожал танк, очередь молнией наискосок полоснула по броне, грохнула бомба и, не разорвав-

шись, скатилась с жалюзи. Самолет круто взмыл. За ним, снижаясь, заходил на цель третий. А всего их девять, да каждый сделает не один залет. Какой-нибудь угодит туда, куда надо.

«Мессершмитт», поливая огнем колонну, приближался. Я не выдержал и кинулся к командирскому люку, застучал рукояткой парабеллума. Люк приоткрылся, но в башню не втиснуться, танк битком набит десантниками. Они влезли туда при атаке первого «мессера», когда люки были открыты.

Скалов увидел мои глаза, нависающие зловещие крылья с крестами и толкнул Ивана в плечо, подал команду.

В тот момент, когда немецкий ас нажимал на гашетку, в третий раз испытывая мою планиду, «тридцатьчетверка», сделав короткую остановку, как для выстрела, круто развернулась и сошла с дороги. Высокая сосна нырнула под днище, медленно повалилась на сторону вторая. Третья, стоявшая на пути, дрогнула от комля до вершины, хвоя осыпала танк, но сосна устояла. Мотор заглох.

Семь «мессершмиттов» из девяти прошли мимо. Это, наверное, и спасло нас, по крайней мере, меня.

— И зачем, командир, на рога прешь? Ездил бы на своем «харлее», — ворчал старшина Иван Подниминоги, пытаясь завести дизель. Я, чувствуя себя виноватым, молчал. Меня никто не посылал в атаку, но я все еще считал себя командиром головной, а обязанности офицера связи исполнял вроде бы во внебоевое время.

Бронетранспортеры с противотанкистами подоспели вовремя и развернулись. Огнем прямой наводки почти в упор встретили артиллеристы немецкие танки, которые не отворачивали, горели, но шли, сердито урча моторами. Как стадо кабанов за пораненным вожаком, не разбирая пути, мчится по кустам и камышу, так на этот раз шли и гитлеровские танки.

«Пантеры» и «тигры», сминая пушки, обходя их, ворвались на позиции пехоты, но утюжить здесь было нечего. Бывалые гвардейцы не страдали «танкобоязнью», спокойно пропускали над собой танки и били гранатами по бакам с горючим наверняка. Столбы огня, рокоча и извиваясь, поднимались в небо.

Юркие бронетранспортеры, те, что с пушкой, и те,

что с двумя пулеметами «браунинг», заранее ушли с курса танков и ударили во фланг полка гитлеровцев, что подоспели сюда на грузовиках и пошли было в атаку.

Из леса, грохоча гусеницами, выдвигались наши тяжелые танки и самоходные орудия, а впереди них, в пыли, видны только верха башен да концы стволов орудий — мчались в атаку «тридцатьчетверки».

«Мессеры», истратив без пользы боеприпас, набирали высоту, уходя на запад.

Скворцов догнал меня, когда еще Подниминоги не успел завести мотора. Я пересел в мотоцикл и поехал разыскивать комбрига, возможно, я ему нужен, везти приказ или еще что.

Стрельцова я нашел у железнодорожной будки, взобравшись на которую, он руководил боем. Отсюда я увидел и нашу «тридцатьчетверку». Она запаздывала, оказалась теперь не головной, а замыкающей.

Боевые порядки бригады не успели сблизиться с противником, как были обстреляны неожиданно появившимся бронепоездом. Он нещадно громил правый фланг. Приободрились немецкие танкисты, остановившиеся было перед фронтом русских танков.

Стрельцов приказал повернуть против бронепоезда тяжелые самоходки Перетяги. Пока те разворачивались, два залпа один за другим накрыли бригаду. Еще один — и придется отходить. «Пантеры» и «тигры» тоже не молчат. Я считаю наши горящие машины, сердце сжимается.

Из дыма и огня вырвалась «тридцатьчетверка», номера ее отсюда не разобрать, вырвалась и на предельной скорости помчалась прямо к бронепоезду. Саженях в десяти от цели она полыхнула, на мгновение сбавила ход и, заревев мотором, чуть присела на корму. В облаке выхлопных газов, высекая искры из рельсов, с бешеной скоростью ринулась она на таран. Удар был настолько велик, что бронеплощадка слетела с рельсов и перевернулась, загородив путь.

Перетягинские самоходки, развернувшись, изрешетили бронепоезд, он горел так ярко, что даже затмил своим пламенем восходящее солнце. В ближнем бою «тридцатьчетверки» и «иэски» добивали «тигров» и «пантер». Разгром был полный. Ни одна немецкая ма-

шина не ушла, обгорелые коробки забаррикадировали все поле от леса до занятых нашими немецких траншей.

Я оглянулся, отыскивая глазами свою «тридцатьчетверку». От леса она успела отойти метров на двести, я уже радовался в душе за ребят, в первой линии могли и погореть. Но что это? «Тридцатьчетверка» задымилась и встала. Из нее выскочили двое и, стреляя из автоматов, кинулись обратно к лесу.

— Скворцов, к танку!

Виктор развернул «харлея» и помчался к пылающей машине. Скворцов прыгнул в танк и тотчас выскочил обратно, выбросив вещмешки.

— Хана танку, лейтенант. — И повел мотоцикл к опушке.

Серега стоял на коленях перед Иваном, лежащим навзничь. Гвардии старшина Подниминоги умирал. Разрывная пуля вошла в грудь и на вылете вырвала всю левую лопатку. Тихо, не приходя в сознание, отошел старшина. Сняв шлемы, мы стояли над ним. Ни слез, ни вздохов.

Никогда не думалось, что старшина погибнет вот так просто.

Оставшиеся в лесу, в тылах нашей пехоты, фаустники зажгли «тридцатьчетверку», а сами пытались скрыться в лесу. Вон они у сваленной сосны, гримаса смерти перекосила им лица. Да что толку, Ивана не воротишь.

Грохот удалялся. Свечами горели вдали танки. Дымила, рыгая огнем, и наша «тридцатьчетверка», один за другим рвались в башне снаряды, и с каждым взрывом машина, словно живая, подпрыгивала. Я вспомнил, так уже однажды было, когда Подниминоги вытащил меня из горящего танка, понес на плечах, словно куль, и сам упал раненным. Все, все повторимо, но жизнь не возвращается.

Не сговариваясь, молча, принялись мы рыть могилу, здесь же на опушке.

Осторожно протер я ордена и медали старшины, посмотрел документы, партийный билет, письма, потом завернул их целлофановой бумагой и положил в свой планшет. Вся жизнь Ивана, вся его боевая биография перешла ко мне... к нам, живым, и в нас она не должна умереть, и, если погибнем мы, — наша жизнь вме-

сте с Ивановой перейдет к другим, разве мало у нас друзей-побратимов?

Скворцов достал из своего багажника трофейный красный ковер. В него мы завернули старшину и бережно — Сергей и я — за плечи, а Виктор — за ноги, опустили в могилу. На грудь старшине насыпали родимой земли: прах села Гречановки, что возил Иван с собой и берег пуще глаза.

Скворцов срубил молоденькую сосенку. Очистил ее от ветвей и коры и воткнул в пологий холмик. За неимением звезды, на конец сосенки прикрепили красный флажок.

— Мы вернемся сюда, старшина, и гранитный поставим тебе обелиск. До свиданья, Иван Подниминоги.

Три автомата захлебнулись в прощальном салюте.

Солнце уже взошло, диск его, казалось, плыл к нам по тучам дыма и языкам пожарищ, которые укутали всю землю вокруг, и горизонта не видно. Фронт, громыхая, железно ворочаясь, катился к Берлину.

— Товарищ гвардии лейтенант, машина! — оборвал мои воспоминания Виктор.

* * *

У крутого глинистого берега канала на борту лежала «тридцатьчетверка». Левая гусеница и весь борт ушли в ил, а правая выфрезеровала в береге глубокую борозду. Землю перед танком срезали лопатами перемазанные в грязи и мазуте танкисты. На суше работал на малых оборотах тягач, стальной трос от него накинут на один буксирный крюк танка, а второй — в иле. Надо и на него накинуть.

У кормы танка по колено в грязи со вторым концом троса копошился человек. Он разгребал грязь руками, стараясь добраться до буксирного крюка. На берегу курили несколько солдат-эвакуаторов. Я подошел к ним.

— Цела? — я кивнул на машину.

— Трошки увязла, — ответил мне один из солдат, промокший, видать, до костей.

— Костер бы, что ли, развели, просушились...

— Есть когда!

— Да спешить-то, славяне, некуда...

— Как это так некуда?

— Война-то кончилась!

— Что?

Солдаты окружили меня и Скворцова, лишь тот, что пытался добраться до буксирного крюка, продолжал свое дело, словно не слышал меня.

Еще в тот день, когда перешагнули границы Германии, все понимали, война идет к концу. Ждали этого дня, гадали: завтра или послезавтра настанет он. Но как ни пророчествовали, он, этот день и час, пришел неожиданно, вдруг.

— Победа, ребята. Голову на отруб нате! — это принялся убеждать ошарашенных эвакуаторов Скворцов. Услышав голос мотоциклиста, человек, разгребавший грязь руками, проговорил. «Есть такое дело!» — и стал с трудом выбираться на берег. Он был без фуражки. Потные волосы прядями прилипли к замазанному мазутом лбу. С шинели, подоткнутой полами под ремень, слетала ошметками грязь.

— О чем разговор? Я не ослышался? — спросил он, вставая передо мной во весь рост.

— Товарищ инженер-капитан? Вы? — Я только сейчас узнал зампотеха бригады Кузьмина.

— Я, Снежков. Как видишь, собственной персоной,— и, заметив мой удивленный взгляд, улыбнулся, выдернул из-за пояса полы шинели. — Ребята замотались, который день подбитые да застрявшие машины тягают. Считай, от самого Одера, бессменно. Да ты что говорил?

— Война кончилась, товарищ гвардии инженер-капитан, — выпалил я, становясь по стойке «смирно». Теперь поверили все.

— Ура! — загремело над каналом и — тра-та-та-а! — ударили в небо автоматы.

Забыв, что весь в грязи, инженер-капитан обнял меня и трижды по-русски поцеловал. Словно я победил Гитлера.

— Это, Снежков, за добрую весть! — Кузьмин отпустил меня, сунул в кобуру пистолет, из которого салютовал, и задумчиво проговорил: — А торопиться нам еще есть куда. Ну, пробуйте, ребята, — кивнул он на «тридцатьчетверку», затраленную на два троса. Тягач взревел, натянулись, запели тросы. И опять мне показалось, что так уже было. Старшина Иван Подниминоги под Москвой вызволял свою «старушку» из грязевого плена...

— Ты зачем сюда примчался? — спросил Кузьмин, когда танк тронулся с места и поплыл за тягачом на сухое.

— Перетяга послал направлять машины на сборный. От бригады машин при нем раз-два, и обчелся.

— Да, — вздохнул Кузьмин. — Проедем-ка, покажу....

Мы сели в мотоцикл, инженер — в люльку, я — на заднее сиденье, и покатили.

На гребне и склоне земляного вала я насчитал десять «тридцатьчетверок».

— Приглядитесь, — сказал Кузьмин, — пробиты низовые наклонные листы носовой брони, а у некоторых даже днища. Били, выходит, почти в упор, когда наши переваливали гребень. Представляешь, что здесь было!

Саженях в трех от гребня — раздавленные пушки. Вся батарея вмята в жесткий суглинок. Из-под исковерканных лафетов кое-где виднеются серо-зеленые мундиры артиллеристов. На одной пушке застыла «тридцатьчетверка», навылет пробитая болванкой.

«Не иначе с пяти-шести метров, — определил зампотех. — Танк уже прошили, а он по инерции подмял под себя пушку и только тогда встал. Ремонтникам здесь делать нечего. Железный лом, — инженер вздохнул. А мне опять показалось, что так уже случалось. Память перед глазами оживила бой у Китовой горы, наши «тридцатьчетверки» утюжат немецкую батарею. Зорька тащит меня на спине подальше от рвущейся по листам нашей машины...

Я заношу на карту десять «тридцатьчетверток», отмечаю: «безвозвратные» и прощаюсь с Кузьминым.

— Остерегись, Снежков. В лесу шатаются гитлеровцы...

— Да война-то кончилась?

— Для кого как. А ты гляди в оба. Ну, ни пуха ни пера...

Мы пожали друг другу руки и расстались. Зампотех вернулся к эвакуаторам, а мы поехали дальше.

...Где-то здесь на опушке должна быть могила старшины Ивана Подниминоги. Проскочили небольшой мост. Вот и глубокий кювет, за ним на взгорке — могила, я вижу сосновый шест с флажком. Скворцов сворачивает. Мы направляемся к холмику.

«Дзинь-дзинь!» — пропела пуля, за ней вторая, третья. Мы распластались на земле. Стреляют от дороги. Стараясь врасти в грунт, заползаем за могильный холмик.

На дороге — немцы, человек десять. Палят из автоматов, и головы не поднять.

«Вот тебе и кончилась война», — думаю я и вспоминаю слова Кузьмина: «Для кого как, а ты смотри в оба».

«Ерунда такая, немцы, наверное, не знают о случившемся. Конечно, не знают. Где им, разбрелись по лесу...»

— Война кончена! Криг капут! — кричу во весь голос, что есть мочи кричу. В ответ — автоматные очереди.

«Такое, значит, получается», — думаю я, вставляя запал в гранаты, автомат мой остался в люльке. Ни к чему, решил, таскать после войны. Скворцов сдирает со спины свой ППШ. В войну он его на груди носил, а после — за спину спровадил. Дела...

Гвардии подполковник Стрельцов разложил на столе перед командирами карту.

— Вот, глядите, расстановка сил на шестнадцатое, — подполковник обвел круг, — на двадцать первое, видите, круг сжался, а на сегодня...— Мы увидели жалкую полоску, пронизанную красными клиньями. — А вот мост через Шпрее. Там Перетяга. Я еду туда...

Евгению Александровичу не суждено было сделать ту «жалкую полоску» с рейхстагом в центре. А мы одолели... И вот теперь, после войны, погибаем здесь...

Старшина, он и сейчас защищал нас: в могилу, как в бруствер окопа, впивались фашистские пули, взвинчивая буравчики земли. Скворцов выполз сбоку могилы и застрочил короткими очередями. Только я высунул голову, пуля сбила танкошлем.

«Не подняться. Теперь все. Здравствуй, старшина. Гвардии лейтенант Снежков идет к тебе». Я посмотрел на собственную руку, сжимающую лимонку, пальцы побледнели, но не дрожали.

«Я приду не один, прихвачу с собой и этих гадов...» Смотрю — Скворцова нет, мелькнула только его черная спина и пропала.

Вырвав чеку, я подождал секунды три и, вытянувшись всем телом, одновременно приподнимаясь на левой руке и занося правую назад, метнул гранату. Она, как я и рассчитывал, разорвалась, не долетев до земли, сверху шрапнельным снарядом накрыла кювет. Гитлеровцы повскакали и — ко мне, я бил, не целясь, в упор, из парабеллума.

— Хенде хох, гады!

Позади фашистов на дороге стоял Скворцов, уперев диском в живот ППШ. Он пролез под мост, пробежал кюветом по ту сторону дороги и оказался в тылу немцев.

— Хенде хох! — повторил он и нажал на спуск. Зажимая руками кто бок, кто грудь, немцы валились наземь в метре от могилы Ивана Подниминоги.

Я поднялся и, тяжело дыша, пошел навстречу своему спасителю.

Виктор продолжал строчить. И опять мне показалось, что так уже было. Необстрелянный рядовой Скворцов, будучи третий день на фронте, стрелял по убитым фрицам и на мое замечание «зачем же по мертвым» ответил: «Живых-то я еще не встречал».

— Виктор! — закричал я сейчас. — Не надо! Прекрати...

— Это же эсэсовцы...

Гвардии ефрейтор подошел ко мне:

Только тут я обратил внимание на черные мундиры убитых. Десять гадов, десять трупов.

— Трогай, Витяня. Для этих война кончилась действительно.

...Я открываю глаза. Солнце слепит. Посвистывает ветер в массивных колоннах рейхстага. Двенадцать часов дня. Май. Тысяча девятьсот семидесятый год. Мы, живые и мертвые, на своих постах слышим, чем дышит земля, снимаем с орудий чехлы по ночам, не от страха...

Часть III

Глава первая

Я увидел в зеркале человека. Он метит в меня. Успеваю сообразить, если вижу черненькое, полированное изнутри пулями дульце, значит, смерть ошиблась, смотрит несколько в сторону.

На зеркале — дырка и лучи от нее, ни дать ни взять — звездочка на подернутом изморозью куске неба. Одна-единственная. А больше может и не быть, просто я не смогу увидеть больше, не успею.

Нет, гад, не перехитришь, мы с тобою встречались не раз. Я падаю раньше, чем загремел второй выстрел, и еще одна звездочка залучилась на изморози. Третьей не будет. Граната у меня в руке, хорошо, что запал вставлен, зубами срываю чеку, бросаю через себя. Теперь не шелохнуться. Спасительная эф-один может задеть и тебя.

К черту, почему так долго нет взрыва? Не сработал запал? Вижу между двух звезд в зеркале застывшего немца и крутящуюся вертушкой у ног его гранату.

— Гад! — кричу я и бросаюсь в оконный проем. Ударившись головой о земляной пол, просыпаюсь. В поту, мокрый, как вылитый из норы суслик. В зубах у меня не кольцо от чеки, а медная пуговица. На правой манжете гимнастерки ее нет.

Война закончилась, а мы все еще не отвоевались, не наяву, так во сне. Я облегченно вздыхаю, радешенек, что все это только во сне.

Пал Берлин. Отгремели салюты Победе, вначале индивидуальные, а затем по приказам. Задавали пиры такие, что на всю жизнь в памяти. Праздновали Победу и в нашем гвардейском. В рыцарском зале старинного замка тремя колоннами выстроили столы. Чего

только тут не было! Закуски, водка, пиво. Жаренные целиком туши поросят в обрамлении зелени: лук, петрушка, хрен. Всяческое разносолье, соусы. А вина? Никогда и не думалось, что столько марок этого зелья существует на белом свете.

Но надо отдать должное славянам, они все же предпочли на этом пиршестве всему разнообразию хмельного, привычное — спирт, а закуской никакой не брезговали.

Рядовых в самом рыцарском зале не было, для них угощение подавалось прямо под открытым небом, но не менее обильное. Никто никому не устанавливал нормы.

В разгар празднества, уже после того как выступил с обширной веселой программой красноармейский ансамбль, прогремел выстрел, и в рухнувшей тишине послышалась ругань. В сутолоке мелькнула рука с пистолетом, но нового выстрела не последовало, пистолет отобрали, а стрелявшего поволокли к выходу из зала. Я с леденящим ужасом узнал побелевшие, как у вареного судака, глаза Перетяги, он пытался вырваться, да где там.

Начальник политотдела что-то сказал адъютанту, тот стремительно шагом ушел. И тотчас грянул оркестр. Празднование возобновилось. Словно ничего и не произошло. Да, вроде бы ничего... Но майора Перетягу с тех пор в бригаде не видели, командование принял дотоле нам неизвестный подполковник Добин.

Части вывели из городов и населенных пунктов, расположили в полевых условиях. Пока приводили в порядок себя и боевую технику, было еще сносно, а как выдраили все до блеска, перекрасили танки и орудия, расчистили дорожки и линейки для построения, потянулись скучные серые дни.

Затосковали солдаты о доме, о далекой и осиротевшей без своих сынов Родине.

После ужина Сергей Скалов с гитарой в руках садился на поваленный ствол сосны:

— Тошно, командир, без дела. Когда нынешнее пусто, тянешься во вчерашнее, а солдат вперед шагать привык...

Вокруг Скалова, только забренчит его гитара, сразу же собирается кружок солдат, до самой вечерней поверки табунятся. Вспоминают поочередно то, что бы-

ло, да кануло. Вспоминая, люди оживлялись, добрели с лица и в словах.

Слушаешь их, и кажется, что вовсе не трудно было в атаках да прорывах — весело! А теперь вот сиди тут или передвигайся от одних ворот полевого лагеря до других, а за ограду — ни шагу — самоволка. За шлагбаум если и выходят, то только в строю, с песней, на прогулку или в гарнизонный караул. Есть и более скучное: собирать в лесу мелкий сушняк вплоть до хвоинок, чтобы травка зеленей казалась, в общем — чистота и порядок.

«Старички» все гуще шептались о демобилизации. Но, видно, не пришло время спарывать погоны.

Начались занятия, как в учебном полку, по строгому расписанию. Еще больше заскучали гвардейцы. На строевой шагают словно сонные, а на теории умудряются спать с открытыми глазами и без храпа.

Смотрю, как-то Виктор Скворцов — в учебном классе занимались за самодельными столами — руку в локте согнул, на ладонь ухом прилег, а глаза на меня прямой наводкой нацелил.

— Ефрейтор Скворцов! — говорю строго.

— Я! — вскакивает Виктор, оживляются и остальные гвардейцы, весь взвод словно воскрес, зашаркали подошвы о траву, скамейками поскрипывают, каждый косит глазом на часы: не время ли на обед.

— Что это вы, товарищ гвардии ефрейтор, ладонью ухо зажимаете? — стараясь не улыбаться, продолжаю я, а Скворцов, не моргнув, отвечает:

— А для того, товарищ гвардии лейтенант, чтоб из него не вылетало то, что в другое влетает.

Гвардейцы хохочут. Смеюсь и я. Что поделаешь, такова обстановочка.

— Встать! — командую. — По четыре становись. На проминку бегом, марш.

Такое, знаю по себе, освежает, и время обороты набирает. Не любят солдаты, словно дети, длинных разглагольствований. Привычка к коротким, емким словам глубоко сидит, и ее не выкорчуешь.

Захара Агафонова застал я за выпивкой. В одиночку пьет. Дал я ему наряд вне очереди. Послали Агафонова в парк боевых машин.

Захар вытащил сиденье из бронетранспортера, положил под задний мост, лег спиной на мягкое и при-

нялся ветошью дифер протирать. Ну ладно, думаю, хорошо. Не на голой же земле ему спиной елозить. В парке-то под машинами дерн снят до песка, чтобы чистота и аккуратность, а в траве вечно какой ни то мусор накапливается, сразу и не заметишь.

Раза три проходил я мимо Агафонова, вижу, все еще трудится, на спине лежит.

Горнист заиграл: «Бери ложку, котелок». Агафонов в строй успел, в столовую опаздывать нельзя. Сержант Прончатый повел взвод на обед. Столовая, как и учебные классы: самодельные, топорной работы столы, скамейки врыты в землю, рядом для офицеров отдельные столики на четыре человека, а кухня — по ходная. Все это хозяйство под брезентовой крышей от солнца и дождя. Далеко пахнет кашей, щами и крепким кофе.

Аппетит у всех отличный, наверное, хвойный настой лесного воздуха сказывается. Лица у солдат округлились, так и лоснятся. Какая там ни будь тоска, а не вымотает она, как бессонье, на маршах да в боях. Вот и нагуливаются ребята на добрых харчах. Паек идет по фронтовой норме, но многим он уже через силу. Вот, правда, Захар Агафонов без добавки не обходится.

— Мне, — говорит, — любая норма, что слону дробина. Подсыпь-ка гречки!

Повар добр, накладывает Захару полный «разводящий» подернутой парком рассыпчатой гречневой каши.

— Ешь на здоровьице! Кому еще, гвардия?

Охотников мало, но любители поесть про запас имеются, все еще кажется некоторым, а вдруг завтра харч не в таком обилии будет, сменят норму, война-то ведь кончилась.

После обеда, как и положено по распорядку дня, час сна. Люди в этот час не то что на занятиях, никакими силами усыпить себя не могут, ворочаются с боку на бок на нарах. Матрасы, набитые мхом и травой, прямо на жердины положены. Глядишь, жердины почему-то разошлись, и летит солдат вместе с постелью под нары. Палатка волнами ходит от хохота. Попробуй разберись, кто такую штуку подстроил.

Только улягутся, с минуту-другую простоит тишина, брезентовые стены перестанут трепыхаться, как снова

чепе, кто-то на сук напоролся. И опять хохот. Домовой, говорят, в немецком лесу колобродит, задобрить его требуется, а то он черт-те знает что еще может натворить. Задобрить так задобрить. Достают гвардейцы свои помятые фляги, отпивают по глотку «снотворного» и засыпают. Задобрили, мол.

На подъеме картина иная. Вскакивают солдаты как ужаленные и замирают по стародавней привычке, настороженно пару секунд ждут: не последует ли за командой «подъем» страшное самовозводящее — «Тревога!»

Командир мирно улыбается. И гвардейцы облачаются в свои доспехи уже не с прежним тревожным пылом. Занимаюсь я со взводом до обеда, а после у меня время самоподготовки, читаю, составляю конспект на завтра, прохожу по расположению. С экипажами и десантниками кто-нибудь из других офицеров, смотря по теме, помпотех или командир машины.

Меня интересует Агафонов. На занятиях его нет, Иду в парк. Агафонов под бронетранспортером, спиной на сиденье, руки вверх к днищу подняты.

«Все драит. Поесть здоров и до работы жаден!».

Раз я прошел мимо бронетранспортера — лежит Агафонов. Другой раз прохожу, поближе взял — лежит, ногу одну слегка в колене подогнул. Я еще ближе подошел, наклонился. Не то сосна стволом скрипит, не то кто-то храпит.

Заглядываю под бронетранспортер. Агафонов и рот развалил в храпе, слюна на подбородке светится.

«Как же, — думаю, — руки у него работают?» Присмотрелся, а он их петлей-удавкой из брючного узенького ремешка к карданному валу привязал. Издали полная видимость работающего человека.

«Вот это сачок!»

Пришлось Захара оторвать от «самопродления часа сна» и отправить на гауптвахту. Но, видать, неисправим Агафонов, недаром Тимофей Прончатый как-то сказал ему:

— Препираться с тобой, что худой бадьей колодец чистить, только сам измараешься.

На другое утро караульный с «губы» доложил, что Захар вдрызг пьян, а кроме воды ничего вроде бы не пьет. Иду на гауптвахту. Она расположена в яме, покрытой тесом, на кровлю земля насыпана, а на землю

опять же тес, а сверху дерн, чтобы земля не осыпалась.

Спускаюсь вниз. Агафонов спит. От храпа с крыши по стенам песочек струйками сыплется. Вот, думаю, наказали человека, бросили щуку в воду.

Ни ведра, ни шайки какой-либо в землянке не видно.

— Где же он воду берет? — спрашиваю у караульного.

— А вот тут у него котелок, — говорит караульный из автоматчиков и показывает на нижний настил теса, земля там высыпалась и образовалась пустота — тайничок вроде. Стоит там зеленый артиллерийский котелок, крышкой хозяйственной укрыт, чтобы земля не попала.

Взял я котелок, открыл крышку, понюхал. Глотнул и не стерпел — закашлялся. Спирт в котелке, чистый медицинский.

Растормошил я Агафонова. Протер он глаза, вскочил, меня распознавши, руки по швам, глазами, как говорится, ест начальство. Мне и смешно и строгость соблюсти требуется.

— Откуда, — говорю, — спирт?

— Какой? — Агафонов берет котелок. — Да то вода. Чиста, словно из родничка. Гляньте!

Не успел я еще раз «глянуть» — как буль-буль! — и содержимое котелка перелилось в глотку Агафонова, кадык только раза три поплавком колыхнулся.

Кричать на солдат в таком случае бесполезно. Обозвать похлеще — но как? — вроде нельзя. Хотя он и рядовой, а по годам в отцы мне годится.

— Не стыдно? — только и сказал я.

— По домам пора бы, товарищ гвардии лейтенант, — пропуская мой вопрос мимо ушей, заговорил вдруг Агафонов, — работающему человеку, трудяге, без дела сидеть муторно. На занятиях маета с нами, а к чему? Как меня ни глицеринь, все одно я — работяга, мужик! А вот вас, как ни мазуть, вы — интеллигенция. Ваша работа — мозгой раскидывать, вы и раскидываете, по-своему работаете, при деле, выходит. А нам каково? Без пользы время тратить?

— Проспись, Захар Кузьмич, — сказал я, выбираясь из безоконной землянки.

Наверное, не только Агафонов, все — и рядовые и

офицеры чувствовали и понимали, что закаленную в сражениях, в меру отдохнувшую армию без настоящего дела держать нельзя. Солдат к делу привык. Трудно ломать выкованный характер. Попробуй бывалого человека займи салочками да куклами или, скажем, игрой в казаки-разбойники. Ведь во все рупоры глаголим: фашизм уничтожен, победа полная, мир на земле отныне и навеки. Так почему же нет демобилизации?

И вот боевая тревога. Танки грузим на платформы, пехоту на колесный транспорт и — марш, марш.

— Куда, славяне?

— В Россию!

— Брехня!

— Не брехня. На Дальний Восток, самурая кончать!

— Ура, гвардия.

— Все бы ничего, — рассуждали солдаты, — разом всех можно, лишний раз не собираться. Только бы вот дома побывать час-другой, глянуть на своих хоть одним глазком...

Рассуждают солдаты, да не только солдаты. Хотя толком никто ничего не знает. Но все — от рядового до старшего офицера — возбуждены. Откуда вернулась прежняя уверенность, деловитость. Сонливость словно рукой сняло, как ливнем пыль с дерев смывает.

— Вперед, вперед!

— Поспешай, чего рот разинул?

— Не мельтеши на пути!

Это кричат на перекрестке шоферы, выбираясь по лесным проселкам из полевых лагерей на главную бетонную автостраду: Берлин—Варшава.

* * *

Доехали до Кракова — и «стоп машинам». К эшелонам с танками паровозы с хвоста прицепили и помчали обратно — леший бы все побрал! — в Германию. Еще так недавно с неуемной силой рвались на запад, а теперь волочились, как танки на марше, башни передом назад — головы гвардейцев поворачивались на восток, аж шея немеет и в плече зуд.

Видать, без нас обойдутся на Дальнем Востоке. А может быть, в Германии что-нибудь не то? Или новый враг объявился? Зачем бы гонять взад-вперед войска, дороги размочалены, даже железные.

До Германии рукой подать осталось, как снова

команда «стоп машинам». И — на новые квартиры, в военный городок неподалеку от города Штаргарда. Опустился полосатый шлагбаум за последней машиной, и снова тоска вкруговую обложила солдата. И опять Сергей Скалов, чуть свободная минута выпадает, берет свою гитару — и на солдатский пятачок.

Эх ты, жизнь моя — жестянка.
Злая грусть-тоска.
Где же ждет меня волжанка,
Волга-реченька, река.
Здесь язык и наши нравы
Только у солдат.
Даже листья, даже травы
Не по-русски шелестят.

Поет под собственный аккомпанемент Серега, душу вынимает песней. Все теснее круг людей возле Сергея. Сердце щемит и не вырвешь боль, как занозу. Затосковал и я.

Подходит ко мне Виктор Скворцов, молча сует письмо-треугольник.

— Из дома? — спрашиваю, обрадовавшись. Писем мне давно не было, и что творится в семье я не знал, потому и тревожился. Но письмо оказывается, не мне, а Скворцову. Гляжу на Виктора, вид у него неутешный.

— Прочитайте, товарищ гвардии лейтенант.

Читаю. Я уже знаю: четверо Скворцовых во главе с отцом ушли на фронт и ни один не вернулся.

«Осталась, Витяня, одна я. Похоронные бумаги в рамочках в переднем углу. Получала и на тебя «похоронку» и совсем было занемогла. Да тут вслед пришла еще бумага от командира твоего. Жив ты, оказывается. Обрадовалась, на радостях и оклемалась. Но все же плохо. Годы ведь. Хоть бы ты, что ли, вернулся. Сказывают, единственного кормильца могут отпустить. Фашиста теперь ведь нет...»

«Да, фашиста нет», — подумал я и решил:

— Пиши рапорт, передам по команде. Письмо матери приложи.

— Есть! — сверкнул глазами Виктор, и нос его поднялся кверху.

— Пиши, пиши, — я потрепал его по плечу и пошел, опустив голову, в лес, подальше от грустной песни Скалова, от тяжелых глаз Агафонова, понурой сильной фигуры Тимофея Прончатого. Долго бродил я в сосня-

ке в полосе военного городка и столкнулся с начштаба гвардии капитаном Федоровым.

— Грустишь, Снежок?

— Врать не привык, — сознаюсь я, слабо пожимая протянутую руку капитана.

— О доме думы?

— Какой вопрос...

— Зайди завтра. Получишь направление на комиссию. Тебе можно, приказ есть — по ранениям. А вот меня пощадила война. Ни одной царапины. Завидую я тебе, Антон, можешь скоро быть в России. Даже Перетяге завидую. За тот дебош — в запас его, слыхать. Может, и мне ляпнуть: мы, мол, воевали, а вы политграмотой занимались, товарищи политотдельцы. Такое ведь сказанул Микола Остапович. Может, и мне, а, Снежок? — и тут же махнул рукой. — Шучу. Не в моем характере глупить. А ты заходи завтра. Да в одиночестве не броди. Одиночество хорошо, если есть кому сказать об этом. Это не я, Оноре де Бальзак говорил.

Я получил направление и начались мои мытарства по дивизионным, армейским и прочим комиссиям. Совсем было бы не суетно, заседай врачи в одном пункте, а то разбросало их по всей Польше. Пришлось путешествовать, а это было нелегко.

На штаргардском вокзале — базарно, в воздухе висят выкрики торговцев сигаретами, лимонадом, колбасками. Публика на перроне разношерстная. В кучу, озираясь пугливо, сбились немцы, этим дорога за Одер, последние переселенцы. Неугомонные поляки снуют взад-вперед, перегрузились непомерно разными чемоданами-валисками, разобранными велосипедами и кроватями, ящиками и коробками, то вызывающе шикарно одетые, то совсем серо, но те и другие в шляпах, с тростями или зонтами. Форс держат! Поляки прибыли сюда на жительство в исконно славянские земли, но еще не успели осесть, кочуют.

Мерно, скучающе шагают наши патрули. Их серые шинели теряются в пестром наряде.

Вот радостный кружок, сразу видно наших репатриантов. Они скоро будут в России, после каторги в неметчине родина им кажется особенно дорогой. Говорят они громко, здороваются с каждым солдатом и офицером.

Вся эта толпа внезапно закипела разноязычными выкриками и хлынула к путям, к поезду, который еще не подошел. Но кто-то уже прослышал, что он на подходе, и всполошил всех. И вот у перрона остановился поезд Штеттин — Варшава, через Познань.

По совету коменданта станции я поехал на Познань. В вагон еле-еле втискался, набит до отказа. Поляки. Ни одного русского. Я плохо понимаю по-польски, а в торопкой речи и вовсе. А поляки говорят, словно боятся, что сейчас их лишат слова. Тронулся поезд, и в вагоне стало потише. Успокоились, едем. Даже песню запели. Да какую! Нашу русскую «Катюшу» на познаньском наречии. И мне как-то сразу стало уютнее, я даже почувствовал себя как дома. Вот что значит для русского русская песня в нерусском краю. Только сейчас я глянул на своих попутчиков другими глазами. Одна молодежь, девчата и парни, и спешат они не на новые земли к Одеру, возвращаются на родину из немецкой неволи, в которую загнали их фашисты, может быть, еще в тридцать девятом году.

— Для вас поют, товарищ! — пояснил мне молоденький хлопец с усиками.

В ответ я кивнул:

— Спасибо, разумею.

— Товарищ говорит по-польски?

— С пятого на десятое...

— Как, как? — усики парня запрыгали.

Я тихо рассмеялся. Какая-то полячка с рыжей копной волос на голове предложила мне свое место.

— Дзинкуе, пани. Я привычный...

Так тесно у нас на родине бывает только в трамваях в час пик, а когда дышишь в затылок соседу или лицом в лицо — не до разговоров и знакомств. Рыжеволосая полячка напомнила мне Зорьку.

И глаза как у Зорьки. Можно было сказать этой молоденькой паненке: была, мол, у меня очень схожая с вами подруга, боевая подруга. Да к чему говорить? Какую-то толику своей боли возложить на чужую душу? Зачем? Могут ответить, остался, мол, жив и радуйся. А от таких слов легче не станет. Поэтому я промолчал. Насколько позволяла теснота, повернулся и стал смотреть в окно.

Мимо проплывала польская земля, размежеванная на единоличные полосы, на каждой посеяны злаки.

Всходы уже набрали силы, можно угадать и гряду ржи и овса, картошки...

«Как в России до революции», — подумалось невольно.

В Познань приехали ночью. Военный продпункт закрыт, направляюсь в станционный буфет. Здесь чертовски дорого. Булка — тридцать злотых, лимонад — десять. Колбаски — вроде бы сморщенные и забытые с осени на бахче огурцы. Все же покупаю. Ужинаю. Неприязненно посматриваю на буфетчика.

«Вот он, — думаю — живой нэпман». В кино-то я их видел, а наяву не приходилось. Диковина! От моих взглядов польскому «нэпману», видать, не по себе. Ну так и есть. Выходит из-за стойки и к моему столику.

— Пан маит злото? Американское дубле? Я, — и тычет себя в грудь, будто я его не понимаю.— Я,— повторяет он, — маю водку, руска и монополька польска.

Объяснять ему, что я не пан, бесполезно. Ни золота, ни подделки под него у меня нет. Поэтому я отрицательно мотаю головой и продолжаю жевать колбаски, захлебывая лимонадом. Нэпман уходит на свое место.

На полу, на скамейках, на сдвинутых столах и на каком-то возвышении, наверное, сцена для оркестра, певиц и танцовщиц, вповалку спят наши и польские солдаты. Я отыскиваю свободное местечко, сбрасываю с плеч плащ-палатку. Буфетчик видит теперь мои офицерские погоны и снова было направляется ко мне, укоризненно покачивая головой. Я машу ему рукой, иди, мол, ты... Расстилаю плащ-палатку, под голову пристраиваю полевую сумку и ложусь под бок усатому храпящему капралу. Закуриваю уже лежа. Покажи только нэпману золото, он нашел бы русскому офицеру квартиру с постелью и молодой хозяйкой в придачу, и всего, чего ни захотел бы, а потом... А потом немало наших простаков находили в водосточных канавах лицом в грязь с пулей или немецким тесаком в спине. Тогда еще не всех аковцев[1] и прочих бандитов обеззубили.

Утром меня разбудил голос дежурного по вокзалу:

— Увага, увага, панове. Потинг на Торн... Внимание, внимание. Поезд на Торн...

---

[1] Армия Крайова.

Я быстро выскочил, накинул плащ-палатку. Но торопился я напрасно. Железнодорожный информатор обманул меня. Поезд на Торн ушел не с первого, а со второго перрона. Пришлось ждать до четырех часов по польскому или до шести по московскому времени. Целый день...

На продпункте по талонам потчуют постным картофельным супом, кашей из «польского риса» — дробленой пшеницы — и пустым чаем с еле ощутимым вкусом сахара или даже сахарина. Невольно пойдешь в буфет, к «нэпману» или в «ресторацию», как здесь величают рестораны на три-четыре столика. Что поделаешь — иду. А после брожу по перрону. Подъехал экипаж, в упряжке тощая пара. Когда-то шикарная карета модернизирована. Шустряк поляк посадил ее на мотоциклетные скаты, отчего высокая колымага приобрела довольно карикатурный вид: геркулес на карликовых ножках. Из экипажа вышла солидная пани в меховой высокой шапке и поплыла в зал ожидания. Клячи в наглазниках, ноги циркулем, кивками головы провожали свою владычицу.

«Спросить у кучера, кто она такая? Не стоит. Вельможная пани из Речи Посполитой!» — подумал и заключил я.

Подошел берлинский. Этот состав битком набит нашими, в большинстве офицерами, даже на крышах вагонов отпускники или из госпиталей, списанные в запас. В тесноте, — не в обиде, особенно когда везут тебя на Родину. Все пассажиры веселы, чертовски веселы. Оно понятно, скоро будут у себя. Счастливого пути! Может, и я комиссуюсь и за вами вдогонку.

Но не всем выпало счастье на берлинском ехать к дому. Вижу, прощаются двое: женщина-капитан и солдат. Грустно им, горько расставаться. Солдат успокаивает капитана, она нехотя идет к вагону, ее подхватывают товарищи, слышно прощальное:

— До встречи, милый, в Москве!

Солдат машет рукой и улыбается, как-то глупо — по-детски. И капитан-женщина напомнила мне Зорьку, хотя и не была огненно-рыжей.

Мысли обрывает гудок паровоза. Перебегаю на другой перрон, на ходу вскакиваю в вагон.

— На Торн? — спрашиваю проводника.

— Нет, пан. На Торн за нами будет...

Успеваю соскочить, чертыхаясь и проклиная все на свете.

Наконец-то я в нужном поезде, который движется, как мне кажется, черепахой.

— Далеко до Торна? — спрашиваю соседа по купе.

— Сто километров, — отвечает тот. — Но для русских далеко — это тысячи три, — добавляет поляк.

— Что правда, пан, то правда. Бывали в России?

— Вырос там. А потом с Войском Польским вернулся на родину.

— Не тянет обратно?

— Там хорошо, а дома лучше. Мы и здесь сделаем хорошо!

— Ну, а сейчас-то как?

— Своя ноша плеча не ломит, как говорят у вас. Сила за нами, народ. Но есть те, которые пока что осторожничают. Тут ведь жизни клали за свободу Польши. Только кто ее принес? Войско Польское, коммунисты, или Армия Крайова? Народу поразмыслить надо. Да скоро увидят. Я уже всей семьей здесь.

Поляк долго рассказывал, а я слушал и все больше понимал ту обстановку, которая сложилась здесь в конце войны и складывалась сейчас. «Нэпманам» недолго нагуливать пенензы, дни их сочтены.

На каждой станции, сколько бы ни стояли на ней, как с заведенной пластинки, с перрона неслось в окна вагонов:

— Папиросы! Папиросы!

— Лимонад... Лимонад...

— Колбаски...

В Торне выяснилось, что мне надобно ехать в Бромберг, по-польски Быгдош, поликлиника перебазировалась туда. Еду. И снова неудача. Прибыл я в воскресенье, а нужный мне врач принимает только во вторник и пятницу. Опять ждать. И когда это кончится?

Все же возвращался я в часть удовлетворенным. Всю дорогу обратно никак не мог прогнать с лица усмешку. Когда-то, чтобы попасть из госпиталя в свою бригаду, а с ней на фронт, мне приходилось обманывать врачей всевозможных комиссий. Я доказывал, что здоров, как бык. И мне это сравнительно легко удавалось. А сейчас, когда кончилась война, пришлось уверять врачей — и трудно же это! — что не годен я ни для какой службы. Доктора, даже милые медсестры,

делаются по-следовательски строгими, дотошно-пунктуальными, чуть ли не явно подозревают тебя в симуляции.

Справку о ранении берет какой-нибудь ответственный комиссии медик «как бритву обоюдоострую», разглядывает и вопросами засыпает, вроде таких: «где, в каком госпитале находился, какая фамилия у начальника госпиталя или главного врача.

— Санитаров, — говорю, — помню, а начальство меня не замечало...

— Отчего так? — готов обидеться врач, наверное, сам из главных.

— А оттого, — разъясняю, — что слишком много нас было.

Медики понимали мою усмешку, добрели. А мне, право, становилось порой от таких допытываний не по себе. Шутят они или оскорбляют? И как я ни старался уверить себя, что все это смешно, нет-нет и готов был взорваться. Сдерживался, а внутри все клокотало, как в перегретом двигателе. Это, наверное, и помогло. Правый глаз — беда моя и в настоящем и в будущем — при таких дознаниях начинал подергиваться, а сердце так стучать, будто я стометровку только что одолел. Когда невропатолог по коленкам молоточком застучал — комиссии стало ясно, что никуда я не годен. И справку, что я тяжело контуженный, с повреждением мозговых и нервных центров, признали годной и действительной.

Врачи только головами качали. Видно, не один такой, как я, «симулянт» заявлялся к ним.

* * *

Я направился в сумерках по улицам Штаргарда в расположение части.

В городе тревожно-тихо. Сквозняки словно выдули гарь и копоть, но ничего не могло скрасить жуткую гримасу разрушенного города. Он кажется пастью доисторического хищника с искореженными зубами.

Какой-то безотчетный страх охватывает, поначалу сзади, а потом с боков и на грудь наваливается. Рука невольно ложится на рукоять пистолета.

Отчего бы такое? Ведь город пуст. Только на вокзале польские переселенцы. Немецкое население Штаргард покинуло, а поляки еще не успели заселить. Да и

где селиться? Подвалы — и те пробиты тяжелыми бомбами американцев и завалены.

Взорвать бы, что уцелело, висит словно на ниточке, и на этом фундаменте возвести новый светлый город. Конечно, все здесь со временем так и будет.

Центр города уже расчищен, возведен обелиск павшим. Им почет и покой вне всякой очереди. А живым? Живых еще ждут великие дела.

Сумерки сгущаются. На темно-сером небе зубья-стены все больше походят на чудовищную пасть. Случалось, что дракон начинал лязгать, зубы-стены, наваливаясь одна на другую, хоронили проезжую часть и тех, кто шел по ней. Случалось это, но не случайно. Штаргард, словно огромный карточный домик, рушился, когда через его развалины проходили взвод, рота, а то и батальон наших солдат или польских.

Гарнизон поднимался по тревоге; откапывали людей и одновременно прочесывали руины. Вылавливали и фашистов, их пряталось еще немало, а больше польских национал-террористов из Армии Крайовой.

— На одного человека стену валить, конечно, не будут, — успокаивал я себя, но все же держался середины улицы и руки с пистолета не снимал. Чем черт не шутит?

Здесь в Штаргарде мы как-то под дубком у ограды городского кладбища в «подкидного» дулись. А неподалеку польские саперы бродили по полю, отыскивали что-то, собирали в кучу. Глядя на них, Сергей Скалов предложил вдруг:

— Пойдемте-ка отсюда. От греха подальше.

— Сиди уж, боишься в «дураках» остаться? — упрекнул его Виктор Скворцов. Сергей и ответить не успел — грохнул взрыв и завизжали осколки. Канавка тут была, бричка в дождь колесом проторила, так Скворцов пытался в нее втиснуться, а Скалов за кладбищенский забор сиганул, я — за дубок, в руку толщиной, укрылся. Смех.

Когда отпели осколки, вскочил Скалов — да к полякам, не успел я за ним. Троих наземь сбил Сергей, те даже защищаться не стали. Еле удержал я от драки подоспевших танкистов.

— Чуяло мое сердце. Вот чуть было и не остались в дураках, — сказал Сергей Виктору, потирая ушибленный кулак.

Оказывается, польские саперы очищали местность от уцелевших мин, неразорвавшихся снарядов, гранат. Собрали их в кучу. Одна граната возьми и сработай в руке молодого сапера, он от страха, что ли, метнул ее, да не в ту сторону. От детонации вся куча — на воздух. Хорошо еще, что никого из наших не задело.

Шел я, а в голову лезли мысли одна страшней другой. Вот уж действительно Оноре де Бальзак прав, хорошо одиночество, когда есть сказать кому, что оно хорошо. Французский юмор!

Облегченно вздохнул, завидев пестрый шлагбаум и проходные ворота нашего военного городка. Я выходил из «одиночества» и замедлил шаг, чтобы внутренне привестись в нормальное состояние.

Гвардейцы уже отужинали. На «пятачке» вытягивала душу гитара Скалова:

Здесь язык и наши нравы
Только у солдат.
Даже листья, даже травы
Не по-русски шелестят.

Заметив меня, гвардейцы расступились. Сергей оборвал песню на полуслове, а струны еще звенели свое, тосковали.

— Ну? — спросил Сергей, когда мы двинулись к нашей палатке.

— Порядок в танковых частях. Увольняюсь! — я не мог скрыть радостного волнения.

— Рад за тебя, Снежок! — и Скалов обнял меня, потом не выдержал: — А мы хоть пропади...

Я улыбнулся. Была у меня новость и для него, и для некоторых других. В штабе нашей группы войск я кое-что узнал, о чем в частях только догадывались.

— Так вот, Серега! Демобилизуешься!

Надо было видеть его лицо в это время. Опять, как после очередной боевой удачи, глаза его, не то молдаванские, не то цыганские, словно лачком тронули. Заблестели они весело.

— Значит, здравствуй, Россия. Волга, здравствуй!

Охватившая нас радость тут же сменилась грустью. И Скворцов, и Прончатый, и Агафонов могут так воскликнуть. А Иван Подниминоги останется здесь, на веки вечные со своим комбригом батей Стрельцовым.

Никакими, даже особыми указами не демобилизуешь их.

Через несколько дней меня вызвал начальник штаба капитан Федоров.

— Присаживайся, Антон, — предложил он мне после уставных приветствий. Я подумал, что капитан хочет перед расставанием поговорить по душам. Так, собственно, оно и вышло.

— Ты, Снежок, можно сказать, уже гражданский человек. Так что приказывать тебе я не волен. Но вот какое дело...

Стало сразу же ясно, что моя служба и всех подлежащих демобилизации по возрасту и здоровью еще не окончена. Нам предстоит сопровождать в Россию конское поголовье, перешедшее к нам, согласно договору, по репарации, а точнее — взамен наших коней, угнанных фашистами из оккупированных районов.

— Дороги забиты, на поезда в эшелоны попасть трудно. А своим ходом, на бричках или верхом, не торопясь, доберетесь до родимых мест, сдадите коней и — по домам. Можешь отказаться. Ты же уволен по чистой, как говорят солдаты.

— За кого вы меня считаете, товарищ гвардии капитан?

— Тогда получай приказ. Ты — старший группы... Верхом-то ездишь?

— Бывал в деревне. Купать, поить водил мальцом...

— Ну вот и детство припомнишь. Проедешь по Европе на коне!

— Есть!

Мы пожали было руки, потом посмотрели в глаза друг другу и крепко обнялись. Так или иначе, мы расстаемся, и кто знает — может быть, навсегда.

Глава вторая

Старшина Карасев на полном скаку осадил коня, позвякивая шпорами, взлетел по ступенькам крыльца и остановился — дух перевести. Толкнул дверь, переступая порог, пригнулся, иначе не пройти, притолока низка, а перед командиром в рост встал, касаясь головой матицы. Усталое лицо старшины, осунувшееся за

последние дни, молодо светилось. Майор же смотрел строго, к чему, мол, разджигитился старшина.

— Товарищ майор, секретный пакет!

Дженчураев сорвал печати, торопливо вскрыл конверт. По мере того как читал, преображался. Бронзовое лицо светлело, черноту под глазами словно живой водой смыло. Заулыбался строгий человек.

— Приказано принять под охрану, — голос майора зазвенел, — Государственную границу Союза Советских Социалистических Республик! — передохнул.— Танкисты вышли к границе, к нашей старой заставе... Старшина...

— Я слушаю, — готовно ответил Карасев, щелкнул каблуками, звякнули шпоры и — бом! — вытянулся старшина и головой — в матицу, лакированный козырек зеленой фуражки закрыл глаза Карасева, одна пипка носа видна.

— Всю войну тайну хранил, — продолжал Дженчураев. — Заветную. Казалось, где встал я, там и граница. Дорога — только вперед! А приходилось... Но чуял, вернусь, не погибну. Не могу погибнуть. И вот, старшина, сбылось. Дошел. Тайна помогла. Из тех, кто знал ее, я да ты, старшина Карасев, в живых-то. А ведь вся наша комендатура верила, что вернемся. Страшно было. Жутко. Афанасию Белесенко и невдомек, что захоронено у него на дворе. Слушай, батыр, — старшина уже справился с фуражкой и ждал приказаний, чуя затылком матицу белесенковской горницы. — Настал заветный час. Пойдем-ка, — и майор, натянув зеленую фуражку, шагнул к порогу.

На крыльце в четыре ступеньки остановились. Дженчураев, словно сердце у него защемило, положил на грудь ладонь, широко растопырив пальцы, большое, видать, сердце у майора. Глаза прищурились, словно пытался человек сквозь землю увидеть, как оно там в земле, захоронение памятного всем сорок первого года...

* * *

Сорок первый...

В хату Афанасия Белесенко скудно пробивался свет сквозь небольшое оконце. Черные лики святых на иконах в переднем углу едва различимы, а портрет Ленина, как раз против окон, хорошо виден. Не снял пор-

трета Афанасий, надеялся, что сдержат германца червонные войска, погонят обратно в неметчину.

— Здорово, хозяин! — в хату вошел сержант-пограничник и встал на пороге.

— Здоровеньки булы, командир! Проходи. Что нового слыхать? — Афанасий расправил бороду и сел за стол под портретом Ленина.

— Новости не в радость. Прорвался немец. Сюда движется. Вымотались мы за эти деньки, — сержант вздохнул. — Ну, ничего, отдохнем малость и снова в бой. Можно я на час разуюсь, затекли ноги.

— Что вы, — всплеснул руками хозяин, — да нешто можно отказывать ратному человеку? У нас бульба есть, хлеб, сало... Подкрепишься...

— Ну, коли так. Спасибо. — Сержант разулся, вытянул ноги. — Порядок, матушка-Волга...

— Чтой-то вы все Волгу поминаете? — спросил Афанасий.

— Родом оттуда. За год перед войной служить сюда взятый. На границе служу...

— Разумею, разумею. Отдыхайте, будьте как дома. Сейчас моя жинка заявится. Попотчует кое-чем.

— А чтой-то сейчас, там, у границы? — спросил Афанасий, печалясь взглядом.

— Прут, гады. Из России должны части подойти, да что-то замешкались, — ответил сержант и прислушался. Гул канонады стал сильнее, нарастал грохот моторов. Сержант быстро обулся, схватил автомат, в хату влетел боец-пограничник.

— Немцы. На танках по селу чешут, товарищ сержант!

— К бою! А вы, хозяин, прячьтесь... — Сержант выбежал вслед за бойцом. Раздались автоматные очереди, хлопки гранат, лязг гусениц. Гулкий взрыв кинул в дрожь хату.

Бледная, как полотно, вбежала Матрена:

— Сейчас командир, что вышел от нас, как рванет гранатами танку, завертелась она и взорвалась.

— А ты-то где мытаришься, — проворчал Афанасий, поглядывая в окно на горящий танк. — И Миколы нетути. Эхма... Ты, старая, в подпол сховалась бы. Не ровен час, угодит снаряд в хату...

— А ты что железный али каменный? Ховаться, так вместях. Открывай подполье-то. А я чугунок с бульбой

из печи достану. И в подполье посумерничать придет охота.

Афанасий открыл подпол, а Матрена с ухватом — к печи. В это время в хату, озираясь по сторонам, вошел немец. Вспышка разрыва осветила горницу: фашист увидел Афанасия, медью сверкнувшие иконы и портрет Ленина, только Матрена у шестка за печью осталась незамеченной.

— Ты есть коммунист? — указав автоматом на портрет, спросил солдат. Афанасий молчал, следя глазами, как дуло автомата направляется на него.

— Рус швайн, шнель отвечать!

— Сидел бы в своей наметчине, нехристь. Было бы тебе без надобности — коммунист я али нет, — проворчал Афанасий, глядя недобро на солдата. Немец ткнул его в грудь. Афанасий, падая, изловчился и ударил пинком немца в живот, тот охнул и осел на самом краю подполья.

— Доннер ветерр! — Выстрелить он не успел. Матрена с полного замаха опустила топор на голову гитлеровца. Солдат свалился в подполье.

Афанасий перекрестился, но не на иконы, а на портрет Ильича.

— Очумел, старый, от страха! — Матрена оглаживала топор. — Сгодился! Надо бы не обухом, да ладно. И так не сдюжит.

В сенцах послышался шум. Матрена сунула топор в подпечье, Афанасий убрал портрет Ленина за иконы. Открылась дверь, и Микола с Оксаной внесли сержанта. Пограничник в руке сжимал наган.

— Дядя Афанасий, тетка Матрена, спрячьте у себя, ради всего на свете, — заговорила Оксана. — Подобрали пограничника на улице, танк он подорвал, а его оглушило, видать. Занесли в амбар, а сейчас толечка-толечка, снаряд туда угодил, горит амбар, и опять командира контузило, потерял сознание, родимый. Вынесли мы его с Миколой, не бросать же...

— О чем разговор? Не трещи ты, сорока. Тащите в подполье, да живее. Ты, Оксана, дочка, с ним оставайся. А ты, Микола, сынок, ховайся в хлеву. Не ровен час, нагрянут сюда нехристи, живо! А мы с Матреной в погреб...

Только закрыли подполье, сдвинули стол на люк и вышел Микола, в хату заскочили два гитлеровца, огля-

дели широкую горницу, постучали зачем-то стены. Хозяев загнали за печь. На столе появились закуски, бутылки с коньяком. Фашисты проголодались. Хмельные офицер и солдат много ели, а еще больше пили... В подполье очнулся сержант.

— Пить... — А сверху в это время донеслось немецкое:

— Юбер аллес Дойчланд! Все для Германии!

Сержант открыл глаза, скрипнул зубами, пытался подняться.

— Не надо, не надо, миленький, — шептала Оксана. Раненый застонал.

Лейтенант услышал:

— Курт, проснись, Курт, собака, не стони! — затормошил офицер вздремнувшего солдата. — Встать!

Оксана хотела закрыть ладонью рот сержанта, а ладонь вся в земле. Она щекой припала к губам.

Оглушенный Матреной немец очнулся и тоже услышал голоса наверху. Он подтянулся на локтях, из-под его руки посыпалась картошка. Люк подпола сдвинулся, полоска света ширилась.

Оксана приподнялась, готовая кинуться на немца, пальцы рук растопырены... Фашист дико закричал и направил автомат на девушку. Прогремел одиночный револьверный выстрел. Немец затих, уткнувшись лицом в картошку. Сержант поднял руку с наганом в просвет, который все ширился, — кто-то открывал и не мог открыть люк.

Автоматные очереди горохом посыпались у стен хаты, рванули ручные гранаты, жестоко рассыпал свое татаканье станковый пулемет.

— Руки в гору! Мать вашу так!

— Сдавайся, шайтан!

...Внезапным налетом выходящая из окружения пограничная комендатура выбила немцев из Черного Яра.

— Кто прятался там, внизу? — спросил Афанасия капитан с красными от недосыпа глазами.

Сержант, поддерживаемый Оксаной, появился в люке, командир пограничников бросился к нему:

— Карасев, батыр ты мой, шайтан тебя побери...

...Пограничники два дня удерживали Черный Яр. Схоронили погибших товарищей в братской могиле. На подворье Белесенко, срезав осторожно дерн, выкопали

отдельную могилу длиной в два человеческих роста и опустили в нее совсем необычного покойника, обернутого просмоленным брезентом и перетянутого в ногах и по плечам стальным тросиком. Могилу сгладили вровень с землей, обложили, срезанным еще до копки, дерном. Долго придирчиво оглядывали. Заметно ли? Часовые охраняли подворье, хозяев из хаты не выпускали. Скрытно хоронили.

Позвали Белесенко Афанасия и Миколу. Капитан, прохаживаясь по ничем неприметной могиле, говорил Афанасию:

— Ничего не видел, аксакал?

— Ни, — отвечал Афанасий.

— Если и видел, забудь. Мы вернемся...

* * *

Вот и вернулись...

Майор Дженчураев сбежал с крыльца, прошелся вдоль забора. Потопал ногами — крепка ли под ним мать-земля. И улыбнулся. Твердо под ногой — провалов нет, нет и бугорков — ровно, травка ершистым ковром, промытая августовскими дождями, на солнышке нынешнего дня словно подкрашена зеленкой.

Пограничники выстроились прямоугольником: от ворот вдоль изгороди — одна шеренга, вдоль дома, обтекая крыльцо до задов — вторая, а поперек двора — две другие.

Карасев, прицелившись глазом, отмерил шесть шагов вдоль и два в стороны. Поплевал на ладони, потер ими, как перед трудной, но желанной работой, и взялся за черенок большой саперной лопаты.

Вырезал прямоугольник на земле и махнул рукой солдатам. Четверо пограничников, дотоле стоявшие, облокотясь на лопаты, словно витязи на эфесы палиц, шагнули к старшине.

— Срезайте дерн. Копать осторожно, не глыбко тут. На три-четыре штыка.

Пограничники в строю залюбопытствовали, шеи вытягивают, топчутся. Что, мол, за клад командиры обнаружили. Слой за слоем снимают, поначалу черную, словно с зольцой землю, потом будто охрой подсвеченную, а вот румяные глины, влажные, словно крынки из погреба — на солнце вынесли и запотели они, хоть лепи что. Споро работают пограничники.

— Стоп! — командует старшина. — Осторожнее,— напоминает.

Афанасий и Матрена диву даются, гадают: «Чтой-то на ихнем дворе такое». И сами не углядели. И то хорошо, а то и полицаи пронюхали бы и немцам донесли. А клад, видать, ценный закопан. Майор-то глаз не спускает с ямины и все за сердчишко рукой держится.

— Осторожней! — еще раз говорит старшина и спускается в ямину. — Подкапывай с краев, — и сам лопатой показывает, как подкапывать. Штык лопаты его вычерчивает фигуру, так похожую на человеческую с руками, раскинутыми в стороны. Вот и округлость головы...

— Подкапывай, подкапывай, — задыхаясь, говорит Карасев, не от усталости одышка у старшины, от нервов, видать.

Строй пограничников распался, каждому хочется увидеть — что там зарыто.

— Гляди, голова!

— Руки!

— Ручищи, брат!

— Без гроба схоронен. Отчего бы?

— Татарин, может, али узбек. Их вроде без гробов хоронят. Завернут в простыню...

— Эх ты, «узбек-татарин». В сорок первом не до гробов было. Где их напастись.

— Точно. Обернули в плащ-палатку.

— Я видел, как в братскую хоронят.

— Гляди-ка, а большущий какой!

— На что старшина велик, а этот!

— Вдвое больше покойник-то!

— Вот какие люди в сорок первом воевали!

Слышит старшина солдатские голоса, хотя и полушепотом они. Слышит, а не оборвет, хотя и непорядок в строю — разговорчики. Слышит возгласы и майор, а тоже помалкивает. Не до замечаний старому чекисту-пограничнику. Да и строя-то нет, сломался. Люди подступили к самому краю ямины, на свежем выкинутом грунте стоят.

И старшина вдруг впервые видит, как похож захороненный на витязя-богатыря. Высоко, гордо держит голову богатырь. Размахнул руки, что крылья, ими да широченной грудью прикрыл землю русскую. «Не отдам! Никому не отдам!»

Старшина смахнул градины пота со лба, тряхнул головой, словно сон отогнать, в себя прийти. Но видение, созданное помимо его воли, не пропадало.

— Осторожно. По двое с концов. Вот так. Подхватили! — командует старшина. Пограничники, крякнув и наливаясь кровью с лица, приподняли.

— Сюда, сюда! — пятился старшина, а перед ним и весь строй отступал.

— По местам! — тихо приказал Дженчураев. Быстро-быстро, почти неслышно, выстроился живой прямоугольник.

Старшина глянул на майора. Тот кивнул, без слов понимая Карасева. Старшина вынул штык-кинжал от самозарядной винтовки, той, что еще до войны на границе значилась его личным боевым оружием. Перерезал тросовые вязки и с головы начал распеленывать «великана». Двое солдат помогали.

— Ах! — вырвалось чуть ли не у каждого из присутствующих. То, что казалось головой, завернутой в брезент, просто круглый бугристый с полметра в диаметре щит, замаранный глиной. И руки — вовсе не руки, обыкновенная доска, тоже, как и щит, в глине. Чего это — и не поймешь. Только никак не человек. Бревно скорее, отесанное в четырехгранник.

— Жив, товарищ майор. Жив он — милый! — весело закричал старшина, колупнув ножом напекшийся слой глины. — И покраска сохранилась. Я его ведь пушечным салом смазал...

Дженчураев опустил голову, чтобы не показать подчиненным налитые слезами глаза, шагнул вперед, опустился на колено и рукой снял легко отпавший слой глины. Из-под желто-грязного кровинка словно показалась. Ладонью майор закрыл ее, потер а когда отнял руку, все увидели пятиконечную алую звезду. Залучилась она, будто внутри ее лампочка зажглась.

— Ветоши для обтирки! — приказал старшина.

Пограничники осторожно, словно они художники-реставраторы, снимали напластование грунтовки трехгодичной давности. Постепенно «великан» обретал первозданный вид. За звездой открылись золотые колосья, в обхвате их, на выпуклости земного шара — скрещение серпа и молота...

— Герб?! — хором выдохнули пограничники. Очистили и поперечную доску чуть пониже Государственно-

го герба, на ней крупно по эмалевому полю четыре дорогих сердцу каждого буквы:

СССР

...На другой день пограничный столб установили на то место, где высился он в сорок первом. На виду у развалин бывшей заставы, что поросли густым чернобылом, выстроился батальон Дженчураева.

Утрамбована земля у подножия пограничного стража, обложена дерном. Воздух разорвали три залпа из винтовок и автоматов — салют сбывшейся единой мечте каждого советского гражданина.

Афанасий Белесенко салютовал из своего старого дробовика. Рядом с ним, словно подпора ему, плечом в плечо, стояла Матрена, а чуток в сторонке — грустная Оксана.

— О чем грустишь, красавица? — подошел к ней старшина Карасев. — Найдется твой Микола.

— Ни якого слуха о нем. Вот и фронт прошел. Сгубили бандеровцы, чует мое сердце. Таких, как он, посгоняли в леса и держут, як в тюрьме.

— Верь старшине, дочка! — услышав о чем разговор, подошел сюда и Дженчураев. — Помнишь меня?

— Помню, як туточки забудешь, товарищ командир!

— То-то, дочка, воевала ты геройски, ведь и сгибнуть могла...

— Плохо воевала. Но теперь, если гитлеряки снова придут...

— Не придут, дорогая доченька, это у тебя от грусти мысли. Держись, как тогда в подполье, и шайтан не съест!

* * *

— Вам пакет, товарищ майор, — проговорил капитан Антонов, прикрывая дверь в штабную землянку. — Лично вам, — повторил он, передавая конверт с сургучными печатями.

— Салам, капитан, присаживайся, — поздоровался Дженчураев и указал на табурет рядом с собой, разорвал конверт, скользнул глазами по бумаге и, нахмурившись, принялся читать заново. Антонов присел на табурет и молча ждал.

— Так... — протянул Дженчураев, и глаза его сверкнули. — Опять этот птица залетел к нам!

— Ворон? — капитан слегка подался вперед.

— Он, шайтан. В бункерах, по лесным заимкам таятся бандеровцы. Ворон должен собрать их в курень, прорваться через границу в Польшу и уничтожить конское поголовье, что возвращают наши из Германии. Должен, собака, сделать так, будто это поляки нам услужили за наше хорошее. Фугас бросить меж нами. Приказано ликвидировать этот самый курень. И Ворону... — Дженчураев провел ребром ладони по шее.

— Ясно, товарищ майор, — Антонов поднялся.

— Зови Карасева. Обмозгуем, — майор развернул на столе карту и стал наносить обстановку, указанную в приказе.

Офицеры-пограничники, те, что командовали Сводной группой под Москвой и совместно с танками нашей бригады внезапно ночной атакой выбили немцев из Юшкова, снова служили вместе. Майор Дженчураев — начальником отряда пограничников, а капитан Антонов — его заместителем.

Очищали тылы наступающей Красной Армии от всяческого гнуса.

Старший сержант Карасев, заслонивший собой Дженчураева от пули гитлеровца в Юшкове, чудом остался в живых. Майор устроил ему назначение к себе. Карасев, теперь уже старшина, как и прежде, возглавлял разведывательные поиски.

С бандеровцем по кличке Ворон сталкивались еще в Полесье во время войны. Банду его, или курень, уничтожали в схватках, вылавливали. Уцелевшие бандиты рассеялись по глухому Полесью, сам же Ворон бежал в Германию. Думали, покончено с ним, а он опять объявился.

— Ворона и та разбойник матерый, — говорил старшина Карасев. — Чуть солнце на небо, она уже рыщет по озерным плесам, над кугой, камышами. Высматривает, сволота, больных или уток-подранок, лысух, закапканенных выдр и прочую живность. Ее не страшит, что добыча не испустила дух, чует — обессилела — и добивает. Мяском и кровью лакомится. Следит за ней болотный лунь. Раззявит клюв ворона, а лунь тут как тут. Взъерошится ворона, растопырит крылья и — в сторону, хлопает глазами — что тот ей оставит. Лунь тоже с оглядкой, да глуп. Волокет добычу в камышовый залом, где посуше и скрытнее. А там его

давно орлан-белохвост поджидает. Глядишь, и добыча у орлана. А лунь и ворона вокруг скачут, что-то им оставит белохвост. Может, и ничего, а при случае и самих поклюет. И все же вороны и луни служат орланам.

— Гитлеру голову сломали. Ворон, видать, другого луня нашел, — заключил старшина. — Потому и заявился...

— Верно говорил про этот птица.

* * *

Группа бандеровцев, в которой находился Микола Белесенко, использовалась всю войну на строительстве тайных бункеров. Прогрохотал по лесу на запад фронт, время разойтись по домам. С немцами, видно, покончено, красные бедняков не тронут. Никакой вины у них нет, насильно загнанных в эти леса. На операции их не посылали, считая неблагонадежными. Последнее время держали, как в тюрьме, надеясь, что от безделья и сытости озвереют люди, волками станут. Но разбежаться по домам не успели: заявился Ворон с двумя подручными.

— Хватит, отъелись. Пора за харч платить, послужить Вкраине с оружием в руках. — Ворон стал считать людей, словно овец перед загоном в кошару. Миколы Белесенко не оказалось. — Сбежал, пся крев, — выругался Ворон по-польски.

* * *

Микола шел всю ночь, пробираясь через лесные завалы, глубокие овраги, колючий кустарник.

— Стой!

Перед Миколой, как из-под земли, выросли два пограничника, завернутых до глаз в плащ-палатки.

— Оружие на землю!

— Быстро, мужик, толкуй, кто ты, откуда...

Микола сбивчиво рассказал.

— Ну-ка, обрисуй этого, кто пришел к вам, — попросил старшина Карасев.

— Черный, усы вниз, прихрамывает на правую ногу...

— Где он?

— В бункере.

— Далеко?

— Часа два ходу...

— Вперед, товарищи, — тихо приказал старшина. — Если не врешь, жить будешь!

Тучи плотно закрыли небо, рассвет словно задерживался, хотя в воздухе посвежело, и деревья стали выделяться из общей массы, роняя с ветвей дождевые капли, а из ложбин поплыл слоистый, словно пирог, ранний туман.

— Тут! — Микола указал на пенек. — В девяти шагах от него — лаз в укрытие...

— Запасные выходы есть?

— Нет. Мы бы знали тоже. Как в тюрьме сидели здесь, даже подумывали сделать подкоп и бежать...

— Вот как! — удивился старшина, всматриваясь. — Постой, постой, не ты ли в сорок первом меня прятал в амбаре, а потом в подполье?

— Я! Еще вы что-то на подворье у нас схоронили...

— А я-то смотрю, где встречались, — старшина обнял Миколу. — Парень, видать, не промах. Ты ход знаешь, ты и пойдешь. Вот тебе твой автомат, гранаты... Бери, бери... Стрелять придется — не дрожи, ёлки-копалки. Войдешь в бункер, скажешь, что отстал, заплутался, еле нашел, мол... Вот и вся твоя задача, понял?

— А вы?

— А мы свое дело знаем, не подведем. Ну, двигай.

Стало виднее вокруг, чувствовалось, что солнце поднялось и пробивалось сквозь пасмурь. Микола скрылся. Карасев спешно набросал донесение:

«Обнаружил бункер. Ворон с бандой. Обложили. Жду подкрепления. Координаты...»

Двое пограничников ушли с донесением. Старшина задумался. Впятером штурмовать бункер опасно. Начал жалеть, что послал с донесением двоих, одного бы хватило.

— Эх! — вздохнул Карасев и увидел Миколу, который, пригнувшись и озираясь по сторонам, бежал к старшине.

— В бункере бандеровцев нема...

Ворон, обнаружив исчезновение Миколы, немедленно увел банду в неизвестном направлении.

— Найдем Ворона. Знаю я еще одно укрытие, — обрадовал Микола Карасева.

* * *

Старшина Карасев решил действовать на свой риск и страх. В бункере оставили двоих пограничников дождаться связного с заставы или подмоги.

Не успели выйти из леса, как с неба обрушились потоки воды. В сплошной пелене ливня за три шага человека не различишь.

«Такой дождина долго не продержится, небесных бассейнов не хватит», — думал старшина, упрямо шагая вперед. Идти трудно, на сапоги налипали увесистые шматки грязи. Плащ-палатки вскоре набухли, встали коробом, дождь стучал по ним, как по броне, гулко, с нахлестом... Ветви хлестали по лицу, того гляди без глаз останешься, ноги вязли в невидимых колдобинах. Продолжать погоню в такую непогодь не было смысла. Надо возвращаться к бункеру. Вспомнили о Миколе.

— Где он? — спросил ефрейтор Григорьев.

— Пропал парень, — констатировал рядовой Савин.

— Местность он знает. Найдется. Вперед, к бункеру! — проговорил Карасев.

Дождь не унимался. Вода заполнила все балки и балочки, бурлила в них. Пограничники промокли до нитки. Хотелось курить, ноги сами подгибались в коленях, руки закоченели.

Передохнуть хотя бы часок. Но где? Проклятый дождь не оставил в лесу ни одного сухого местечка.

— Сейчас бы в стог сена забраться, — выдохнул старшина.

Неожиданно уперлись в бревенчатую стену, а приглядевшись, рассмотрели сторожку, колодец, неподалеку еще какие-то строения. Старшина послал бойцов разведать, что это за избы, а сам, приготовив гранаты, прилег за углом сруба.

Выяснилось, что поблизости находятся два совершенно пустых амбара. Там вполне можно переночевать.

— А в сторожке есть кто?

— Сейчас выясним. — Карасев постучал в крестовину рамы. Тихо. Постучал еще. Мелькнуло что-то белое и прильнуло к стеклу. Карасев рассмотрел испуганные глаза и сморщенное лицо старухи, махнул рукой на дверь. Окна слегка осветились, старуха, видать, вздула лампу.

— Вот еще просили ее. Эх, темнота, — проворчал старшина и, оставив бойцов на улице, вошел в сторожку.

Старуха оказалась одна, старик ее уехал по делу, только ему известному.

— Ладно, мать, загаси лампу, а печь растопи. Нам обсушиться малость, согреться...

Перед утром старшину разбудила возня в сенцах.

— Не трогайте их, лучше меня, старую, убейте. И как я вас, проклятых злыдней, не распознала. Слепа стала. Ох, не простят мне люди...

— Замолчи, старая. Прочь с дороги...

Старшина подскочил к двери и заложил ее на крюк. Григорьев и Савин быстро натягивали сапоги.

Дверь трещала под напором людей, но не сдавала. Старшина ударил очередью из автомата сквозь тесины. Послышались стоны.

— Нечего с ними вожжаться. Обкладывай хату соломой и пали.

— Добре! Поджарим москалей!

— Бабка, где керосин?

* * *

Дженчураев с коноводом Бурмистровым возвращался из подразделения в штаб. Торопились прибыть засветло, гнали быстрым аллюром, дождь подгонял. Из-под кованых копыт шматками летела сырая земля.

Отдохнувшие за день кони рвались вперед. Всадники еле удерживали их, даже взмокли. До штаба оставалось километров семь-восемь. Поблизости не было ни деревушек, ни хуторов. С рыси всадники перешли на шаг, закурили.

Справа в полукилометре тянулся сосновый лес, слева лежало открытое поле. Из леса появилось десятка полтора подвод. Они гуськом рысью направлялись к дороге. В каждой подводе по три-четыре седока.

«Кто такие?» — подумал майор.

Подводы приближались. Уже видны винтовки за спинами седоков. Можно разобрать — одеты люди в солдатские шинели, в гражданское.

— Бандеровцы?

— Они, товарищ майор! — ответил Бурмистров.

Вдвоем справиться с целой бандой нечего было и думать. Между всадниками и подводами оставалось не более ста метров. Надо было решать что-то...

— Приготовить гранаты, автомат, — сказал майор. — Как только крикну «огонь», начинай чесать от передней подводы до хвоста, бей длинными очередями. А я забросаю их гранатами. Пока бандиты приходят в себя, уйдем на скаку в лес. Другого выхода нет.

Бурмистров кивнул головой, выдвинув вперед автомат, и вставил запалы в гранаты.

Дженчураев левой рукой держал повод, в правой — гранату. Зорко следил за бандитами. Но те вели себя спокойно. Оружие висело за спинами, на шее или просто лежало на подводах.

Пятя коней, майор и коновод съехали с дороги. Передняя подвода остановилась метрах в пятнадцати от всадников, за ней встали и остальные.

— Дать очередь? — тихо спросил Бурмистров.

— Подожди. Тут что-то не то, — ответил майор.

В головной подводе сидело трое. Один загорелый, в кожаной тужурке, с вислыми усами, соскочил на дорогу.

«Ворон»! — определил Дженчураев и придержал коня, пряча гранату.

Ворон поздоровался, кланяясь по русскому народному обычаю. Майор, не отвечая на приветствие, спросил:

— Кто такие? Откуда следуете?

— Партизаны. На отдых.. — ответил, не моргнув глазом Ворон и, в свою очередь, задал вопрос: — А вы кто будете? Какой части? — спрашивал, а с гранаты глаз не спускал.

— Передовой дозор кавдивизиона, — слукавил майор.

— А мы было струхнули! — признался Ворон. — Прощевайте. Счастливого вам! — и заторопился к своей подводе.

— Трогай, братове!

Бандиты погнали коней что есть мочи. Пограничники молча пропускали их мимо себя.

— Этот атаман? — спросил Бурмистров.

— Сам Ворон. Запомним.

Подводы сворачивали обратно в лес.

— Струсили, гады. Испугались кавдивизиона. Ну теперь аллюр три креста. Банду упустим опять.

Поскакали. Шматки грязи из-под копыт посыпались, как пули из пулемета.

В это время старшина Карасев заночевал на Монастырской заимке, вовсе не зная, что там должны сосредоточиться сотни Ворона.

Дженчураев соскочил с коня, бросил поводья коноводу и быстро прошел в штаб. Здесь ждал его капитан Антонов.

— Товарищ майор, задержан парнишка Василь Петренко. Заслан к нам бандеровцами. Парень признался, что ему поручили установить численность заставы, места расположения огневых точек, линию окопов...

— Все? — спросил майор, волнение которого после встречи с Вороном еще не улеглось.

— Нет, не все. Связной от Карасева. Старшина блокировал бункер, ждет нашей подмоги. В бункере Ворон...

— С Вороном я имел честь только что видеться. Пошел на подводах в лес. Высылаем конный отряд. Окружить и взять банду. Сколько раз эта птица улетает. Подмогу старшине выслали?

— Отделение пограничников.

— Пойдемте к карте. Что-то эта птица хитрит. На ночь глядя, пожалуй, выступать нам не следует. А на рассвете ударим. Готовьте людей.

Дженчураев разложил на столе карту. Прицелился взглядом на три обозначенных на карте домика Монастырской заимки.

* * *

На рассвете, когда унялся дождь, отряд пограничников выступил. На дороге показался заляпанный в грязи автоматчик с двумя гранатами у пояса.

— Я — Микола Белесенко, — доложил он Дженчураеву. — Был у бандеровцев. Ворон собирает банду в пятьсот штыков на Монастырской заимке. Он нападет на вас, товарищ командир...

— Где Карасев?

— Старшина и два пограничника отбились в лесу...

— Верхом ездишь? — спросил майор.

— Привычный!

— Коня ему. И марш, марш.

— Товарищ майор, учтите — пятьсот штыков! — напомнил капитан Антонов.

— Учитывать будем вот этим, — майор положил

руку на эфес клинка. — Нападем, когда нас не ждут. А сейчас они не ждут. Встречный бой, и эта орава разбежится. Видел я их вчера. Двоих напугались...

— А вы не того? — улыбнулся Антонов.

— Тряслись поджилки, чего таить, — признался Дженчураев и тоже улыбнулся. — Под Москвой в Юшково с тремя взводами мы немецкий полк сбили и погнали. Погоним и этих.

Застава на рысях с двумя тачанками пошла в сторону Монастырской заимки. Рядом с Дженчураевым и Антоновым скакал Микола Белесенко, указывая кратчайшую дорогу.

...Вот и бункер, где оставались двое пограничников. Отделение, высланное на подмогу, тоже находилось здесь — ждали возвращения Карасева, который как в воду канул. Пешие пограничники вскочили на крупы коней позади конных и двинулись дальше.

Сухие, еле слышимые выстрелы раздались впереди. Дженчураев и Антонов переглянулись.

— Галопом, марш! — приказал майор.

* * *

— Ну, бабка простит нас, — крикнул Карасев товарищам и, схватив лом, ринулся к печи. Потолок у дымохода, там, где обычно на чердаке лежат борова, был моментально проломан, в отверстие все трое выбрались на чердак.

Бандеровцы обложили сторожку соломой и подожгли с наветренной фасадной стороны. В избе было тихо, ни выстрелов, ни гранат. Бандиты, удивленные молчанием пограничников, подошли ближе к хате.

— Гей, бисовы души, выходите! — крикнул бандеровец.

— Пожалуем на галстук веревочку пеньковую.

Старшина проделал лаз в кровле на зады и выглянул. Бандитов с этой стороны дома не было.

— Григорьев, Савин, быстро за мной! — старшина прыгнул с крыши в кусты, к колодцу! Залег за ним. Бандеровцы не заметили, но уходить дальше было некуда, впереди открыто до опушки леса. Не одолеешь, снимут огнем.

Спрыгнул Савин, залег за толстой колодой для водопоя у колодца. Григорьев выскочил на кровлю, она

уже занялась пламенем. Пограничник кинул назад через себя гранату и тоже скатился во двор. Бандеровцы отползли подальше от хаты.

На опушке леса показалась другая группа бандитов. Пограничников заметили и открыли огонь. Карасеву головы не поднять. Сруб — надежная защита. Григорьев и Савин открыли ответный огонь.

С полсотни бандитов, перебегая от куста к кусту, заходили в тыл. Старшина из-за сруба ударил огнем по этой группе. Бандиты залегли.

Григорьев и Савин были ранены, но продолжали отбиваться. Когда замолчал автомат Григорьева, Савин окликнул его, тот не ответил. Савин перебежал к сараю, куда подобрались бандиты и устанавливали там ручной пулемет. Савин швырнул гранату. Раздался взрыв. Но упал и Савин. Карасев остался один. Бил на выбор короткими очередями. Кольцо окружающих сжималось.

Лязгнул затвор. Патроны кончились. Старшина положил перед собой последние две гранаты, вытащил из кармана парабеллум и плоский штык от самозарядной винтовки.

Молчание старшины озадачило бандеровцев. Или патроны кончились, или, гад — зеленая фуражка, что-нибудь замыслил. Старшина вскочил и одну за другой метнул гранаты. Не успели они взорваться, Карасев был уже у сарая, где лежал Савин.

Пулемет ожил. Теперь он бил «по своим» длинными меткими очередями. Бандиты начали отходить слишком поспешно и вскоре покинули заимку. Старшина прекратил огонь...

Оглушенный выстрелами, взрывами гранат, он не сразу уловил нарастающий топот.

— Шашки вон! — скомандовал Дженчураев. Одна из тачанок развернулась, рыло пулемета уставилось на заимку.

Майор осадил коня. Несколько всадников поскакали в разные стороны на разведку. Из сарая, покачиваясь, вытирая рукавом пот со лба, шел старшина Карасев, черный от копоти и грязи, пропахший порохом.

— Товарищ майор, банда более трехсот человек... Савин и Григорьев пали...

Глаза Дженчураева сверкнули, брови сдвинулись...

— А ты, старшина, уцелел? Бросил людей у бунке-

ра, а сам, герой, втроем хотел Ворона взять? Людей сгубил и Ворона упустил?

Белесенко соскочил с коня и поддержал падающего Карасева...

— Эх... — только и сказал старшина. Силы его оставили, сверхчеловеческое напряжение сказалось.

— Товарищ майор, банда отходит на подводах. Пулеметы бьют по нашим...

— По коням. В атаку!

— Товарищ майор, людей только потеряем. Три пулемета у них. Есть ли смысл атаковать? — вмешался Антонов, поставив своего коня поперек пути.

Дженчураев смерил его взглядом, но придержал Буланого.

— Да, в лоб атаковать не стоит. Выходи со своей заставой в тыл. Встретимся в селе. Галопом, марш! — и майор повел свое кавалерийское отделение с тачанками по просеке в лес...

* * *

Ворон зло ругал атаманов.

— Это, пся крев, партизанщина! Напали на троих гадов. Сами себя выдали. Не подоспел бы я со своей сотней и не отвел вас, лежали бы порубанными на заимке. Эх, горе-вояки... Да я вчера встретил этого майора, нерусского черта, и не тронул, чтобы шума не поднимать, не срывать операцию. А вы на рядовых позарились...

Бандиты, увешанные оружием, сидели вокруг стола и вдоль стен на скамьях. Ворон стоял в переднем углу под образами. Черного каракуля папаха лежала на краю стола. На папахе, смяв ее, поблескивал маузер. Сдерживая себя, Ворон говорил низким грудным голосом. Старался внушить, что недалек час праздника на их улице.

Есаул в бараньей лохматой шапке, со шрамом через все лицо, перебил Ворона:

— Гитлер обещал Украину, как только оккупирует ее. Украина еще в сорок первом была под пятой германа. Почему же гитлеряка не сдержал слова? Не пора ли нам в кусты, пока головы на плечах?

Завозились, задвигались бандеровцы, крякали, оборачиваясь в сторону есаула со шрамом. Ворон повел

взглядом, двое его телохранителей выросли по бокам, сверкнули стволы автоматов.

— Вы, пся крев, с ума посходили? — крикнул Ворон. Есаул со шрамом угрожающе поднял руку с гранатой. Его плотным кольцом окружали свои. Лязгали затворы, щелкали предохранители. Ворон не притронулся к маузеру, понимал, чем бы это кончилось.

— Головы уцелеют, если добьемся своего. А с миром идти поздно. Остудите кровь.

* * *

Пограничники тем временем осторожно двигались по селу, проверяя хату за хатой. Бандеровцы, пока шел совет у Ворона, отдыхали. Сквозь разорванные тучи показалось синеватое небо, проглянули редкие серебристые звезды. Время перевалило далеко за полночь.

Майор Дженчураев подошел к хате, окна которой слегка светились. Сквозь прорехи занавесок майор увидел двоих бандеровцев, винтовки стояли у стены. На столе — горбуха ржаного хлеба. Бандиты ужинали. Хозяйка стояла тут же, прислонившись спиной к печи.

Дженчураев подозвал Миколу Белесенко.

— Зайди и заговори их. За тобой — мы.

Микола постучал в дверь. Пограничники спрятались за домом, майор смотрел в окно.

Хозяйка направилась к дверям, но бандеровец остановил ее, взял винтовку и пошел сам.

— Кто? — спросил он.

— Свой, свой, открой, — по-украински ответил ему Микола. Бандит откинул крючок.

— Не пужай, напуган давно! — весело сказал Микола, проходя в хату.

— Бис тоби знае. Ходють тут разные. «Зеленые фуражки» близко, — ворчал бандеровец.

— Ночью не пойдут, а вот на рассвете могут. Погодка-то установилась.

Сели на свои прежние места.

— Ты из якой сотни? — поинтересовался один, видать, уже насытившись, и протянул кружку с кипятком Миколе. Другой отрезал сала, а остальное завернул в тряпицу и сунул за пазуху.

— Из сотни атамана Бойко, — Микола принял хлеб и сало. — Благодарствую, панове...

В хату ввалились пограничники с автоматами.

— Будем знакомы, — проговорил майор. — Спокойно. — Дженчураев повернулся к своим. — Выставить посты. Я нахожусь здесь. О капитане Антонове доложить немедленно.

* * *

Вскоре подошла группа Антонова.

Горизонт на востоке начинал понемногу светлеть. Близился рассвет.

Пограничники цепью двинулись по селу, за ними следовали тачанки с пулеметами. Передовой дозор достиг дома, в котором заседал Ворон. Часовой успел выстрелить, кинулся в хату, заорал истошно:

— Жолнеры радянские! Тикайте!..

Есаулы и атаманы, похватав оружие, кинулись к двери и окнам.

Часовой выпалил:

— Село окружено. Предали нас...

— Атаманы и есаулы, — крикнул Ворон. — В плен не сдаваться!

Заработали бандитские пулеметы, установленные на чердаке и церковной колокольне. Им отвечали с тачанок. Бандиты пытались прорваться. Человек двадцать ползком подобрались к залегшим под огнем пограничникам и, забросав их гранатами, пошли в штыковую.

Ворон с десятком головорезов ушел в лес.

Глава третья

Коней я любил. Правда, это было давно. В детстве в селе Большая Глушица. Лошадиной страстью болели, наверное, все мальчишки, не избежал этого и я. Так и торчишь, бывало, на конюшне, ждешь, когда конюх скажет — «пора купать». Хватаешь узду — и в станок к облюбованному тобой коню. Надо обязательно успеть обратать, взобраться на него и ускакать к Иргизу-реке. Охотников было много, а лошадей мало — то в разъезде, то на сенокосе, вот и приходилось ребятам ухитряться, чтобы не остаться пешим.

Я сдружился с сыном конюха Степкой Шароватовым, и всякий раз мне удавалось вовремя захватить себе коня. Чаще всего я водил купать гнедого, известного в районе жеребца по кличке Фонарь.

Фонарь любил детей, а на взрослых топал ногами и норовил укусить. Рысак ходил крупным шагом, красиво изогнув шею. Маленького всадника почти не было видно за черной гривой гнедого. Вообще-то Фонарь — лошадь спокойная. Но стоило на пути повстречать подводу с кобылицей в оглоблях, Фонарь могуче ржал, хвост трубой, а шею делал дугой.

Я однажды попал в переделку. У коновязи на базаре незадачливый седок оставил без присмотра серую в яблоках лошадь. Фонарь заметил ее, закусил удила и полетел ходкой рысью. Напрасно обеими руками тянул я поводья. Можно было бросить повод и спрыгнуть, когда жеребец взвился на дыбы. Но я боялся упустить его, мне бы больше не доверили коня.

В конюшню я вернулся позднее всех. Конюху уже рассказали о случившемся. Шароватов принял жеребца, оглядел: чисто ли выкупан, а потом похлопал меня по плечу, улыбнулся и сказал:

— Молодец, Антон.

Чего только не случалось в ночном, на пастбищах! Падал на полном скаку, с синяками ходил. Один раз от разъяренного верблюда удирал, сиганул через колоду конь, а я рыбкой с него и головой в кучу котяхов.

Что бы там ни случилось, а пока жил в деревне, все свободное время торчал на конюшне. Однажды даже нанялся в совхоз курьером сводки от комбайнов возить, и все из-за того, что курьеру прикрепляли коня.

На станции, где стояло, формируясь, кондепо, как только вышли мы из вагона, сразу почувствовали запах свежего сена. На разгрузочной площадке высились бурты прессованных тюков, а неподалеку на лугу мирно паслись лошади, много лошадей, на целую кавдивизию хватит.

Были здесь битюги, которыми на Волге бревна из воды в гору тягают да с Жигулевского завода пиво в бочках развозят. Мелькали среди высоких и сильных артиллерийских коней низкорослые монголки и лохматые киргизские скакуны.

На тюках сена сидели солдаты, один с винтовкой, наверное, часовой. Я подошел к ним, поприветствовал, мне нестройно по-граждански ответили. «Ну, — подумал, — уже демобилизованный народ».

— Где, — спрашиваю, — штаб у вас?

— А вот в том вагончике, — ответил мне тот, что с винтовкой. Вагончик четырехосный, разве чуть пониже железнодорожного вагона, но на резиновом ходу, впереди — конская сбруя.

«Неужели такую махину лошадями тянут?» Оказалось, да. Двенадцать битюгов впрягают. Поднимаюсь по стремянке в вагон. И не верю своим глазам: за столом сидит Перетяга Николай Остапович, гвардии майор.

— Прибыл с группой гвардейцев в ваше распоряжение...

— Вольно, вольно, Снежков. Дай-ка пожму руку. Правду говорят, что гора с горой не сходится, а человек... Не гадал, не думал. Значит, в табунщики ко мне?

— Выходит, что так, товарищ гвардии майор! — жму я протянутую мне руку. Раньше майор руки не подавал, а теперь вот, гляди, переменился.

— Сдашь документы в строевой отдел, — кивнул он на протянутые мной бумаги. — Давно из бригады? Как там без меня?

— Все хорошо, обходятся...

— Я знал, что обойдутся, — он грустно улыбнулся. — С конями мне сподручней. Танкист из меня, выходит, не получился. Но служба есть служба. Я ведь тоже временно. Пригоним коней в Россию, сдадим, и в штатские. Пора мне, Снежков, на отдых. С гражданской мундира не снимал. Ты вот, бисова душа, четыре года в армии, а, поди, надоело?

— Что правда, то правда. Но если того обстановка требует...

— Ладно. Знаю сам. Сдавай документы. Строевой отдел с того конца вагона. А потом покажешь своих гвардейцев, побачу.

— Есть!

Поворачиваюсь по-уставному и выхожу.

Гвардейцы уже столпились у штаба, ждут меня.

— Ну, — говорю, — попали мы под начало «старого» бати...

— Какого «старого»? — перебивает меня Скалов.

— К Перетяге, Серега.

— Где наша не пропадала, — проговорил Скалов. — Хоть в танкистах, хоть в казаках.

— Все же подтянитесь, построить велел. Он ведь каждого помнит.

— Еще бы, — Прончатый усмехнулся в усы, не забыл, должно быть, как его Перетяга за несоблюдение формы отправил на «губу». Пуговицы на воротниках гимнастерок застегнули, ремни поправили. Двенадцать человек привели себя в порядок: они знали комбрига Перетягу.

— Присмотри тут, — сказал я Скалову и отправился в строевую часть. Там меня долго не задержали: аттестаты — вещевой, продовольственный и денежный — все в порядке. Оказалось, что я для своей группы должен принять имущество: повозки, упряжь, седла, на каждого по десятку коней и фуража для них. Лошадей-то у нас получается целый эскадрон. Как и что с ними делать? Чистить надо, поить и кормить вовремя. Забот больше, чем с танком.

Скалов построил гвардейцев, доложил мне. Я прошелся по строю. Вроде бы у всех полный порядок, солдаты бывалые, почти все в возрасте. Такие и с конями и с танками справятся, и я облегченно вздохнул. Пошел к Перетяге докладывать.

— Здравствуйте, гвардейцы-суворовцы! — громовым басом поздоровался майор, не забыл, что наша бригада награждена орденом Суворова.

— Здравия желаем, товарищ гвардии майор! — скандировал строй вполне прилично, будто не десяток человек, а целая рота ответила. Вижу, польстило это майору.

— Вольно! — командует.

Я дублирую:

— Вольно.

— Гвардии сержант Прончатый!

— Так точно, товарищ гвардии майор! — отвечает Тимофей.

— Ну, так с чего рыба тухнет? — глаза майора смеются.

— Известно с чего, товарищ гвардии майор.

— Вижу, на пользу пошла наука.

— Служба, товарищ гвардии майор.

— И ты здесь, гвардии ефрейтор?

— Так точно! — отвечает Скворцов.

— Что так?

— Единственный кормилец в семье, отпустили.

— Понятно. А теперь слушайте главное. Задача у нас сложная. Путь далек, и земля вокруг чужая. Есть

тут разные националисты и прочая гнусь, зарятся на наше добро. Завидуют, куда, мол, коней угоняют. А кони-то наши. Так вот, коней этих мы должны доставить в колхозы и совхозы целехонькими, упитанными, без потертостей и прочей хвори. Тягла на родине большая нехватка, четыре года на войну робил народ. Сами знаете — из хозяйств машины в армию мобилизовали. В общем, очень нужные кони, и они доверены нам с вами. Ясно? А теперь размещайтесь и готовьтесь к перегону. Выполняйте, гвардии лейтенант!

— Есть! — говорю и четко поворачиваюсь к строю. — Сержант Прончатый и рядовой Агафонов — ко мне. Остальные разойдись.

* * *

Двинулось наше кондепо проселочными дорогами в обочь городов. Повозки запряжены парами, у каждой — закрепленные за возницей кони. Нещадно пекло солнце, поэтому солдаты натянули на подводах палатки — получился с виду своеобразный цыганский табор, растянувшийся на десятки километров. Штабной вагон с Перетягой двигался где-то в центре, а вдоль колонны сновали верхами командиры взводов, связные.

Я тоже поначалу не слезал с седла, все следил за своей группой: не отбились ли где лошади, не отстала ли повозка. Через несколько дней я уже ходил — ноги ухватом, а потом и совсем слег. Без навыка в седле далеко не ускачешь. Прончатый заменил меня, пока я не мог ездить верхом. Тимофей не пользовался седлом, на коне сидел по-бабьи, боком, вообще не казаковал, а исполнял порученное ему дело, как лучше и удобнее. Агафонов с подводы слезал только поразмяться.

Скалов посмеивался надо мной:

— Ну, как твое «седло»? Подживает? Или еще в волдырях? — Серега садился ко мне на телегу, настраивал гитару и запевал:

Кое-как плетутся кони по дороженьке,
А дорожка утомительно длинна,
Эх, промчаться, поразмять бы коням ноженьки,
Только, где там, заругает старшина.

Плестись шагом действительно тоскливо, а походный порядок нарушать нельзя, не один едешь, а целым полком.

Поют и на других подводах — украинские, волж-

ские, сибирские песни, слышны баяны и еще не вошедшие в моду аккордеоны. Случается ехать через село, жители с завистью поглядывают на коней, видать, тягла у них в крестьянском деле тоже не густо. А здесь не идут, а пляшут, играя силой, нагулявшие жиру на военном пайке, отборные рабочие кони.

— Махнем, пан? — это поляк подошел к нам с тощей лошаденкой.

Агафонов, любивший «махнуться» не глядя, скривил свои тонкие до синевы бритые губы:

— Так у тебя, пан, не конь, а коза!

— Не добже так обижать, я же пошутил! — обиделся поляк, но подвода Агафонова уже проплыла мимо. Грузно, слегка выгибая в такт шагу круглые холки, протопали ломовики.

Когда полем ехали — далеко видать, а втягивалась дорога в лес — перед глазами только крупы впереди шагающих лошадей. Ездовые доставали из-под сена винтовки, проверяли затворы: держались по фронтовой привычке настороже. На ночь коней сгоняли в плотный табун, выставляли часовых. Перетяга частенько лично проверял посты.

Однажды на марше молодой конь сбросил недоуздок, перескочил неглубокий кювет и зарысил в поле, а когда за ним повернул верховой, ударился вскачь. Гулкий взрыв — и коня как не было, наскочил на мину. Перетяга вызвал командиров в штаб. Боком на неоседланном Гнедке, притрусил и я.

Виновного в гибели коня Перетяга не жалел, но больше досталось нам, у которых потерь еще не было. С того дня я опять в седло сел, выставил дополнительных дозорных справа и слева колонны. И все же чепе произошло в моей группе и не на марше. Кондепо подходило к границе. Остановились на дневку, коней пустили в поле — поразмяться и самим отдохнуть, походить по земле. Пущенные на волю кони взыграли. Взвивались на дыбы, взвихрив хвост трубой, рысили по полю.

Буланый здоровяк-битюг скакал-скакал и вдруг, свечой взмыв, пропал. Словно сквозь землю провалился. Поскакали к этому месту и ахнули. Буланый стоймя стоит в железобетонном круглом минометном колодце. Передние копыта едва достают верх, конь дико ржал и бился головой о стены.

— Вожжи, постромки! — крикнул Тимофей Прончатый. — И народу как можно больше!

К колодцу сбежались кондеповцы. Примчался сюда и майор Перетяга. Не слезая с седла, спросил:

— Чей конь?

Я было шагнул вперед, но Прончатый оказался быстрее:

— Из моих, товарищ гвардии майор!

— Не вызволишь, пойдешь под трибунал — за порчу военного имущества.

— Не пужайте, товарищ гвардии майор. Животина глупа, а не виновата, человек же с головой, да впросак попадает. Коня попытаемся спасти.

— Побачу, как это ты сробишь! — майор спешился, отдал поводья коноводу.

Принесли вожжи, веревки, постромки. Прончатый осмотрел их, попробовал на прочность, постромки связали. На голову Буланого натянули оборот. Двое солдат потянули за повод, не давая жеребцу биться о бетон головой. Буланый заржал тоненько, словно жеребенок, напрягся — и передние ноги его высунулись из колодца, голова тоже оказалась на поверхности. Конь тяжело дышал, голубые глаза его в красных прожилках наливались кровью, кожа на холке дрожала.

— Агафонов! — позвал Прончатый.

— Я, Тимофей Ипатыч...

Прончатый скользнул взглядом по испуганным глазам Захара, заметил, как дрожат сильные красные клешни агафоновских рук и передумал:

— Не бойсь, сам полезу, а ты подай конец, — и протянул связанные постромки Агафонову. — Держи!

Буланый с минуту вел себя спокойно, а когда Прончатый шагнул к колодцу, намереваясь спуститься по крупу коня и подвести под передок его веревку, захрапел, мотнул головой, и солдаты, державшие повод, полетели с ног.

— Пристрелите на мыло, — проговорил майор.

Прончатый оглянулся, смерил Перетягу взглядом, усы его дрогнули:

— Такого на мыло? Да он же племенной! — и к солдатам. — Крепче держите повод. Ну!

Тимофей обхватил коня за шею, что-то зашептал ему на ухо, известное, наверное, только хлеборобам да трудягам-коням. Конь навострил уши, заморгал глаза-

ми, а Прончатый уже сунул руку с постромками под передние ноги. Агафонов, осмелев, подхватил конец с другой стороны.

Столпившиеся кругом неподалеку от колодца люди вздохнули, ременная петля под передком коня была захлестнута.

— Ну, а теперь не бойсь, подходи! — Прончатый махнул солдатам рукой: — Эх, ухнем. Еще разик, еще раз!

Люди схватились за постромки и потянули, а Прончатый опять к коню, за повод тянет:

— А ну, милай, поднажми, поднажми, — голос у Тимофея, словно с ребенком разговаривает. — Еще, еще. А теперь стоп. Агафонов, еще веревку!

Буланый держался на весу, потяни — и сорвется. Теперь и под задок требовалось подвести ремни, а тогда уже тянуть. Вызвался Скворцов:

— Я юркий, проскочу.

Никто и возразить не успел, как Виктор очутился в колодце. Прончатый опять заговорил с Буланым.

Долгими показались эти минуты, пока Виктор возился в колодце. Малейшее неверное движение — жеребец напугается, рванется и задавит своим тонным телом ефрейтора — единственного кормильца, отпущенного из армии до срока. Перетяга побледнел, даже в самом жестоком бою его таким не видели. Белые, как снег, седины потемнели: пот прошиб Николая Остаповича.

— Тяните! — послышалось откуда-то издалека. — Мне не вылезти... — Это кричал Виктор.

— Спокойно, — проговорил Прончатый. — Выручай, дубинушка. Эх, ухнем! Еще разик, еще раз... Еще, еще...

Тянули все. Даже майор Перетяга. Буланый не шевелился, словно умер, даже глаза закрыл. И когда вытащили его, он не подавал признаков жизни. Сняли ремни из-под передка и задка. Он открыл глаза, потянулся и заржал, потом как-то разом вскочил на ноги. Спина его по-смешному, словно у искупанного в луже котенка, изогнулась полумесяцем. Кондеповцы засмеялись. Жеребец встряхнулся, подпрыгнул на месте и ударился было вскок к тому же колодцу, но Прончатый крепко держал его за повод.

— Шалишь, дурила.

Кондеповцы, как по команде, оглянулись на мокрого Виктора, подхватили его и начали качать.

* * *

Снова дорога, но скоро она кончится. И — здравствуй, Россия! Ехали весь день, потом готовились к ночевке, поили-кормили лошадей. И вдруг приказ — немедленно сняться. В штаб прибыли саперы во главе с лейтенантом и объяснили, что кондепо расположилось на минном поле. Саперы на наших глазах извлекли несколько мин.

Пришлось двигать на новое место. Когда солнышко закатилось, собрали лошадей в табун, выставили часовых. Поужинав, страшно усталые, кондеповцы повалились спать: в повозках на сене, а кто прямо на земле.

Летняя теплая ночь. Мирно перемигиваются звезды. Вокруг стоянки темный с вызубренными верхушками лес. В лесу, с вечера еще разведали, небольшой польский фольварк, покинутый жителями, полуразрушенный. Хотели было на фольварке расположиться, да решили, что в лесу лучше. Оно и действительно так оказалось. Спал я без сновидений. Проснулся от предрассветного холодка, поплотнее завернулся в шинель и плащ-палатку. Слышно даже, как дышат кони, посапывают.

Разбудил меня толчок в плечо. Открываю глаза: передо мной Прончатый, Скалов и Скворцов.

— Вставай, лейтенант, беда.

Я было ворохнулся, чуть не крикнув «тревога», какой-то ток пронизал меня.

— Тихо. Паники не поднимать...

Я натянул сапоги, поднялся.

— Что случилось?

Прончатый нагнулся, пошарил рукой в траве, потом присел, разгреб дерн.

— Мина? — я задохнулся.

— Не бойтесь, она не взорвется. Электрическая, — и Тимофей показал мне проводки, убегающие в землю. — А вот еще одна. И от нее проводки. На минном поле мы, лейтенант. Спасибо, Буланому. С перепугу он после колодца успокоиться не может. Знай, роет копытом землю и выкопал.

— Так что же делать? В штабе знают?

— Нет еще. Скажешь — может, паника и все такое. Дело в том, что все поле обезвредить трудно. Сколько здесь мин? Сотня, две? Где-то проложен главный силовой провод, пока мины по одной разряжаешь, включат рубильник — и капут всем нам. Видимо, те саперы, что намедни в штабе были, загнали нас сюда с умыслом...

Казалось, что мы одни, совсем одни на этом минном поле.

* * *

— Приведите сюда задержанного, — приказал Дженчураев.

— Ворон — беспощаден. Кто предавал его, погибал рано или поздно, — какая разница? Выходит, пан капитан желает моей смерти?

— Я никогда не думал, что вы так наглы, — вскипел Антонов, — да вам всякий желает одного...

— Разумею. Я не поведу вас. Управляйтесь сами или обещайте мне жизнь!

— Вас будут судить, Копчик. А что касается меня, я бы давно...—Капитан посмотрел на свой пистолет в расстегнутой кобуре.

— Выходит, и так и эдак конец?

— Почему же? Победивший народ добродушен, особенно русский.

— Добре, — протянул, раздумывая, Копчик.

Копчика взяли при переходе границы. Говорил, что возвращается на родину. Но старшина Карасев признал в нем упавца[1], одного из помощников Ворона.

— Я решил выйти из игры. Ворон выполняет приказ «Центра».

— Какой приказ?

— Заманить ваше кондепо на минное поле и уничтожить.

— Вы поведете нас!

— Я уже сказал — добре!

Дженчураев принял решение:

[1] Упавцы — солдаты националистической Украинской повстанческой армии.

— Немедленно. Оперативную группу. Надо опередить Ворона. — Карие глаза майора сделались темными, напряглись желваки туго обтянутых кожей острых скул.

— Кто возглавит операцию?

— А кого бы вы хотели?

— Разрешите мне и старшине Карасеву?

— Согласен. Выступайте. — И вдруг остановил капитана: — Учтите, малейшая оплошность — и дорого встанет нам эта птица!

— Я понял вас, товарищ майор. Разрешите выполнять?

— Желаю удачи, капитан...— сказал Дженчураев. Антонов вышел.

Молод еще Антонов, в его годы Джаманкул был младшим командиром, а этот уже капитан. Что успел сделать до войны Антонов? Да почти ничего, даже не женился. Немного учительствовал в украинской школе, обучал детишек русскому языку. По комсомольской путевке ушел в военное училище. А после... После стоял на охране Государственной границы... Принял на себя первый удар гитлеровцев... Лейтенанта Антонова вынесли из боя пограничники, не хотел оставлять поста командир, верил, что вот-вот подойдут регулярные войска.

Майор убавил огонек в лампе и прилег на топчан, прикрывшись шинелью.

А кто тогда не верил? Только трус и предатель. Этой веры держались не одни пограничники. Германские войска вели бои за Минском, рвались к Смоленску, а советские воины еще дрались, стояли насмерть у границы.

Утро обещало быть ясным. Ночью выпала крупная роса, трава, листья, будто усеяны бусами. Любоваться бы этой красотой, вдыхать ее и радоваться, но сейчас не до этого.

Когда сквозь редеющий лес показались домишки, Антонов приказал спешиться и оцепить небольшой из четырех-пяти дворов фольварк. Пулеметчики взяли на прицел каждый дом и сарай. Откуда бы ни появился враг, он попадал под прицельный огонь.

Наблюдатели забрались на деревья у опушки... Парные дозоры, прикрывая друг друга, перебежками двинулись к фольварку. Вскоре дозорные просигналили: на хуторе никого нет.

Антонов, Карасев и Копчик подошли к сосне у самого ближнего к опушке сарая.

— Здесь? — спросил старшина Копчика. Тот кивнул. — Давайте условный сигнал!

Копчик взял палку, лежащую у сосны, и три раза ударил по стволу. На сигнал не ответили. Антонов приказал повторить. Безрезультатно. Тогда пограничники осторожно подошли к сараю, заглянули в него. Сарай завален сухими сучьями.

— Здесь только волков зимой морозить! — усмехнулся Антонов. — Обманул нас, Копчик?

— Перед смертью не лгут, пан капитан. Хотите верьте, хотите нет. Ворон, значит, заприметил нас.

— Ах ты елки-палки, — набросился на Копчика старшина. — Значит, ты знал? Что делать, товарищ капитан?

— Может быть под сараем бункер? — снова спросил Антонов Копчика, словно не слышал старшину Карасева.

— Может. Но я в бункере не был.

Сарай очистили от сушняка, собранного, видать, для топки, прорыли в земляном полу несколько лунок, в полметра глубиной. Грунт слежалый, унавоженный, старый.

Рядом с сараем, метрах в десяти, — почерневший от времени колодезный сруб, над ним чуть покачивался, словно его кто тронул, журавель, бадьи на гладком шесте с зацепом не было, она валялась рядом, на земле.

Колодец неглубокий, сажени две, поблескивает, отражая далекие облака, квадратное зеркальце воды...

— Карасев, обследуй колодец, — приказал Антонов и вернулся к сараю, где пограничники продолжали копать.

Старшина вскочил на сруб, обхватил руками шест. Скрипнув тоскливо, журавель опустил Василия в колодец, двое пограничников, намотав веревку на противовес, страховали смельчака.

Карасев, опускаясь, одной рукой держался за шест, другой проверял срубовые венцы. Бревна сидели крепко, поросли густым мохом. Почти у самой воды, в стене, обращенной к сараю, две плахи сруба шатались, закрывая лаз.

...Лопаты пограничников, что еще копали в сарае,

наткнулись на бетонную плиту, сдвинули ее ломом, образовалась щель.

Антонов бегом кинулся к колодцу.

— Старшина, немедленно наверх! — крикнул капитан. — Эй, шайтан! — выругался он. Старшины не видно, наверное, он не слышал приказа. Мелкими кругами расходилось зеркальце воды от сыпавшейся земли.

Антонов вернулся в сарай, торопливо склонился над щелью в бункер и крикнул:

— Эй, кто там, выходи!

В ответ грянула автоматная очередь. Капитан схватился за живот и пошатнулся...

— Берите живьем. Гранат не бросать. Там старш...— Антонов не договорил и замертво свалился на свежую, выброшенную из лунок, землю.

Старшина Карасев, с плоским штыком от самозарядной винтовки во рту, с гранатой в одной руке и пистолетом в другой, быстро полз на локтях по обмазанному глиной лазу. Воздуха не хватало, большое тело старшины едва вмещалось в узкий извилистый ход. Казалось, тебя давит земля, сжимая со всех сторон. Если впереди нет выхода, назад не повернешься, а если проход завален...

Руки старшины уперлись в деревянный люк — и в то же мгновенье загремела автоматная очередь. Не успела она смолкнуть, старшина рванул люк.

* * *

В кондепо не объявляли тревоги, людей поднимали по одному, а те, выслушав приказ, спешили к своим коням и выводили их на дорогу.

Тимофей Прончатый шел по проводу, который вился в траве к лесу, к той самой заимке, или, как поляки называют, фольварку, в котором еще вчера они были. Неужели там находится адская машина, которая вот-вот должна сработать? А может быть, это ложный провод? Какой-нибудь сюрприз? Оборвешь, и мины взорвутся. Все поле разом?

* * *

Старшина Карасев в полумраке бункера увидел Ворона, тот стоял к нему спиной и ширкал ключом в крышке металлического ящика. Руки у бандита трясутся, никак не может попасть в скважину. Но что там

у него за тайник, драгоценности? Хочет забрать и уйти через колодец? А может быть, там — страшная догадка оборвала даже дыхание — конечно же: рубильник. Старшина кинулся на Ворона, оторвал его от стены, трижды ударил рукоятью пистолета по темени. Бандит обмяк.

Дверца квадратного металлического ящика, вделанного в стену, была открыта, матово поблескивала ручка рубильника электрического минного взрывателя. Старшина штыком от самозарядки обрезал провода. Потом подошел к щели, в которую стрелял Ворон.

— Эй, кто там? Товарищ капитан?

Не знал еще Карасев, что капитана уже нет в живых, а по обезвреженному им проводу бежали сюда мы, его старые друзья-земляки.

Глава четвертая

Прибойная волна пережитого исподволь жива. Океан памяти спокоен до поры, поистине Великий или Тихий океан. Стоит колыхнуть его ветру или иной какой силе, глядишь, за малой волной гребешок второй запенивается, а за ней, сединой побитый третий гребень, а там — четвертый с султаном-кивером по хребту, пятый, двугорбый с бахромой, шестой... а вот уже катит, горбатясь бугром-курганом, и гулко рушится на гремучие слитки разных цветовых оттенков лохматый девятый вал!

Час, другой, день и ночь, сутки и более кряду перекатывает свои козырные девятки валов океан памяти. И ветра уже нет, и небо очистилось, словно отпрянуло ввысь, заголубело по-ялтински. Но волны не угомонились. Еще долго будет выгибать свои, пусть уже не взвихренные, но упругие спины, так называемая мертвая зыбь. Докатятся волны до берегов, яро вскипят и, разбившись о скалы, отступят, ворча, чтобы с новой силой ринуться на приступ. Океан, поистине — океан!

Отштормило?! Ну, нет! На горизонте вновь вспетушился гребешок малой, казалось бы, никчемной волны, а за ней уже гребень кажет себя, считай, опять ветер или какой иной толчок. И все началось заново, волна

на волну. Не умолкает прибой, и гул его перекатный настороженно слушает земля, передавая от одного до другого океана-побратима. Пустыни и те горбятся зыбучими песчаными барханами...

Память. Ее может всколыхнуть дуновение с определенным, когда-то вдыхаемым запахом, название улицы, местечка или городка, слово, нечаянно услышанное от прохожих, — где-то я осмысливал такое? — мелькнувшее в толпе лицо — где-то вроде бы видел, а где? Да мало ли еще что самое, казалось бы, мало-мальское, к примеру, дымок махорки-самосада напомнит сорок первый год.

Скалов на полубаке, облокотившись на высокий фальшборт, задумчиво глядит по ходу судна. Кажется, что ему не терпится поскорее ощутить безбрежье водного простора. Горизонт отступает медленно, не будь по бортам берегов Золотого Рога — и не заметил бы, что теплоход стремительно набирает, наматывает узлы хода на гребные винты. Видно, как расступаются берега, пусть нехотя, важно, этак с достоинством, отходят в стороны и за корму.

А может, мы стоим, а берега уплывают? Я осматриваюсь. На траверсе — ночной Владивосток — несчетные электрические огни звездной россыпью от черной воды устремляются к черному небу выше и выше, образуя вначале пирамиду, затем вычерчивают острый и узкий угольник, переходящий в шпиль-вертикаль. Серебристые огни перемежаются с красными. Это самая высокая точка города — сопка Орлиная. С теплохода Орлиная видится гигантским спардеком с высочайшей мачтой диковинного многопалубного лайнера. Это он плывет сквозь бури времени, а не мы уходим вороneными водами залива Петра Великого курсом на Петропавловск-Камчатский.

Я понимаю задумчивость Сергея. Да как нам не понимать друг друга, когда четыре года без малого качала нас война в танковой башне. Скалов не уроженец здешних мест, так же, как и я, а в Москве, прощаясь с завечеревшей матушкой-столицей, на Северном вокзале сказал:

— А у нас-то уже светает, утро...

— На Волге-то?

— На Тихом, Снежок!

Когда для него, волгаря, океан стал своим, про ко-

торый он говорит «у нас»? А про Волгу «у вас»? Родное Поволжье уже не отчий край, Приморские края затенили?

Здесь я начинал армейскую службу в запасном стрелковом, а Скалов приезжал с фронта на переформировку. Отсюда совместная дорога в одном танковом экипаже. Бои на подступах к Москве, где погорела наша «старушка» — «тридцатьчетверка». И снова мы на Дальнем, в Приморье, залечиваем раны, набираемся силы в тайге и опять на врага. На Курской успели и до Берлина дошли. Взяли Берлин и снова на Дальний, самурая кончать. Не успели Краков проехать — стихло на Тихом.

Погоны снявши, Скалов беспересадочно на скором укатил к океану.

— Тонуть так не в какой-нибудь лужице, ну и плавать тоже! — сказал он мне на прощанье. Не притягательны ли, словно магнит, океан, тайга, вздыбленная сопками Приморья, Охотска и Камчатки? Раз, другой побывал здесь, вкусил здешнего воздуха, красотищи неописуемой и сердцем прикипел? Недаром, знать, женьшень — корень жизни — здесь произрастает и зарождается каждый новый день планеты Земля.

Богат историей совсем еще молодой по градоисчислению, вымеривающий только второй век свой, Владивосток. Основали его моряки как самый дальний форпост России «Владей Востоком». От широкого мола гавани, где частоколом торчат корабельные мачты, стрелы, трубы, к центру, через парк и трамвайные пути и от центра по Суйфунской, Китайской, Тигровой и другим улицам — крутые ступени кварталов. Из поколения в поколение вырубали их в сопках первопроходцы-старожилы, лепились по склонам избы на курьих ножках, но до лысой макушки сопки Орлиной было еще далеко. Правда, даль эта неуклонно осваивалась. Что поделаешь, и морской человек без земли не человек, а Золотой Рог — скудность суши и обилие воды.

Как это в шотландской застольной поется:

За друга готов я хоть в воду,
Но жаль, что с воды меня рвет.

Правильно поется, вода-то соленая, горько-соленая. На портовом причале шумела-вздыхала толкучка-базар. За копеечную мелочь угощали здесь в то время

прямо с лотка и русскими наваристыми щами, и сибирскими пельменями, варениками и галушками по-украински, и здешними блюдами — трепангами, ивасями, красными, словно раки, крабами — морскими семечками прозвали их приезжие: сиди в кино и лузгай, по бульварам гуляй — лузгай. За те же самые копейки, а то и подороже — подавали жестяную кружечку воды.

На щербатых булыжных мостовых, буквально на каждом шагу, встречались люди с коромыслами на плечах, бережно несли они тяжелые ведра, бидоны, жбаны, кованые железные и бадейки-долбленки из дерева. Люди эти всем нужной профессии — водоносы, в разнообразной таре у них — вода, обыкновенная, питьевая. Для жителей. Флоту же танкерами из-за границы, Кореи и Японии, импортировали пресную воду.

Два слова «Владей Востоком» вскоре соединились в одно — Владивосток. Пресноводная проблема решена и для жителей и для флота, а суши все же маловато. Лезет город в гору и многоэтажьем и в прямом смысле на Орлиную вскарабкивается и кажется с моря в ночи главной мачтой города-морехода. Осваивают владивостокцы и низины, строят на бывшем Огородном поле, гатят заболоченные земли бетоном, отвоевывают буквально каждую пядь земли.

Может быть, нетерпение Скалова — вырваться на безбрежный простор — от ощущения земельной скудности, которая и поныне чувствуется особенно градостроителями.

Залив Петра Великого — за кормой. Оживляется Сергей, словно впервые за весь путь ему хватило воздуха на полный вдох. Но молчит еще. Не отпустила взволнованность. А может быть, я не понимаю, о чем думка у Сереги?

«Знаешь, — хочется сказать мне Скалову, осердясь, — не понимаю, как это можно столько времени стоять рядом и молчать, думать о чем-то о своем. Я жду. Все это время жду: что-то мне скажешь, что-то объяснишь. Я ведь с тобой локоть в локоть стою и не могу думать только о своем, а главное — молчать. Или лучше ни о чем не спрашивать, привыкать: коль пошел в подчиненные, бедолага. У начальства для тебя не всегда есть время, оно может отмахнуться или прос-

то оборвать: да помолчи ты, не до тебя. Начальство все может. Только мы пока еще не на твоем сейнере, товарищ капитан. Мы равноправные пассажиры, попутчики... Но ведь мы — друзья, боевые друзья. В чем дело, старик?»

Я искренне негодую, скрытность Сергея уязвляет. Наверное, после материковых встреч голова полна впечатлениями, еще не можешь отмежеваться от новых забот. Соображаешь, извини, как повернутся дела со мной, выйдет ли из меня радист для твоего сейнера — железно-деревянной скорлупки? Сомневаешься? Так скажи, а то молчуном смотришь куда-то в сторону, хотя и вперед, но мимо меня, ну и смотри. Обузой не буду, не к тебе, так к другому уйду.

Ведь тогда, в сорок первом, взявши меня в свой экипаж из пехоты, механик-водитель — жаль погиб Иван — и ты, командир орудия, одного хотели, чтобы узнал я как можно больше в наикратчайший срок. Радовались, что без конца вопросы задаю и по огневой и механической части, свою — стрелка-радиста — и ваши специальности усваиваю. Взаимозаменяемость членов экипажа. Иван подбадривал: «Гарный хлопец», и ты поощрял: «Головастый мужик! Нашенский!» И я старался. Не до сна было, узнавал и овладевал чем-нибудь каждый божий день, каждые сутки, что были нам отпущены судьбой на дорогу от Приморья до Подмосковья, до первого боя...

Может быть, пришло время и я стал тебе неинтересен или выложился ты в своих познаниях до самого донышка и нечем тебе удивить меня, научить нечему? А ведь всю дорогу от Москвы до посадки на борт во Владивостоке исчерпать себя не мог. Душу выкладывал, осуждая и возвеличивая.

Частенько, мол, слышу, зачем геройствовать. Времена эмоций прошли. Расчет, житейская мудрость, трезвый ум, деловая разворотливость — вот какие ветры полнят паруса нынешнего. Героизм — отдельные случаи. Стараться быть героичным всю жизнь и во всем — мартышкин труд. В бесснежье да морозы озимь погибнет, а пырей останется, но он никогда не будет хлебом... И ты с такими понятиями вроде бы в согласии, но однако же в заключение себе противоречил: «Всего сильнее хочется мне попасть в шторм!» Я мысленно одобрял именно этот порыв. Так чего же сейчас

задумался, молчун молчуном? Вроде бы мыслим одинаково, рядом стоим, а глаза — врозь...

Волны за бортом густо-синие, нет-нет да высветятся фосфорическими блестками-бликами, будто пронижет воду свет из иллюминаторов. Так оно, наверное, и есть. Теплоход наш черный по бортам до ватерлинии и снежно-белый от палубных надстроек до спардека. Мачты и грузовые стрелы окрашены в коричневый цвет, в ночи же они кажутся черными.

На палубе — гусеничные тракторы, закрепленные в растяжку стальными тросами. Здесь же громоздкие сельхозмашины. Груз особого назначения. На Камчатке еще в войну интенсивно занялись земледелием. Какого рода поклажа в трюмах — мне неизвестно, они задраены брезентом.

Теплоход ледокольного типа «Север», грузо-пассажирский. В надстройках — каюты первого и второго класса, ресторан с буфетом, а третий класс в пассажирском трюме, вдоль и поперек заставленный двухъярусными железными койками, наглухо привинченными к потолку и полу. Одни ряды коек вдоль бортов, другие поперек их.

Народу здесь — густо. Большинство вербованные, отслужившие свой срок в армии, они по обмундированию и молодости приметны. Есть и бывалые камчадалы, «возвращенцы», как они называют иногда себя сами, возвращаясь с материка, кто по окончании отпуска, а кто на новый срок, после двух-трех лет перерыва. Жизнь, говорят, на Камчатке не то, что до войны, а все же вольготней материковой, особенно той, что в среднероссийских областях. Да и привычка тянет, она, сказывают, не рукавичка, не скоро снимешь и в тайник не упрячешь. Привычка та же природа, характер.

Есть среди пассажиров «пахари моря» — рыбаки, в отличие от новичков-демобилизованных и прочих людей, сухопутных спецов, — одеты щеголевато, не то чтобы каждый день — новая рубашка, они в бессменном — в кожаных куртках заморского покроя — «сингапурках», в распахнутые вороты пестрят тельняшки, есть среди них что и поистрепались, прожились в долговременном до шести месяцев отпуске, но одежонку свою носят с шиком, потому и щеголи, а на проверку ребята — душа, приживчивые, как дерево, что из тычка растет, приживутся в аду и скажут — в рай попали.

Ярко горят зарешеченные проволочной сеткой светильники. Нет-нет да плеснет волна по иллюминаторам, озорно, внахлест, и палубу будто вверх из-под тебя потянут — тогда слышно, как ойкают пассажиры женского пола из молоденьких, гулко хохотнут вчерашние солдаты, может, и кинет в дрожь, да бодрятся — на то они — солдаты, страха выказывать нельзя. Со страху один помирает, а другой — оживает, да на всякую беду страха не напасешься.

— Вы были на море? — спросила девчушка своего знакомого по вербовке, что и погоны еще спороть не успел — двинул за счастьем на Камчатку. Он развалился в свое удовольствие на койке, девчушка с краешку к нему присела.

— На море? — переспросил парень и махнул рукой. — Я на Волге бывал в таких штормах! — и зажмурился, головой потряс. — Нам все нипочем! — Рывком поднял руку на девичье плечо, она к нему притулилась и тихо так:

— А мне страшно...

Желающих попасть на Камчатку так много, что нам со Скаловым тоже пришлось довольствоваться третьим классом, чтобы не ждать очередного парохода. Пароходы не поезда, можешь и месяц прождать. Чем третий класс плох? Ничего особенного — общественно-просторный кубрик: койка, матрас, подушка, само собой — простыня и одеяло, тумбочка личная. Что еще надобно? Любуйся морем через иллюминатор, а мал сектор обзора — гуляй на верхнюю палубу, дыши сдобренным солями моря воздухом и упивайся красотами природы. Вот мы с Сергеем и торчим на полубаке. Молчим. А может, в душе рыбацкий капитан толкует сам с собой, как и я. Сергей наконец-то почувствовал мое беспокойство, повернулся ко мне лицом, спиной борт подпирает, когда тот на волне норовит отбросить моряка.

— Что молчишь-то? — спросил.

— А ты?

— Думаю, как встретит...

— Камчатка?

На Камчатке — краю земли — я бывал, куда война не забрасывала!

Но на самых дальних перекрестках
Мне кивали волжские березки.

В камчатском лесу и рябина, что у нас в поволжских, только кисти у камчатской грузней и рдянее, и шиповник ягодой покрупнее, похожий на яблочко сорта «ранет». На вкус же не различишь, не то что в Германии — крупный, а пару ягод сжуешь —и во рту словно бензин через шланг засасывал: от удобрений, от химии вкус тот.

И грибы на «краю земли» водятся в достатке: опята, рыжики, а груздей сколько! Только вот почему-то не культивировались там в тогдашнее время грибники. Там больше морским промыслом народ озадачивался. И крабов в Раковой бухте приходилось мне ловить. Плывешь на лодке с шестом, на конце которого вроде теннисной ракетки — решетка из проволоки. Оттолкнулся и глядишь: вода вглубь до дна метра на три проглядывается. Чего только на том дне нету! Звезды, ежи, ракушки и водоросли разные. Смотришь среди всей этой живности — краб: боком-боком в темень пошел, за камень какой или заплетенье водорослей. Переворачиваешь шест решеткой в воду и накрываешь краба, он же, дурак, хвать клешней за проволоку, щелк и зацепился, намертво. Пока тащишь, перегрызть норовит. Бросаешь добычу на днище лодки и снова отталкиваешься, дальше выглядываешь. Бывает, и бычка килограмма на три, четырехрогого, зацепишь. Местные не едят этих бычков, а мы употребляли, сладит мясцо, а есть можно, с перчиком. Краб вкуснее, вроде речного рака. И корюшка свежая — язык откусишь, огурцами пахнет. Вот рыба!

С ближних сопок, словно кто бикфордов шнур кинул и поджег: парят, летят по каменьям меж кедровника, к морю, ручьи. Есть горячие, есть и студеные, но и те и другие в легких клубах пара.

Воды здесь не то что во Владивостоке. Ручьев искать или колодцев, ходить неведомо куда, не надо вовсе, в любом месте, не камень если, ткни малой саперной лопаткой землю — и польется, пей не напьешься — ледниково-светлая вода.

Вулкан задымит, что стражем стоит за Авачинской бухтой, никто из жителей-старожилов, да и вновь приезжих, не ахнет. Скажут только, затопил, мол, баньку старик. Старик — это Ключевская сопка, так про дей-

ствующий вулкан говорят. Я даже стихи крапал на этот предмет:

Нет покоя в мире и природе.
Ухо навостри — кругом пальба.
Вся земля ворочается вроде,
Вроде и внутри ее — борьба.

Вон как вздыбилась шатровой крышей,
Аж клубами пар заколесил.
Это, надо полагать, что дышит
Шар земной, вращаясь на оси.

Авачинский вулкан, по которому бухта названа, верст шестьдесят от Петропавловска, а на взгляд — вот он, рукой подать. Потухшим считается, а глядишь, дымок над ним белою воронкою. Издали создается впечатление, что небо, словно процеженное сизое молоко, струйкой льется в эту воронку. Вулкан спокойненько, в охотку, утоляет свою вулканью жажду, потому и потихому ведет себя. И опять же камчадалы шутят: не дай бог, захлебнется, рыгнет тогда огнем и каменьями, залихорадит и сушу, и море. Закачается город, словно пьяный, деревни и деревья, и сама Авачинская бухта, словно всклень переполненная чаша в безветрии плеснет на берега...

Своенравна Камчатка, но коль обживешься — ничего. Стоит ли заботиться, как она нас встретит? Гляжу с удивлением на Скалова.

— Как встретит Камчатка? — повторяю раздумчиво уже высказанное мной.

— Сказал как смазал, — печально улыбается Скалов, и глаза его притухают, меркнет блеск, навеянный восторгом от встречи с океаном. — Не о Камчатке-любушке я. Не о ней...

«О чем же?» — думаю. Поначалу Сергея не взяли на флот, прихрамывал он после ранения, осколки еще сидели в ноге. Дорабатывай, моряк, свой век на берегу. В море же от тебя польза невелика. На суше работы — хоть аврал объявляй, не обидим, мол, пострадавшего за счастье народов, моряка. И жильем и всем прочим обеспечим, надо: за счет производства лечиться пошлем.

«Списать, как непригодного, маракуете? — взъярился Скалов. — Да я с такой увечиной из танка не вылазил, считай, два года. А вы меня в инвалиды? В бою — годен, а в миру — нет?»

Добился своего Сергей: взяли его на сейнер. Осколки в ноге словно затаились на это время. Вроде бы оставили человека в покое. Но не надолго. Крепился капитан, да напрасно — вскрылась рана. Пришлось лечь в госпиталь на операцию, потом на вторую. Все это время помощник командовал сейнером. Сейчас Скалов возвращался после третьей операции из Москвы. Врачи сказали: теперь все, последний осколок, беда твоя, удален. Теперь будь спокоен, теперь...

Да, кроме смерти от всего вылечишься. Но кто знает, не то скипится, не то рассыплется, как ни дуйся лягушка, а до вола далеко. Был конь, да изъездился. Может, и вправду Сергею в береговые рыбаки уйти?

— Сколько лет-зим-то тебе, Серега? — пытаюсь навести его на разговор о работенке на суше, сумрачность друга развеять, как ни говори, а вместе потужить — любое горе — полгоря.

— Лет не так уж много, а вот зим, друг ты мой, ой, ой!

— Как это «зим»? — не сразу понял я.

— Зим, говорю, много. Считай, всю дорогу по зимнику, — философски протянул Сергей и вдруг неожиданно оборвал. — Ничего ты не понял. Не о том я. Пойдем-ка лучше спать. Утро вечера мудренее. Нахватался я морского солонца, будто снотворного хватил, вот и потянуло ко сну. Сил нет. Пойдем...

«Не о том я», «Зим много», «Считай, всю дорогу по зимнику», — медленно повторял я слова Сергея, укладываясь на свою железную двухъярусную койку, совсем такую, как в казармах запасного полка. Уснуть я, конечно, не мог. Каково думается — таково и спится, бывает, и сон не в сон, и во сне — думаешь, да еще как.

* * *

Не знаю: у кого как, а у меня, как только снял погоны, все перемешалось. Жизнь с виду проста, а окунешься — суводь, не сумеешь выплыть — закрутит.

Направили меня, как инвалида, в артель «Красный швейник». Почему, думаю, «Красный»? И что я там буду делать, шить? Назначают агентом по снабжению и сбыту. В артели двести душ инвалидов всех групп, всех войн, труда и детства. Каждому дай работу. Пенсии — от получки до получки — внатяжку. А жить — любить надо. За это воевали. Сырым, а не сырьем, в

складе пахнет. На полках для мануфактуры — один мышиный помет. Шей из материала заказчика. Заказчиков — завались, но у них самих материала разве что на носовые утирки.

Что, думаю, делать? Отказаться? Сдрейфил, скажут. Но с чего начинать? Председатель — разбитной человек. Женщина. Протез на левой ноге по колено, а шустрит — на двух здоровых не угонишься. Лицом — армянка и характером горяча. Не подуешь — обожжешься! Тиманова Евдокия Ивановна.

Замполит, он же парторг, товарищ Ковальчуков. Резко скрипит протезом, опираясь на костыль, тяжело, взад-вперед, ходит артельным двором. У артельщиков сумрачные, тяжелые взгляды. Без работы люди. Ведь кто не работает, тот не ест. Без работы еще можно, а вот без еды...

— Может, в райком обратиться? — советуюсь с Ковальчуковым.

— Напрасно. Обращался и не раз. Там более важными делами заняты. Не завод мы, не фабрика. Артель, — устало ответил Ковальчуков и зло скрипнул протезом.

Более важными?

Я направился в райком партии, твердя эти два слова: «более важными».

— Кто вы? — спросила секретарша в приемной и, глянув на меня, сбавила тон. — Как доложить о вас?

Смекнул я, не пустит. Народу в приемной куча. Оправил я гимнастерку под ремень, планшет, словно пистолет, поправил, дунул на орденские планки — будто запылились они. Фуражку — в левую руку к груди. Полная официальность. Офицер, только без погон.

— Лейтенант, — говорю, — из Особого... — Секретарша, вздохнув, глянула на меня и пошла докладывать. Приняли. Вхожу в кабинет и от дверей в атаку:

— Кто не работает, тот не ест! — говорю.

— Что, что?

Секретарь, дородный мужчина, на груди колодка орденов в ладонь шириной. Не иначе, генерал по ранению или болезни уволенный. Солнце из окна в глаза мне, слепит, лица секретаря не разберу. Повторяю:

— Лозунг у нас такой есть. Кто не работает, тот не ест...

— Правильно, — говорит секретарь. — Есть. А вы что? Не работаете?

— Не я один. Двести душ только в одном подразделении...

— В каком «подразделении»?

— В нашем, в «Красном швейнике»!

— Ах, вот в чем дело! — хохотнул дородный, «не иначе, генерал», опустился в кресло. — Рассказывайте.

И тут он попал в тень, стал ясно виден, и я узнал... Перетягу.

...Я не скупился на краски. Обрисовал.

— Добро. Мы тут обговорим кое с кем, — и протягивает мне руку. Дает понять, что разговор окончен. Иду к двери, Перетяга останавливает:

— А при чем тут Особый?

— По военной привычке, — говорю. — Ведь бригада-то у нас Особая, прорыва?

Дали артели, для передыха, заказ из давальческого сырья. Матрасы ватные трудовым резервам шить. Пришлось мне на своих плечах перевешивать кипы мебельной ваты, раз в десять она тяжелее сорта «Люкс».

Матрасы поставили на ноги «красных швейников», но не надолго. Вот-вот заказ кончится, и снова артель — клади зубы на полку.

Опять же несчастье помогло. Загорелись пакгаузы с большой партией мануфактуры в порту. Обгорелые тюки — артелям роздали. Львиную долю — «Красному швейнику». Опять Перетяга помог.

Сушили, чистили, гладили и пускали в раскрой. Пошел ходовой товар — ватные телогрейки, брюки. И опять инвалиды, кто без ног, словно на ногах. Радуюсь.

Тиманова сложа руки не сидела. Не только поисками мануфактуры занималась. Соседняя артель «Дружба» открыла на базарах мясные киоски. Заготовители скупают в глубинках скотину, бьют и по среднерыночным ценам сбывают городу.

— Чем «Красный швейник» хуже «Дружбы»? — спросила на правлении Тиманова. — Займемся и мы торговлей.

И завертелось колесо, хотя и не швейных машин.

Моя задача — подвозить убоину в киоски. Это оказалось легче, чем погрузка матрасов и горелых тюков. Мясники сами грузили, разделывали туши, сами же и продавали. Потекла выручка в кассу артели.

Тимонова вроде бы и хромать перестала вовсе. Парторг Ковальчуков, хотя и на одной ноге, почувствовал себя на обеих.

— Тебе, — предложил мне Ковальчуков, — пора в в кандидаты партии вступать. Засиделся в комсомоле. Работник ты отличный. Всю душу вкладываешь в производство, черной работы не гнушаешься. Фронтовик и прочее. А нам надо о росте заботу иметь. Война кончилась, инвалидов прибавляться не должно...

Подаю заявление. На бюро теряюсь, глядя на членов. Пришли они все в военном, кто в гимнастерке, кто в кителе. Орденов и медалей у каждого гуще, чем звезд на небе. Словно я не в гражданке, а снова в нашей танковой бригаде.

На партийном собрании еще больше на фронтовую окруженность походило. Сколько боевых товарищей! Ну, думаю, недаром я спину под тяжеленные грузы подставлял, таким хорошим людям работу добывал. И Тиманова с парторгом Ковальчуковым не зря стараются. Доброе дело люди делают, пусть и невидное поначалу. А вдумаешься и поймешь — куда покалеченным войной деваться? Для них и артели организованы.

На бюро райкома шел и храбрился... Как не принять? В комсомоле с тридцать восьмого, из рабочих, инвалид Отечественной, награжден. И сейчас на переднем крае фронта восстановления народного хозяйства.

В райкоме партии народ мне все больше мало знакомый, строгий. По орденам судя, фронтовиков бывших тоже достаточно. Но что-то уж больно они не такие, словно все из аккуратно-уставной пехоты. Ёкало мое сердчишко, но крепился я. Волноваться боюсь, как бы контузия не сказалась. Надеюсь на секретаря товарища Перетягу — бывшего командира наших самоходов, не улыбается старик и вроде бы не признает меня. Будто мы с ним не прошли до Берлина и обратно. Онто и резанул первым же вопросом:

— Почему на фронте в партию не вступили?

— Мне казалось, что я коммунист и с комсомольским билетом...

— Еще вопросы есть? — спросил Перетяга. Члены бюро молчали. Секретарь подождал малость и опять сам задал вопрос:

— Почему вы назвались офицером Особого отдела?

Я смотрел на Перетягу и не мог понять, к чему это

он пустяками на бюро райкома занимается. Уже спрашивал об этом, и я ему пояснил. Хочет, чтобы всему бюро ответил? Неужели это так важно? Я же для людей старался, для инвалидов войны, вчерашних воинов. Помог Перетяга и спасибо. Зачем же сейчас-то об этом говорить?

— Забыли? Вспомните свой первый визит в райком. Как вели себя?

— Отлично помню, товарищ гвардии майор, то бишь, товарищ секретарь, извините. Все помню!

На «все» я особо поднажал.

Да, в первый свой визит я поверил, что вы стали добрее к людям. Тогда вы мне ничего не сказали, а могли. И о поведении и обо всем прочем. Приберегли для сегодняшнего дня? Сегодня можно уколоть больнее? Не один на один, а перед лицом бюро? Смотрите, мол, какой я принципиальный?

Не вы решаете судьбу, а бюро. Разве члены его не понимают меня, ведь они вчерашние фронтовики?

Не знал, не ведал я тогда, что слово Перетяги — слово бюро. А Перетяга во лжи меня обвинил, дескать, я партию обманул. Секретарша в приемной — разве партия?

Слушаю решение и не верю, что это обо мне. Как можно? Воздержаться. Пытаюсь что-то сказать и не могу. Понимаю — контузия взяла верх — лишила дара речи. И — вовремя.

— Двери в партию мы для вас не закрываем. Поработайте. Покажите себя достойным коммуниста. И мы вернемся к этому вопросу.

Прошел с полквартала от райкома, успокоился вроде. Слышу, протез скрипит. Ковальчуков нагоняет, утешает.

— Ты это — держись. Того, без глупостей. Глядеть на тебя страшно. Убьешь кого или себя кончишь. Правду говорю. У меня командир вот с эдаким выражением после парткомиссии пулю в висок пустил. Погорячился.

— Ничего, переживем...— отвечаю.

— И говоришь-то как-то страшенно, будто тебе на все теперь начхать...

— Ты, оказывается, психолог, Ковальчуков. А в защиту — ни слова. Выходит, партийное собрание трынтрава для Перетяги.

— Партию обманывать не надо, товарищ.

— И ты туда же? Партию... — я свернул в переулок и прибавил шагу. От хромого уйти не трудно, если хочешь.

Я шел к Волге. Хорошо, что Ковальчуков не видит, спустился к самой воде, сел на полузатонувшую лодку, опустил руки в воду и как бы со стороны трезво посмотрел на себя.

Ковальчуков — парторг. Ему бы тогда в райком идти, а он: «Райком более важными делами занят, не до нас там». Это как понимать? Не до людей, что ли?

* * *

Эх, Перетяга...

Калейдоскоп. Жизнь, порезанная на куски и брошенная в трубу памяти, глянул в нее, душевный толчок заставил, — и засветились они кинолентой...

Волга рядом плещется, то грозно: волна набежит— катер прошел, то ласково — сама по себе. Словно аккомпанемент к кадрам, которые смотришь.

... Лес. Т-34. Члены партбюро батальона на броне.

— Рассказывайте, товарищ Скалов! — голос замполита Пименова.

— Да вроде бы все сказал. Могу повторить. В Самаре родился в голодный год, двадцать первый, значит. Подбросили меня родители. В детдоме школу жизни начинал. Не знаю — молдаванин я или цыганин, знаю одно: русский, советский...

— Это мы знаем. Ты ответь, почему в комсомол не вступал? В гражданке почему комсомол избегал?

— Вот уж я не знаю, — и вроде бы оправился от растерянности: — Бегал я из детдомов. В колонии, исправительной, был. И после этого в комсомол? Какой-то неудобняк, товарищи. А так я, ну, когда за ум взялся, в мореходке учился, всегда был заодно с комсомолией и партией. А что без членского билета, горевал мало. Не всем же иметь членские книжки. Перво-наперво, чтобы сердцем был согласный. Так мозговал, так и получилось.

— Ну, а сейчас как же?

— Вне партии, считаю самолично, быть мне нельзя. Вроде бы не в полный рост стою, не во всю силу живу.

— Голосуем. Кто «за» — прошу поднять руки. — Замполит принялся считать.

Лес гвардейских натруженных рук. Сергей соскочил с брони, раскрасневшийся, с глазами, посветленными лачком. Я кинулся к нему:

— Какими ветрами!

— Поздравляю, — говорю я. — Поздравляю, дружище! Я тоже думаю, Серега, подать заявление. Для комсомола я уже старик...

— Тоже мине дид сыскался. — Это Иван Подниминоги. Сграбастал своими ручищами. — Двадцать рокив дитю, а он. — Иван смеется. — Тебе рекомендации пока не дам. Жидковат. Ну, ну, не серчай. Пошутковать нельзя.

...Может, и сейчас я еще жидковат?

На другой же день я уволился из артели.

* * *

Громыхнуло что-то и со страшным скрежетом — железо о железо — забороздило. Не успев открыть глаза, я вскочил на ноги, при этом стукнулся о койку верхнего яруса, голову в плечи втянул и зажмурился, словно испугался: из глаз искры посыпятся.

«Трах! — и-и-и фьють!» — «сорокапяткой» ударило прямо над головой. Видения прошлого, что кинокадрами мелькали во сне, словно шваброй смыло. Глаза-то я открыл, но оглядеться не успел — холодным, тяжелым накрыло, пригнуло к полу. Хочу встать и не могу. В глазах — резь и во рту — горечь: морская вода, догадываюсь. Откуда она? Что происходит на теплоходе?

Протираю глаза согнутой в локте правой рукой и отмахиваюсь вверх ладонью, словно от невидимого нападающего. Не тут-то было, от воды не отмахнешься, море хлещет вовсю. Я на четвереньках в сторону, вбок, рывком вскакиваю на ноги. И сразу — тише, совсем тихо. Подо мной воды уже нет, одна мокрота осталась.

— Тонем!

— Спасайсь!

— Ой, мамынька рóдная...

Светильники погашены, плафоны их, как бельма на потолке. Полумрак разжижен блеклым светом дня, который постепенно переходит в темень, густеет будто. Но вот темнота сменяется полумраком, переходит в полусвет...

Я начинаю осмысливать действительность. Теплоход, медленно кренясь на правый борт, зарывается носом,

иллюминаторы, через которые проникает свет, оказываются заволоченными морем, но вот нос пошел вверх, с креном на левый борт, корма стала зарываться... Киле-бортовая качка. Выходит, мы не тонем, идем по курсу, сквозь шторм идем.

— Спасайся! — Опять с грохотом водопада врывается в трюм море. Волны страха кидают людей от борта к борту и по палубе бросают в лежку, некоторые пытаются плыть — в смысле бежать на четвереньках. Вода прихватила все, что можно: мужские штиблеты всевозможных фасонов, дамские туфли-лодочки и не лодочки, тапочки и прочие небрежно брошенные вещи, рундуки, баульчики и целые стаи окурков — гоняет вода взад-вперед и в стороны, перекатываясь, словно в гигантском плотницком уровне.

Вижу открытый иллюминатор. Это из него меня окатило — соображаю. Круглое око его опускается, стенка борта ложится пологим откосом, вот она вздрогнула — и постепенно откос начинает прямиться, пошло судно вверх. Сейчас ударит в иллюминатор гребень очередной волны и в трюм опять хлынет. Надо успеть закрыть зловещее око в полметра диаметром, завернуть винты с барашками на стеклянной крышке. Кому-то, видать, душно показалось ночью, вот он и открыл иллюминатор просвежиться. А закрывать Яшка Шамардин будет, вот и плавай на карачках в соленом бассейне.

«Трах! — и-и-и...» — выстрелом «сорокапятки» хлопнула крышка иллюминатора. Море опять ворвалось в трюм, хлынуло, словно в открытый кингстон.

— Ай!

— Мамынька...— истошные крики прорезываются сквозь грохот. В проходах между ярусами коек — словно в створе горной мелководной речушки, что из ущелья вырвалась вдруг на простор.

Бросаюсь к иллюминатору, пытаюсь закрыть его. Борт, словно под тяжестью моего тела, начинает опускаться — теплоход кренится в очередной провал, может быть, девятого вала. С минуты на минуту его гребень сотрясет судно.

Надо успеть, опередить... Какому дьяволу влетело в голову просвежиться, гулял бы на верхнюю палубу. Побоялся, видать. Морю в лицо посмотреть побоялся? Ну и черт с тобой, дьявол. Но почему не закрыл? Привык дома спать с открытыми окнами?

Закручиваю винты, грудью лежу на стеклянной выпуклой крышке, иллюминатор подо мной, так велик крен. Но вот стенка стала подниматься, откос становится все круче. Вот-вот ударит волна. На этот раз я, кажется, успеваю. Бей — налетай. Не страшно! Удар. Я торжествую. Успел. Победил, но... слышу, как хлещет вода рядом через пролет коек. Значит, не один иллюминатор открыт? А сколько же? Один, два, три. А может, не одна дюжина олухов среди этих вербованных?

Кидаюсь через верх коечного пролета. Там уже возится кто-то из камчадалов-возвращенцев или пахарей моря. Новички же — искатели счастья — на верхних койках в центре отсека, подальше от бортов. Страх загнал их на железные ярусы под самые бельма-плафоны, словно ястреб кур на насест.

Узнаю вчерашнего при погонах волгаря, что говорил девчушке, обнимая ее, нам, мол, все нипочем. Вот тебе и «нипочем», шут ты гороховый, лягушатник. И девчушка тут же, глаза — пара двугривенных! — кутается в мокрое одеяло, пытаясь спрятать наготу, да не выходит: коленки спрячет, грудь наружу, не говоря о другом. Тоже, видать, жарко было...

И только тут замечаю — сам-то я в одном исподнем, да все вокруг — в чем мать родила, а распашонки нянечки еще не успели, как положено, натянуть, поправить. Облепились люди кто простыней, кто чем. До костей промокли. От страха — не от холода же — зубами чечетят, и никакой музыки не требуется.

Содрогаюсь от беззвучного смеха, аж в животе колики. А руки саднит. Слизываю — солено, кровь. Ободрал барашками на винтах иллюминатора. Не чуял в горячке-то.

Одеваюсь, сидя на койке, посматриваю на девчушку в тоге из одеяла. Она, наверняка она, кричала: «мамынька, ро́дная!» Что ж, бывает. Помню себя первый раз в море... Бетонный мол, за ним маяк — словно растворились, и привычная линия горизонта стала окружностью. Холодок подступал к сердцу — и на земле я и без земли. Знаю, земля под ногами, но не видна она, неощутима. Когда земля хоть чуточку видна, тревоги вроде б никакой. А так грозным кажется каждый малый вал, пустяковая рябь, а ветер из-под тучи — ураганом. Строже становишься, сильнее, готовый постоять за себя. Замутится даль, облака низко нависнут, ломаная

молния вклинится в небо, ударит свысока в море — дрогнет сердце, но рука становится тверже, глаз острей. Кто на море не бывал, тот и горя не видал. Колотись, бейся и все же надежду не теряй, даже самую малую. Кто тонет, тот и за соломинку хватается. Верилось: наверняка придем к намеченной цели, сначала покажется маяк, за ним мол и пирс. Но все же тревога хмурит человека, когда находишься и на земле и без земли...

А где же Скалов? Куда подевался старик? Еще не совсем проснувшись, услышал я скрежет железа о железо, лязг. И сейчас еще бороздило наверху. Не волна же так гигантскими щупальцами раздирает палубу. Тракторы там, сельхозмашины. Груз особого назначения. Не его ли сорвало и гоняет с борта на борт, наперекосяк и вдоль? Прислушиваюсь. Точно. Словно Илья-пророк прокатился на своей колеснице, заскользил, заскрежетал, видать, в сторону заносит. Стоп. Тихо. Только вода да ветер слышны. А вот опять забороздило, но где-то уже вдалеке. Догадываюсь — груз сорвало с талей.

Не выдержали? Или сплошали матросы, небрежно занайтовали? Если так, то на палубе сущий ад. Танковый бой, когда машины на таран идут, сбивая друг друга, опрокидывая.

Скалов, наверное, там. Ну, конечно же, где ему быть. На койке его кителя с капитанскими шевронами нет. Оделся, видно, как по тревоге. Но зачем он там? Он же не капитан «Севера», а простой пассажир, как и все.

Но там авария, и Скалов ее ликвидирует? Но почему Скалов? Есть вахта, мало ее,— всю команду поднимут. Аврал и все такое. Скалов не при чем. Он же толковал мне, что время эмоций кончилось. Расчет, житейская мудрость, трезвый ум — вот нынешнее кредо. Геройствовать всю жизнь — мартышкин труд. Какой же расчет у Сереги, какая такая мудрость, трезвый ум? Подумал было я так, в этаком ключе, и словно услышал голос Скалова:

«Сильнее всего мне хочется попасть в шторм!» — Вот он — Скалов, характер его, танковый характер.

А если тревога вдруг —
Забудь про десантный люк.
Это нельзя не уметь —
Прорваться или сгореть.

Наверное, вопреки суждениям-убеждениям, исподволь живет и другое, и когда нужно — к черту рассудок! — проявляется. Может, такое не только в Скалове? Что тебя бросило сквозь волну к иллюминатору? Руки изодрал в кровь. Зачем? Отошел бы в сторонку, переждал, спасателей крикнул...

А за тобой к иллюминаторам кинулись ребята, двое, трое, а может, дюжина. Но надо кому-то быть первым. Да, да. Первым!

Теперь я не сомневался: Скалов на верхней палубе. И я должен быть там. Пробираюсь к трапу, что ведет на верхнюю палубу. Теплоход то вправо вниз уходит, то влево вверх. Не устоять. Хватаюсь за койки, стукаюсь лбом.

«Есть,— думаю,— шишка. Бог троицу любит, значит, еще разок врезаться не беда».

Вот и трап. На ступенях его — людской клубок-пробка. Узнаю сбившихся здесь камчадалов-возвращенцев, пахарей моря и того, в погонах, хвастуна. Вход задраен — у люка вахтенный. Наверх никого не пускают. Мат-перемат бывалых людей матрос будто бы и не слышит.

— Обойдемся, товарищи,— успокаивает он пассажиров.— Без паники. Нервишки занайтуйте! Ну, в руки возьмите, кому не понятно?

Стук в задраенную железную дверь. Вахтенный — к ней. Клубок-пробка людей на трапе притихает. Матрос открыл, отвинтив два болта внизу и вверху двери. Втиснулся человек в глянцевом от воды дождевике с капюшоном на голове, в руке — мегафон. В приоткрытую дверь ворвался грозный гул океана, дохнуло резким холодом, словно на воле мороз и снег.

Человек сбросил капюшон. Стряхнул мокрядь с усов и заговорил спокойно, басовито:

— Не паникуйте, товарищи. Ничего страшного не случилось. Налетел шквал. Сорвало трактор. Авария ликвидирована. Кто может, помогите в откачке воды из пассажирского трюма,— и повернулся к люку, приказал: — Подать забирные рукава!

Принимая и передавая рукав, я скользнул в щель и выскочил на палубу. Я обомлел... Надстройки, спардек, грузовые стрелы — белы, аж глаза слепят. Не сразу понимаешь, что это снег, который на ветру превращается в ледовую корку, обволакивая весь теплоход.

— Ты зачем? — меня держали за плечо.— Марш вниз! — Я узнал голос Скалова, оглянулся и не сдержал улыбки:

— Время пафоса и для меня не прошло!

— К черту. Все уже кончено. Груз занайтован. Вот руку придавило, черт,— он пощупал локоть.— Да ничего, уже отошло. Вниз, вниз, в такой одежонке живо лихоманку схватишь,— смотрит на меня, я в кожаной куртке на молниях, а сам он в одном кителе...

— Справа по курсу мина! — прорвался радиоголос сквозь грохот волн и шквал ветра.

Мина? Откуда она? Ведь не год и не два, как закончилась война? Цедили, процеживали тральщики моря и океаны и вот, нате вам!

— Стоп машина. Задний ход. Самый полный!

Только разве отвернешь? И не уйдешь. Да еще на такой волне. По курсу справа на линии горизонта теперь уже не только перед глазами впередсмотрящего, а у всех, кто был на верхней палубе, прыгал на волнах черного цвета шар, то пропадет, то покажется. Видны его колпаки-рога, словно бодливая коза помахивает черным лбом, намереваясь боднуть корабль. Все ближе и ближе выносится на очередном гребне мина — теперь это уже не коза, а сам дьявол грозится. Машины застопорили, но теплоход силой инерции еще идет вперед. Жизнь и смерть неминуемо сближаются. И каждый на борту понимает: пока винты наберут силу заднего хода, игра в кошки и мышки со смертью закончится. Все отчетливей острые свинцовые рожки — взрыватели мины. Один-единственный удар — и теплоход споткнется, зароется носом в волны и, черпая пробоиной море, пойдет на дно.

Но еще раньше взрыв расшвыряет людей на палубе, сбросит за борт, а те, кто в носовом пассажирском трюме и в кормовом... Что будет с ними? Что-то сейчас поделывает искатель счастья при погонах и его девчушка? Он-то, наверное, все еще рвется на верхнюю палубу, а она сидит молодкой на нашесте, кутаясь в одеяло. Или уже опомнилась и оделась по-настоящему? Но все равно, наверное, пусть не вслух, а мысленно зовет свою «мамыньку ро́дную»...

А может, не затонет наш «Север»? Носовой отсек отделен от остальных водонепроницаемой перегородкой. Вода заполнит его, но машинное отделение в среднем

отсеке сможет работать, и сам теплоход, возможно, останется на плаву. А корма? Корма поднимется, оголятся винты, как ни крути-верти их, воздух не то что вода. Стоять теплоходу на месте. А штормовой ветер? А волны? Куда занесет аварийное судно? Бросят на подводные скалы? Конечно, если вовремя примут сигнал бедствия и выйдут спасатели — какая-то надежда на удачу есть.

Капитан, наверное, уже бросил в эфир сигнал, который дятлом стучит в моем мозгу: точка... точка... точка... тире... тире... точка... точка... точка... Может, поблизости находятся в море суда, они примут сигнал и поспешат к «Северу»? Конечно же, международный закон мореходов — железный! Они придут, придут! Не все еще потеряно. Только надо побыстрее убраться с верхней палубы, и не к себе, в носовой трюм, а в кормовой. Там больше шансов выжить. Выжить, а это главное. Гибнуть бессмысленно, глупо. Глупо, черт возьми.

«Скалов, Сергей, давай, брат, в трюм» — хочу крикнуть я другу, хватаю его за рукав кителя с капитанскими шевронами. Серега поворачивается ко мне, я вижу его глаза. В них недоумение, чего, мол, ты? Случилось что?

«Нет, ничего, все в порядке, как в танковых частях»,— отвечаю ему тоже глазами. Я знал, по фронту знаю, командир орудия гвардии старший сержант понял меня.

— Обождь,— говорит он мне, вырывает руку и кидается на полубак, я — за ним. На полубаке матрос с винтовкой. Вот он вскинул ее, ловит на мушку рогатого бодливого козла — нашу погибель. Выстрел. Чиркнуло огоньком на стальном шаре. Рога накренились, козел, невредимый, шел на таран.

Глава пятая

Думал я, что после победы вернусь на завод, металлургом стану. Инвалидность встала помехой. Решил я попытаться овладеть словом, как оружием. Ведь писал же я стихи, в газетах печатался. Пусть я не литератор, но и танкистом я не был когда-то. Наступила пора действовать.

— Вперед! — приказал я, гвардии лейтенант, себе гражданскому.

Собрал стихи, что на фронте сложились, и те, которые после. Направил их в институт. И как-то весело мне стало, словно пробирался я терновником и вышел в чистое поле.

Прорвал первую линию — творческий конкурс выдержал. Еду в Москву держать экзамен. В диктанте по русскому две ошибки сделал. Вместо «ситуация» — «сетуация» написал. Думал, что слово-то от русского глагола «сетовать». А тут иностранное слово. А иностранные я страсть как не люблю.

Болванкой в борт ударил немецкий язык. Чего греха таить — немецкий я и в школе, словно хину глотал. Арийско-бюргерски-плебейский язык. Где мне было знать, как звучит по-немецки Гёте?

Не пылит дорога,
Не дрожат кусты.
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Отлично. Но это же по-русски! Лермонтов! А Лермонтову я подражал:

Цокают копыта,
Мчимся мы с тобой
Мостовой разбитой,
Трудной, но прямой.
Стежки и дорожки
Где-то позади,
Погоди немножко,
С годик подожди...

Я говаривал на фронте на какой-то смеси польсконемецкого. Поляки и немцы — разумели. А вот экзаменатор ничего не понял, не поняли меня и другие представители великих наций — англичанка и француженка. Согласно, коалиционно, поставили «двойку». Включаю задний и отхожу, как после неудачной атаки.

Вышел. И только тут почувствовал, что взмок, это в жар меня бросило, по желобку спины холодные горошины, накапливаясь, скатываются. Последняя надежда рухнула, сорвалась попытка на верный путь встать. Снова не то, ищи еще что-то, а где и как?

Задумался я над этими вечными вопросами: «быть или не быть» и «кем быть?». Так задумался, едучи в электричке на квартиру, что проехал свою остановку, до Апрелевки проскочил, пролетов на пять дальше.

Спрыгнул с подножки на твердую платформу и пришел в себя, как говорится, собрался с мыслями и решил податься в Алабино. Еще до экзаменов думал побывать там.

Иду березняком. Любуюсь белоствольем уже начинающего рыжеть леса. Рановато что-то, отмечаю про себя, а может, морозцем на заре прихватило? Березовые сорочки не подвяли, а опалились будто. И я, наверное, неудачей вот так же подпаленным с лица кажусь, не в зеркале вижу себя, а чувствую. К черту!

Здесь, где-то здесь то самое место... Между берез мелькнула фигура в белом кителе. Моряк. Шевроны на рукавах поблескивают. Не торопится человек, чуть прихрамывает на правую. Мало ли здесь ходят,— отгоняю мысль о хромоте, вспомнив о подмосковном ранении Сергея Скалова.

Не люблю, когда перед глазами мельтешат. Надо обогнать хромоногого, думаю, и набавляю шагу. Наедине с самим собой побыть. Одному все обдумать. Не мешало бы, конечно, и с другом поговорить, но где они, друзья-однополчане?

Вот и окопы. Бруствер сполз. Канавка. Но для меня это исходная атаки в том памятном году. Блиндаж, а за ним поле, за полем — лес, туда наши танки рванулись, а потом... Потом — бой...

Я обгоняю человека в белом и спотыкаюсь о пенек. Под ноги-то не смотрю. Всей душой-памятью в сорок первом году. Белая фигура ловко подхватывает меня под мышку. Смотрю на человека и замираю...

— Сергей?

Мы забрались на крышу блиндажа, густо поросшую цветным разнотравьем. Скалов раскрыл свой чемоданчик. Богатство-то какое! Фляжка в зеленом выцветшем чехле с алюминиевой крышкой-чаркой. Круг колбасы, хлеб и соленые огурцы.

— Сережка!..

Мы обнимаемся еще раз и мочим друг другу спины... гвардейскими слезами. Молчим и глупо улыбаемся. И ладно. Сергей отрывается, хлопает меня по плечу и уже смеется.

— Кто это, командир, всегда приходит на место своего...— он замялся, подыскивая слово. Засмеялся и я.

— Преступники, Серега, всегда приходят на место своего преступления!

— Выходит, не одни преступники!

— А я, понимаешь,— продолжает Скалов,— чуял, что кого-то встречу. Вот и это прихватил,— он показывает кружку, тоже алюминиевую, фронтовую.— Не из одной же встречу праздновать.

Мы пьем за то, что встретились, что ходим по земле. Поднимаем чарки за товарищей Стрельцова, Подниминоги и, конечно, за Зорьку.

Я рассказываю, что со мной и как было. Ведь истинные друзья почти никогда не переписываются, так уж повелось. Сергей слушал, не перебивал. Изредка его цыганские глаза темнели. Брови сбугривались у продольной во весь лоб складки, которой раньше не было. Послефронтовая, видать. Хмурился Сергей недолго, улыбнется — и опять же глаза его, словно лачком покрыты,— весело поблескивают.

— Все выложил? — спросил меня Скалов, когда я замолчал и потянулся к его пачке «Беломора».

— Как на духу, Серега. Ну, а что на экзаменах срезался, ты знаешь. Обидно.— Я мну Серегину пачку папирос, она оказалась пустой, выкурил ее Скалов, пока слушал меня. Вон и окурков целая гора. Сергей тряхнул флягой. Булькнуло. Налил. Выпили молча, не закусывая.

— Выходит, гвардии лейтенант, скользишь на мирных рельсах?

— Помнится, Серега, меня ты по званию без улыбки назвать не мог. Какой, мол, из тебя офицер, вчера еще мне, старшему сержанту, подчинялся?

— Привычка, Снежок. А теперь вот по-гражданскому привыкать надо. Человеческая привычка — сила!

— Философствуешь? А меня, помнится, ругал за философию? И, кажись, на этом самом месте?

Мы огляделись. Да. Здесь мы стояли на исходных в сорок первом. Командиры и водители ушли на рекогносцировку, а Скалов спросил:

— О чем думы?

— О любви, Серега.

— Ты уже того... любил?

— Да,— отвечал я, развивая мысль: — Если не знал любви и погибнешь, значит, ничего ты не знал...

— Брось, друг, философию. Я, правда, не такой грамотный, как ты. И то, что у меня любви не было — не страдаю. И ты выбрось ее из головы. Без лишнего ба-

гажа на войне легче. Загрустишь, задумаешься, позабудешь, где ты, тут тебя косая и прихватит...

— Помнишь разговор?

— Помню. И радистку, что спасли мы тогда, помню. Только встретиться с ней не довелось...

— Женат?

— Да как сказать...

Помолчали.

— Меняемся мы, меняемся. Философствуем,— вздохнул Скалов.— А в общем-то остаемся прежними. Сами себя не стыдимся судить, а это высший суд. Правда, не всегда и не сразу сам за собой углядишь. Потому и надо быть на людях. И почаще на самого себя смотреть со стороны. Сколько «должностев» переменил? А на войне была одна — воин. Не просто было на ней удержаться. За ошибки кровью расплачивались. А сейчас — все больше совестью. Если у кого она водица, долго в синяках ходить...

И опять я огляделся вокруг, как тогда в сорок первом. Врага не было видно, но мы знали, что он есть, и были собранными перед боем, как и в бою. Давно это было или совсем недавно? Я все еще в военной форме. Она сейчас в моде. Кто и не был на фронте, в гимнастерках да в кителях щеголяют. Сергей, правда, сменил одеяние танкиста на форменное — капитана рыболовного флота. Идет ему китель с золотыми шевронами на рукавах и фуражка с крабом. Вроде бы помолодел Сергей. Да что помолодел? Ведь ему каких-то тридцать лет. Когда-то считал я этот возраст старчески преклонным. Чудак! — говорю сейчас в свои почти четверть века. А ведь недавно думал, что мне смерть? Пожил я вдоволь, куда уж больше — целых двадцать лет! Как вспомнишь об этом, так мороз по коже. Я очень мало, страшно мало жил. Жизнь только начинается. Может быть, так будет казаться с каждым прожитым пятилетием? И старость не придет?

— Да, а что у тебя с женой? Как-то неопределенно, Серега, о женитьбе выразился. И радистку не встретил, и...

— И что?

— Да, ничего. Это ведь я о тебе писал, послушай:

Как завидит девушку-связиста
С аппаратом на бедре и — к ней!
Вроде б Любкин волос золотистый

Закрывает в полспины шинель.
С языка готовое сорваться:
«Здравствуй, Люба», — застревает вдруг.
Люба, да не та...
Пасую, братцы.
Показалось...
— Ты б крестился, друг! —
Шутит вольнодумная пехота:
— Ишь, любовничек нашелся!
Ишь... —
На броню влезаешь с неохотой:
— Трогай! —
в башню каблуком стучишь...

— С некоторых пор, помню, перестал ты искать радистку...

— Это с каких же? — удивился Скалов. — Ты тогда заметил? Иван, значит, тоже?

— Про Ивана не знаю. Ты так посмотрел на нее! И она, уезжая, все время оглядывалась.

— Может, она на отца, на Ивана, так смотрела?

— На отца особо. А вот на тебя... Значит, на Оксане женился?

— На ней, Оксе...

Сергей вздохнул. Потряс флягой — не булькает, а выпить, видать, охота, за счастье, или горе залить? Не поймешь что-то. Счастье-то всегда наружу, не спрячешь, а горе... к чему других огорчать, лучше скрыть.

— Давай, — говорю, — Серега, начистоту. Может, пользу извлеку. Ведь с женским полом как? Бывает, от одного слова, а навеки ссора. Вроде бы доброе слово, да не так молвил. А твоя Окся как? Жжется, словно крапива, или ежом колется?

Скалов, казалось, не замечал моего иронического тона, знал, что после, как моя «любимая» еще в войну вышла замуж, я не очень-то заглядываюсь на женщин, вот и фронтовую подругу просмотрел, а пуля-дура подстерегла. Не женат я еще и вроде бы женоненавистник.

Оказывается, Скалов, после первой операции, поехал отдыхать на юг. По пути — при охоте и пятьсот верст не крюк — завернул в Гречановку — родное, спаленное немцами село Ивана Подниминоги. Как там вдова с дочуркой поживают. Встретили Сергея, как самого дорогого гостя, будто ждали. А ему казалось, что и в личность-то его не помнят Марина с Оксаной. Виделись-то, считай, не виделись.

По дороге на Берлин остановились мы лапти пере-

плести, в смысле, гусеницу перебрать. Измочалились гусеницы, всю дорогу в атаках да на марше. Ремонтируемся на обочине, а мимо из плена наши едут. Исстрадавшись, не в силах они ждать организованной отправки. Кто посноровистей, выхлопотал документ, добыл транспорт и двинулся. Домой дорога всегда короче.

Пехота сдерживала шаг, тормозили авто и танки. Фронтовики выглядывали своих: земляков или родственников. Подниминоги все глаза проглядел. Курит цигарку за цигаркой. Один раз он уже разминулся со своими, опоздал...

Навстречу тройка рыжих, добротная немецкая повозка, правит черноволосая статная женщина, за ней сидит еще одна, девушка. Черные косички так и прыгают на груди. Пристяжные — на стороны, коренник — гоголем! Трус-потрус по булыжнику, выщербленному войной. Девушка помахала нам, а женщина кивнула только... Старшина вскочил, самокрутка выпала изо рта. Иван сиганул с брони на дорогу, схватил рыжих под уздцы. Затабанили те коваными копытами, дыбясь, встали. Женщина бросилась Ивану на шею. Так Подниминоги встретил своих Марину и дочку Оксану. Переобнимались мы, перецеловались, познакомились...

Всю ночь клепали гусеницы. Молчком, словно боялись голосами спугнуть Ивана с женкой, что отъехали подальше от дороги и под телегой на ночь устроились.

Утром — в разные стороны. Разве знал Иван, что не встретится больше с женой и дочкой. Остановил бы, наверное, тройку и... простился бы не так просто.

Пока не скрылась подвода, Оксана оглядывалась, и Скалов вдумчиво вздыхал. На него смотрела Оксана, на него...

И вот Сергей в Гречановке. Ежась от росы, взявшись за руки, бродят возле молодого перелеска Оксана с Сергеем. О чем задумалась она? О чем думает он? В зубах девушки полынок, она покусывает его, горький, а не морщится. Зорька уже заалела, вечереет, пора и до хаты. Но главное не сказано.

— Я люблю тебя, Оксана!

— Я знаю... Я ждала... с той встречи...

Мать обрадовалась. Вроде бы молода невеста. Да ведь в народе недаром говорят — невеста родится, когда жених на коня садится. Давно тоскует девушка,

давно. Ведь не всяк жених, что сватается. А женихов после войны — днем с огнем искать.

К тому времени Гречановка отстроилась заново. Марина — колхозный полевод — возвела себе хату-пятистенку, терем-теремок: живи, трудись и радуйся. Сыграли свадьбу. Уехал Сергей на курорт к морю женатым. У моря Оксане понравилось, казалось, она полюбила море. И только после выяснилось, что море для нее хорошо только с берега. Сергей и не думал осесть в гречановском тереме-теремочке. Кончился отпуск, и наказал Оксане собираться. Промолчала Окся, как ее теперь, вслед за тещей, звал Сергей. Но видно было: нет у нее особой охоты покидать материн кров, уезжать в неведомый край. В одном дальнем она уже побывала — в неметчине. Четыре годика без малого. Хватит. Милее дома родного ничего на свете нет.

Фашистская неволя с сорок первого. Правда, не в концлагерях, а бауерском хозяйстве. Видела Оксана тамошнюю жизнь, общалась с фрау и фрейлейнами. Невольно вникала в фамильные—семейные связи немцев. Своих-то на родине познать еще не успела девчоночьим умишком. Не поголовно же немцы — нацистское зверье, была у некоторых и человечность. Что-то от иноземного могло передаться подростку Оксане. В ее возрасте душа, словно губка воду, все в себя, а из себя как ни отжимай — пусть малая малость, но останется, в кровь войдет, характер изменит. Недаром народ говорит, с кем поведешься, от того и наберешься.

Может, Оксана в какой-то мере онемечилась? Любовь, верность, постоянство, преданность семье и мужу для нее трын-трава? И муж уже не глава семьи, как искони повелось на Руси?

Мать Оксаны — Марина — однолюбка, горой встала на сторону Сергея, мягко сказала, убедительно:

— Куда иголка, туда и нитка, доченька, кровинка Ивана! Поехала Оксана с Сергеем и затосковала. Занедужил капитан. Решился на вторую операцию. Оксана понадеялась — запретят мужу выход в море. Когда же Сергей оправился — просила, умоляла вернуться на Украину. Сергей вернулся... на свой сейнер. Ожесточилась Оксана, врачи-де ей сказали, безнадежен ваш, сляжет и не встанет, а ногу отнять придется, меняйте климат.

— Сиделкой хочешь сделать меня? Не выйдет! —

Когда же Сергею пришлось и на третью операцию ложиться, заявила:

— Вернешься здоровым, в море не пущу. Несогласный? Тогда: прости-прощай, уйду от тебя. Так и знай...

На том и расстались. Сергей возвращался, и не один, меня прихватил. Пойдем, говорил, ко мне на сейнер радистом. Деньжат подзаработаешь, немецкий подучишь. Окся на немецком лопочет, дай бог. Поднатаскает.

Запасся я учебниками, тетрадями, поклонился институту — до встречи на будущий год! — и в дорогу.

Сергей в поездке говорил обо всем, но только не о жене. Поднялись на борт во Владивостоке, дохнул моря мой капитан и замолчал, задумался. Теперь я понял, о чем. Предстояло выбирать «или—или», море, жена ли. Сергей, конечно, уже выбрал и все же переживал, как встретит не Камчатка-любушка, а жена-голубушка...

До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага...

Правильная песня. И на фронте и сейчас. Вот она мина-то — рядом, боднет в борт, и все сомнения разрешит разом...

Сергей подошел к матросу-стрелку, тот приложился снова. Видно, как подрагивают пальцы на цевье винтовки и шейке приклада. Выстрел. Казалось, и океан ахнул, обескураженный неудачей стрелка и всего мира, населяющего «Север».

Стрелок передернул затвор, а Скалов склонился над жестянкой с патронами у ног матроса, взял пригоршню, потряс на ладони. Глаза Сереги сверкнули. Он быстро поднялся, шагнул к стрелку, вплотную встал и тихо, убедительно:

— Мартышкин труд. Дай-кось! — и отобрал винтовку. — Мы ее, гадюку, бронебойкой, — и вставил в еще незакрытый затвор патрон с черным пояском на пуле. Закрыл затвор. Прицелился.

Я вспомнил, как снайперски бил Скалов из своего орудия по танкам и всяким иным целям. Не промахивался старик и сейчас не промахнется. Я верил в Скалова, а Скалов верил в себя. Конечно, он целит в один из колпаков-взрывателей, но имеет надежду, что бронебойная пробьет корпус мины, под каким только углом ударит, ведь мина-то круглая, черт возьми.

Мина с очередным гребнем нырнула в провал, вот-вот она снова появится. Скалов начеку, промаха не должно быть. Я перебрал всю патронную жестянку, у меня на ладони простые патроны, я перерыл всю коробку. Бронебойных нет. Единственный — у Скалова. Единственный. Один шанс из ста, один.

«Разрыв средней величины мины в десяти метрах от цели приводит корабль к гибели, а в двадцати метрах от борта лишает управляемости», — вспомнил я слова когда-то изучаемого наставления. То глубинная, противолодочная... А это какая? И сколько метров до нее?

Качнулся теплоход с носа на левый борт, пошел с волны, а на следующей, на гребне, вот она — рукой подать — черная, рогатая, в хлопьях пены. Серега нажал на спуск и тотчас, словно отдачей приклада, толкнуло в борт теплоход. Скалов и ствола опустить не успел: взрыв, в громе которого на какое-то мгновение онемел океан, и бьющие с пушечной силой в борты свинцово тяжелые валы, остановясь, замерли. Столб воды и огня, взлетевший до низко нависшего штурмового неба, рухнул вниз, и океан опять ожил...

— Стоп машинам! Малый вперед...

Полный ход наш «Север» набрать не успел: поступил новый сигнал — справа по борту — шхуна! И радист принял сигнал бедствия: точка... точка... точка... тире... тире... точка... точка... точка. Менять курс не пришлось, терпящую бедствие шхуну несло прямо под наш борт. Корма ее уже затонула, на воде виднелся только нос...

В то утро Скалова разбудило предчувствие, проснулся он, словно от какого-то толчка. Огляделся — пассажиры безмятежно спали, даже дежурное освещение кто-то погасил. Свежо в отсеке. Иллюминатор, наверное, открывали ночью — подумалось Сергею и забылось. Он поднялся, оделся, заметил, что лихого парня при погонах нет на своей койке, и тут же увидел двоих на девичьей. «Перебрался сосед. Перегородка-то в аршин. Мы, бывало, через забор махали!» — думая так, Скалов направился к трапу, поднялся наверх, на полубак, где стояли мы с ним вечером.

Первый луч солнца едва пробивался сквозь гребни

волн на далеком горизонте, он слабо мерцал, словно светофором передавал сигнал бедствия три точки, два тире, три точки. Снова и снова читал этот сигнал Сергей, и на душе становилось тоскливо и печально. Предчувствие, что разбудило его, оправдывалось. С рассветом ветер посвежел резко и быстро. Кипень моря бурлила, покрываясь пеной. Все выше вскидывались гривы волн. Тучи заволокли все небо и своей тяжестью прижимали солнце, не давая ему подняться. Последний луч его мелькнул и, словно умер, погас. Стало пустынно и серым-серо.

Такое солнце, умирающее в облаках на щетинистом от гребней валов горизонте, Скалов уже видел однажды, но не на рассвете, а на закате. Тогда ураганный ветер погнал его сейнер в страшную круговерть. Только чудом удалось им уйти от зарождающегося «тайфуна» — черной смерти.

Что-то сейчас принесет людям невеселый рассвет? Шторма еще не было, но все предвещало его начало. Море ухало в борта фугасными разрывами. Волны добрались до палубы, ручьями растекались под тракторами и сельхозмашинами, соленые брызги реденьким туманом распылялись на полубаке, холодили Сергея, он повернулся на север и почувствовал в лицо ледяное дыхание, поднял глаза выше и содрогнулся. Прямо на теплоход шла белая, от моря до неба, непроницаемая стена.

— Снежная буря! — крикнул Скалов, а слышалось: «белая смерть!». С быстротой ветра снег облепил теплоход и словно поглотил его. Темень — и своей пипки носа не увидишь, и круговерть — на ногах не устоять. Скалов пристегнулся ремнем к тросу у лебедки и спрятался за нее, но неподветренной стороны не было. Казалось, смерч вытанцовывал вокруг и всюду маленькими и большими столбами-воронками, свертывающимися воедино.

Сколько времени бушевала «белая смерть», Скалов не пытался определить, он думал об одном, чтобы его не оторвало и не сбросило за борт. К гулу снежного урагана и грозной канонаде волн добавился скрежет железа о железо. Это сорвало занайтованный груз на палубе. Тяжелые гусеничные тракторы словно ожили. И не спасти бы их, они могли все разнести на своем пути и рухнуть за борт, но ураган внезапно оторвался

от теплохода и улетел дальше на юг. Провожать его даже взглядом было некогда. Сергей кинулся помогать судовой команде, вызванной на палубу по аварийной тревоге...

С затонувшей шхуны сняли троих. Назвались рыбаками, русские. Замполит — как я узнал позднее — усомнился в документах «рыбаков» и радировал куда следует, получил указание — и «рыбаков» посадили под стражу. Значит, могли и за борт броситься? Что за «ястребы»?

В этот рейс море злым волшебником навалилось, словно знало, что на борту «Севера» так много новичков.

Тяжелые, соленые, кипящие, крутые, студеные, словно лед, восьмые сутки кряду громадились волны. То словно на дыбы поднимут, кажется, что сердце из груди вытягивают, а то на борт положат — мурашки по всему телу забегают. Будто неистовствует океан, злобится, что теплоход, как люлька, подвешен к мачтам крепко, не сорвешь. Одну волну протаранил, на другой взлетел, словно щепка, носом под небо, а вот в провал пошел — винты вхолостую работают, судорога сотрясает всю махину.

— Шалит Тихий! — шутят матросы, подбадривая пассажиров. А пассажиры, бледные с лица, видать, от болтанки еле живы, но тоже балагурят, спорят, восторгаются:

— А волны-то? Красотища! Синие, седые!

— Картинны!

— Вот бы скупнуться!

Действительно, травить — травили, но в лазарет качка никого не привела. Пошел было слушок — акулы третий день за кормой наблюдаются, значит, будет покойничек на нашей посудине, покойников хищницы загодя чувствуют. Поднимались на корму, в перерывах между нахлестами шторма, но многозубых не видели и постепенно успокоились. Потекла жизнь, как будто так и надо, как по присказке: обживешься в аду и покажется он тебе раем.

Парень, что при погонах, и девчушка, которой «страшно», решили свадьбу справить. Мы с Серегой, как самые близкие родные, в смысле — ближние сосе-

ди по койкам, не одну чарку опрокинули за счастье новобрачных. После шумного свадебного пира, мотаясь из стороны в сторону, не столько от выпитого, сколько от штормовой качки, отвели молодых в заранее отзанавешенную одеялами коечную секцию. Примечательно, что гости на этом пиру не сидели за свадебным столом, а лежали в своих койках, а тамада, бывалый пахарь моря, обносил всех хмельным...

В порту на борт «Севера» первыми поднялись военные. Они увели с собой выловленных нами «рыбаков».

Ходили слухи, что «рыбаки» — диверсанты. Это они на шхуне подвезли под нос мину и сбросили ее, да сами же и подорвались на ней. Наверное, так и было.

Оксана встретила нас строго-приветливо. Чем-то напоминала она своего отца, Ивана Подниминоги. Неужто характером пошла не в него?

Глава шестая

Море! Не тебя ли искала душа? Такая даль и воздух голубой. И невдомек, к чему на скалы прибой швыряет яростно грома? Но одолеешь прибрежные волны, и снова — необъятная даль!

Ураган нагрянет — вздыбит гиганты-волны, а то закрутит смерч из звезд-медуз, а то из стаи рыб, и улетит, чтобы где-нибудь пролиться чудом-дождем над морем хлеба в степи.

Штормит, бросает рыбаков неделю кряду, сломает мачты, сеть с уловом забросит к черту на рога. Погожий день зачарует, заговорит — я для тебя, мол, берегу косяки горбуши, сельди и кеты.

Когда же буря и мгла густая, непроглядная, земля родная не устает по древним обычаям палить костры на берегу и бить в колокола.

Сейнер в рейсе. Смачно плюется встречный ветер хлопьями пены. Мачта указкой географа шарит по карте неба, чертит диагонали от звезды к звезде: там, мол, еще не бывали, здесь, мол, еще не тралили. Натужно гудит сейнер, рассекая волны, словно отвечает — дойдем, коль нужно, не бывали, так будем!

На волны легла луна дорожкою, словно спелая

рожь, золотистой такой. От дороги этой, как от самого себя, не уйти.

Капитану радиограмма: «Прощай. Не ищи. Оксана».

Вот оно, ломкое счастье. Комкаю радиограмму. Отдам после рейса. Свищет боцман — эгей, на вахте, смотри построже!

Опять радиограмма: «Сельдь. Координаты...» Передаю капитану. Прибавил сейнер ходу. Рыбой-кит ныряет в волнах. Предстоящей удачей обрадованы рыбаки. Эх, Оксана-Окся. Гляжу на капитана. Наверное, бежал по сходням, ног не чуя, навстречу ей. Робы не сбросив, мял платье, целовал. Левкои дарил и запах моря. А засыпала на груди, не будил, как ни устал бы, не касался округлых плеч и рук... Но не будет встреч...

Вот и косяк. Команда:

— Заходим. Готовьте трал...

Море кидает сейнер в пропасть и на гребень и снова в пропасть. За кормой винт то злобно уркнет, то щемящий визг выбросит, не выгребает. На рыбаках куртки, как в глянце, гремят под дробью соленых брызг. Ворот мотает тяжелую тугую сеть, надсадно, жадно. Жабры вздувает, таращит глаза — бьется сельдь последним боем.

Эх, Оксана-Окся... Сколько месяцев в году ждут рыбака? Поздравленья. Гром оркестра. Все это надо. А еще бы рыбаку — взгляд любимой, плечи ее теплые, улыбка, сына ласковое лепетанье.

Ждут и от рыбака радиограммы. Упрямо, терпеливо, долго ждут и беду, и счастье. Счастье выпадает — летним вечером пролетит, а беда придет — навечно, обратного пути у нее нет. Немыслимый жар от подушек, простыня кажется жесткой с тех пор, когда ушел он, сказав обычное — не журись, мол, где наша не пропадала! А ушел-то он, может, на всю жизнь. Зачастую снится — кровать скрипнула. И не хочется разжимать ресницы.

А Оксана? Она-то другая, что ли? Может, прорывалось в ссорах. Дура, мол, я. Связалась. Тоже мне — счастье. Одна я и одна, ночки-деньки. Гублю молодость. Но люблю. Люблю!

Нет, Окся. Любила, не забыла бы. Никуда бы не ушла. Ждала-поджидала привета, письма ли, радиограммы. Про любовь бы писали волны на камнях-валу-

нах, на прибережных песчаных отлогинах. Ветер на грудь бы кидал чешуйки-медали, о любви бы сверкали кристаллы соли, просыхая на руках.

Валов соленых глыбы крутые на сердце катятся. А луна все еще лежит дорожкою на мертвой зыби. И не уйти от нее на самом полном.

Другую Оксю найти, но надолго ли? Сумеет ли любить и ждать? Без любви, конечно, нет.

На Волгу бы вернуться капитану. Скопить деньгу. Построить дачку. Живи и не тужи, капитан. Никакой тебе качки, никаких разлук. Такому и не по любви верная найдется. А степь — чем хуже моря? Куда ни глянь — бушуют травы, молочай, татарник, ковыль, мысками выдаются рощицы и дубравы, тянутся к песчаным золотым берегам реки. Нет ясней степных далей, волжских лугов и гор. По ягоды сбежишь, по грибы. Солнце пригреет, ветер зацелует, стога заночевать заманят. К черту Тихий, или Великий, океан. Волга тоже Великая! А капитан?

Опять радиограмма. Опять — косяк. Не упускать же. Последняя путина. Рискнем, что ли? Сшибем деньгу — и до свиданья! Подари на прощанье, море, удачу. Крупной сельди серебристой подари, подари денек-другой чистый, погожий!

Не боится рыбак соленой воды, но коршуном не гонится за рублем. Выпьет — не обезножеет, но с морем шутить не может. Море не любит шуток: глуби, рифы, штормы

Когда пусто в трюме, не густо и в котле. Но перегруз — потеря остойчивости. При штиле — еще так да сяк. А если шторм — покажешь киль луне. А на берегу ждут. У меня стопка радиограмм. Механику: «Праздник, а я одна». Штурману: «Сын родился. Пять кило!» Парторгу: «От вашего жена уехала...» Опять Окся. Черт...

Команда капитана:

— Заходим. Готовьте трал!

Все у сетей. Сам капитан — у руля.

— Навались!

Капюшон сорвало ветром, брови у продольной складки на лбу. Глаза не то молдаванские, не то цыганские, сузились, словно две щелки из-под козырька. В руках капитана — планида сейнера.

В трюм серебряными слитками плюхает рыба.

Столько добра! Спасибо, море, спасибо за щедроты твои на прощанье...

Осело судно. Ватерлинии не видать. Океан вокруг давно не синий. У рыбаков бледные лица...

Радиограмма: «Высылаем кунгасы. Лишний груз сдадите на них».

В борта уже стучится шторм. Где-то на полном ходу идут суда. Вскипают буруны за винтами. Темнеет вода. Тяжелеет. К лиманам, к затонам, к гавани, из-под ветра — отстояться.

Ветер жадно лижет деки. Волны круто, обрывисто, бьют молотом в корпус, внахлест по каютам. Шлюпки — в щепы, плоты разносят по бревну, рвутся тросы. Лбами сшибаются тучи, молнии высекают гром. Шторм.

Гребни волн повиты сизым дымом, кажется, не на них, а в облаках ныряет сейнер, набитый сельдью. Судно кряхтит, дрожит при каждом ударе. Но все же таранит волны. Мачта указкой шарит по небу, но в небе ни звездочки.

Далеко, ой далеко до берегов. Там, наверное, тревога. Застал рыбаков шторм. Людям надо помочь! Ломаются мечи прожекторов, чернота — не разрубить, мгла — китайская стена. С маяков, с каждой каланчи гремят колокола, разинув медные рты.

У мола толпятся рыбачки. Вестей ждут. Холод до костей пронизывает. Кутаясь в шали, платки, капюшоны, никто не уйдет — ни жена, ни мать, ни сестра. Если даже вынесет море останки, все равно будут ждать.

Наш сейнер зарылся. Одна лишь мачта видна, словно перископ подлодки. Селедочным хвостом бьется мокрый вымпел. Капитан у штурвала. Губы сжаты до боли. В его руках судьба корабля, поставленная на дыбы, а про себя Сергей, видать, позабыл. Не каждому воли дано вот так себя забывать.

То накроет море, то приоткроет рубку. Только б борт не подставить волне. Все непослушнее, тяжелей штурвал в руках... А на берегу? Все ждут и будут ждать. Обманывая себя, не веря в гибель, будут вздрагивать при каждом шорохе у двери. Стукнет калиткой внезапный ветер, или тропку прочертит дождь, а из сердца уже глядит-поглядывает улиткой надежда. Так будет до самой смерти. От рубки до киля вздрагивает судно: мол, смерти вызов не раз еще кинем!

Командует капитан:

— Рыбу за борт!

Словно скакун по грудь в травах, сбросив тяжелые вьюки, снова в крутых волнах торит свой путь юркий сейнер.

А Оксана? Радиограмма жжет мне карман. У разбитого ты, Окся, корыта, как старуха из сказки «О рыбаке и рыбке».

Только сильным штормы нипочем и дороги к счастью открыты. Снова шарит по небу мачта указкой, от звезды до звезды диагонали чертит, здесь, мол, еще не были, здесь, мол, еще не тралили. Папахой трубу заломив, всей грудью дышит наш сейнер: какое, мол, море там, какой там залив, будем и там, и все будет!

Стихи — это сила. Но стихи — не стихия. Проза всегда остается прозой. Не повезло и повезло нам в последнюю путину. Шли при нулевом запасе плавучести, нарушив закон сохранения остойчивости судна. Центр тяжести поднимался все выше к палубе. Все понимали, к чему это приведет. Капитан радировал на базу, оттуда ответили, что к сейнеру вышли кунгасы за излишками груза. Шторма не ожидается.

— Вот тебе и «не ожидается», мать вашу так! — ругался Скалов, когда налетевший ветер валил сейнер на борт. Только чудом удавалось ликвидировать крен. Легли в дрейф. Волны накрывали суденышко с носа до кормы. Малейшая оплошность, и оно перевернется.

Обещанные кунгасы так и не подошли. Катер, который буксировал их, не мог одолеть штормовой волны. С транспортом на гаке — это почти невозможно.

— Рыбу за борт! — приказал тогда Скалов. Это было единственно правильное решение. Судно обрело остойчивость.

Спас Сергей сейнер и людей, но — увы! — сверхплановый улов на этот раз остался в океане.

— Деньги — что? — просто сказал капитан. — Вода.

Встречали нас все же с оркестром: начальство, товарищи, жены. В толпе взволнованных людей стояла Оксана. Она искала глазами Сергея, ждала. Капитан сходит на берег последним.

Я скомкал злополучную радиограмму Оксаны и выбросил за борт. Все же женщины — слабый пол.

Глава седьмая

Пришла пора покидать Камчатку. Попытаю еще раз счастья на экзаменах в институт. С палубы на палубу решил перешагнуть я, в смысле, прямо с сейнера на теплоход Петропавловск — Владивосток. У пассажирского причала, грузно осев до ватерлинии, стоял «Сахалин» — родной брат «Севера». Попасть на его борт оказалось не так-то легко. Вся площадка перед воротами порта заполнена народом, багажом, пирамидами чемоданов, плетеных корзин, ящиков, мешков, тюков. Гул стоит над всем этим, будто туча невидимых шмелей кружит, то поднимаясь — гул глуше, то опускаясь — гул-зуд, хоть уши зажимай. Десятки — что там! — сотни людей ожидало отправки на материк. Билеты давным-давно проданы.

— Черт-те знает что... — выругался Скалов. Я молчал. Сам виноват, не позаботился заранее о билете. Ждать следующего теплохода — на экзамены не успеешь.

— Обожди-ка, — бросил Скалов и прошел в порт, предъявив пропуск. Вернулся он, видать, навеселе, когда уже началась посадка. Рядом с ним матрос с щегольскими усиками.

— Знакомьсь. Погрузит вещи, самого проведет. А там — бог не выдаст, свинья не съест. В общем, «зайцем» перемахнешь три моря и океан! — Сергей хохотнул. — Где наша не пропадала. Давай здесь попрощаемся. Обними и Оксю. Ну, ну, полегче. А теперь давай со мной... — обнялись мы, расцеловались. — Выдержишь экзамен-то? — проговорил Скалов каким-то особым голосом, в нем чувствовались слезы.

— Выдержим! — посмотрел на скаловскую Оксану, она тоже сквозь слезы — и чего это они расплакались? — улыбнулась мне, и тогда я сказал твердо: — Выдержим! — только тут вспомнил, что не заглядывал в учебник, подмоченный тихоокеанской волной, и Оксана по немецкому натаскать меня не успела — дома-то мы с Серегой почти не бывали.

На теплоходе я сразу же уткнулся в учебники. В матросском кубрике, куда поместил меня знакомец Сергея, мне не мешали. Люди приходили сюда только спать.

Во Владивостоке, кинув за плечо два солдатских вещмешка с барахлом, с чемоданом в руке я смело двинулся к трапу, выглядывая среди толпы пассажиров знакомца Скалова, как еще он выпроводит меня. У трапа-то билеты проверяют. Я забеспокоился, сердчишко оказалось, как почти всегда, вещим. Ко мне протискался мой опекун, усики его топорщились.

— Дрянь дело. Контрольная проверка. Ревизоры из порта. Не наши. По всему судну шарят, в каютах и кубриках...

— Выходит, — швах — капут?

— Да... Пройдем-ка сюда. — Мы смешались с толпой, что выстроилась в очередь к трапу вдоль борта. Моряки с «Алеута» — целая дюжина китобоев, багаж свой на линьках спускают за борт прямо на мол. Там на моле какая-то копна из рогож навалена. Поднялся китобой на фальшборт, за рею подержался — и мах на рогожи, покачался, устоял. Ему-то и стали спускать свои вещи остальные алеутцы. Глядя на них, еще человека — три-четыре махнули за борт. Знакомец Скалова, дрыгнув усиком, мигнул мне на них, заметь, мол, и если сможешь...

Я, не долго думая, скок на фальшборт. Глянул, держась за рею, высоко, аж голова закружилась. Но, как говорят, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Где наша не пропадала. Кинул мешки, чемодан и сам за ними. На ногах не удержался, упал, на животе растянулся. Подняться не успел. Задышало в затылок горячим, перевернулся на спину — пес надо мной, овчарка язык высунула, облизывается. Пограничный пес, знает свое дело.

— Поднимайтесь, гражданин. И ни с места!

Оказывается, таможенный досмотр. Китобоев и меня со всеми вещами привели в комендатуру. Вот, думаю, влип. Хотя у меня ничего недозволенного к перевозке не было, хотя и заходили мы в этом рейсе в японский порт. Груз какой-то сдавали.

И в комендатуре очередь. Ну и черт с ней, пусть обыскивают, билет-то пограничники не спросят, а спросят, скажу, у товарища. В комендатуру вошел лейтенант-великан, гуднул басом:

— Сколько вас здесь, елки-копалки! Моряки, а дисциплины нету, Волга-матушка...

Я задрожал аж, услышав этот бас и знакомые при-

сказки, привычку в дело и не в дело вставлять их. Это же Васька Карасев, парень нашего двора, бывший старшина, воевали вместе. Сдерживая дрожь, я тихо так, но достаточно четко произнес:

— Здравия желаю, товарищ лейтенант!

— Антон, елки-копалки? Ты? — Карасев шагнул ко мне, склоняясь.

— Я, Вася, я... — и закусил губу, чувствую, слезы наворачиваются.

— Чувствительный, Волга-матушка, — и грозно-официально: — Пройдемте! — и направился к двери, на которой табличка: «Начальник таможни».

Без посторонних Карасев расцвел, официальность его слиняла, обнял меня, я ему головой чуть ли не в живот, опять ощущаю превосходство Васьки над собой. А он меня по спине хлопает своей ладонью-лопатой нежно так, не отпускает и молчит. Я понимаю и передразниваю в душе: «Чувствительный, Волга-матушка».

Усадил меня рядом с собой на диван:

— Ну как, где и что, просвещай! Я, видишь, таможней заведую. Контрабанду ловлю и всякое такое, вроде нацценностей, корейских, китайских. На улов не жалуюсь. Начальник надо мной — кто б ты думал? Старый мой батя Джеманкул Дженчураевич. Как, значит, самурая побили, так и остались здесь. Я школу пограничную в Москве окончил. Видишь — лейтенанта получил. А батя — подполковник, погранкомендатурой командует...

* * *

Проштудировав в дороге поездом, словно курс танкиста в сорок первом, немецкие «перфекты и плюс к вам перфекты» — прошедшее и давно прошедшее время, я снова — на переднем крае института — на экзаменационной комиссии. Может, думаю, немка вышла из строя и те две другие языкознатели. А они, представьте, как в песенке о четырех тараканах и сверчке. Открываю дверь в приемную — восседают, как и прошлый год. Что ж, атакую. В смысле, начинаю читать немецкий текст. Молчат. Перевожу. Улыбаются. Перехожу к грамматике, не дожидаясь дополнительных вопросов, как раз достались мне эти самые «плюс к вам перфекты».

— Ну и произношение у вас! — говорит француженка.

— Все нутро переворачивает! — говорит англичанка уж слишком не по-английски — «нутро».

— Вы вторично сдаете? — спрашивает немка.

— Да. Вторично, — говорю. — А произношение у меня отменное, гвардейское. Как произнесу, бывало, «Хенде хох» — и дальше разговаривать не имеет смысла. А Подниминоги «Руки в гору!» говорил — и его понимали...

— Как это «подними ноги»? — изумилась англичанка.

— Кто, а не как. Водитель наш. Механик. У Берлина схоронен...

Смешались мои экзаменаторы, англичанка спрашивает:

— Вы не любите немецкий?

— А за что мне его любить? Немцы у меня четыре года отняли, да вы за них второй год. А я любить должен?

— И все же... — твердо начинает немка, я понимаю ее — опять «двойка» и перебиваю осунувшимся голосом:

Я перешагнул через сотни немецких трупов
И споткнулся о немецкий язык...

— Это что? Стихи? — оживляется француженка.

— Не знаю, — говорю. — Я многое не знаю. Вырвалось, вот и все.

— Зер гут! — говорит немка и протягивает руку к моему зачетному листу, читает: русский — хорошо, литература — отлично, история — отлично, география — отлично, немецкий... А как вы без стипендии жить будете?

— Где наша не пропадала, — говорю и отворачиваюсь, подбородком о плечо тру, будто засвербило у меня.

— Возьмите зачетку, — говорит немка.

«Хорошо» — читаю я в графе «немецкий». И медленно, очень медленно сдаю назад. Только тут я заметил на лацкане в планках боевые награды у «немки», русской женщины Людмилы Николаевны, ленточку медали «За взятие Берлина».

Дурак, думаю, надо было б и тебе в военном явить-

ся при наградах, а ты вылупился в гражданское! Разве фронтовик фронтовика срежет? А что?

Если надо — срежет. Ведь прошлый год я был в форме и при всех регалиях...

Глава восьмая

Парни нашего двора. Они не придуманы. Живут в разных районах города. И в других городах. И за рубежом. Трудятся и остаются людьми своего двора — его величества рабочего класса.

Двор наш не узнать, белокаменный, светлооконный, многоэтажный. Древний каретник давно снесли. Стоит там, подпирая небо, целая дюжина вязов. В кронах — ни одного сухого сучочка. Жив трудяга — стрежневой корень прикорнувшего у ворот долгожителя-великана, деда нынешних вязков... Под ними — беседка, в ней — семья столиков-боровиков в окружении стульчиков-опят. Здесь любимый «пятачок» старожилов двора и молодых. Собираются и вспоминают. Обсуждают текущие дела. Спорят.

Бороздит тихоокеанские воды Сергей Скалов, охраняет границы Родины Василий Карасев, но и они появляются здесь. Не умирают в памяти и те, что не вернулись с войны.

Шумят на ветру вязы. Все глубже уходят корни. Как бы ни густели, переплетаясь ветвями, кроны — стрежневые стволы стремят их к солнцу.

Вьюга, гроза ли с перекатными громами и мечами-молниями, или солнечность во все небо — одинаково красивы своей могутностью молодые и старые вязы. От крепкого изгибистого корня взяли свое начало. Из года в год я прихожу сюда. Вспоминается многое, обо всем рассказать и жизни, наверное, не хватит. И когда не смогу я прийти сюда, поспорить со старым своим мастером Петром Петровичем, все так же будут шуметь вязы. Им шуметь веки вечные.

В дворовой беседке под вязами народу сегодня не густо. Любители домино азартно забивают «козла». Я сижу в сторонке, слушаю старого мастера Петра Петровича Петрова, того самого, что во мне «рабочую жилку» еще до войны усмотрел:

— Негоже получилось. Надоумил я ребят внести

рацпредложение. Сказано — сделано. Новинку приняли, внедрили. Ребятам, и мне в их числе, наградные выплатили. Течет время, а экономии будто кто запруду поставил, не течет, сплошь убытки...

— Это как же так? — удивляюсь.

— А вот так...

Оказывается, заказчик возвращал заводу листы стали, на которых крепились трансформаторы, не думая вовсе, что сталь эта входила в стоимость изделия. Когда сплошные листы заменили полосками под болты крепления, возврат металла снизился, снизилась и его экономия, получился перерасход. Выходит, изготовитель «экономил» за счет заказчика...

— Вот как негоже... — вздохнул Петрович. — Козлами отпущения оказались ребята-рационализаторы. Обиделись они, разумеется. И — фьють с завода. Гордые. И себе на уме. Я в партком. Главинжу и буху — выговоры. А ребята-то — в «шабашках», скверна это в отливке. Покалякал бы с ними, вернул. Рабочая-то правда восторжествовала! Ребята-то выученики мои, вязки. — Петрович посмотрел на молодые вязы над нами, а я, глядя на него, вспомнил про старый у ворот долгожитель.

Ребята нашего двора почти с детства обязательным добавком к своему имени имели прозвище-незабудку, второе, уличное имя. Так, бывало, и спрашивали: «А по уличному-то как звать?» И по этому «уличному» вспоминали и находили людей, живущих и полста лет назад, а то и все сто.

Парфена Щеглова окрестили Птицей-Девицей. Уши у парня, что ласточкины крылья, острые и торчком от головы. А Девица — за глаза круглые, с густыми ресницами, да пухлые, совсем не мужские губы.

У Юры Минца совсем необычная «незабудка» — Добрый Вечер. Юра — токарь, передовик, в почете. Радиолюбитель, мотоциклист, обо всех и о себе словоохотлив. Нарушил на мотоцикле правило, видит, милиционер навстречу, растерялся, в глазах потемнело. «Добрый вечер!» — приветствует милиционера. А дело-то было утром. Милиционер засмеялся, он и не заметил нарушения Минца. С тех пор и зовут Юру Добрый Вечер.

Виталий Рыжиков, единственный в своем роде, без «незабудки», его и так запомнишь — Рыжий.

Ребята эти совсем недавно, как говорят, под стол пешком ходили. Война их как будто за уши тянула и в отличные производственники вытянула. Я их хорошо знал — эту молодую поросль от изгибистого корня.

Я узнал у Петровича, где они «варяжничают», и вылетел туда на самолете. В дальний район забрались ребята. Уговаривать их долго не пришлось, они сразу поняли свою ошибку: не уходить надо было, а на месте добиваться правды, как это сделал Петрович.

Обратно летели мы все вместе на самолете Валентина Гусакова — еще одного парня нашего двора, который теперь работал в аэрофлоте...

* * *

Самолет на заданной высоте. Возбуждение, которое охватывает на взлете не только пассажиров, но и бывалых летунов, прошло. Люди успокоились, озадаченные каждый своим.

Тот, кто еще не летал совсем или редко поднимался в воздух, не отрывается от иллюминатора, стараясь запечатлеть воочию проплывающую под самолетом землю. При взлете «проплывающей» землю назвать никак невозможно. Она с невероятной скоростью налетает на самолет и с непостижимым ускорением мчится к хвосту и оказывается далеко внизу.

Самолет выравнивается, и земля успокаивается. Она раздается и вдаль, и вширь. В памяти всегда неизгладимо впечатление от огромности земли. Как и откуда увидеть ее такой? Из космоса она кажется голубой звездой, красивой до нереальности: без лесов-перелесков, прудов-озер, деревень и одиноких домишек.

Даже завсегдатаи самолетных салонов нет-нет да прильнут к окуляру иллюминатора. Земля не постоянная в своей красоте, каждый раз сверкает новыми гранями и суровости своей, и прелести.

«Как ты думаешь, Валя-Валентин?» — подумал я и посмотрел на командира самолета. Литая шея. Плечи бугрятся под кожанкой. Он спокойно, уверенно ведет самолет. Все хорошо. Внизу и впереди до линии видимости, которая все отступает и отступает, черными пиками щетинится лес. Мелькают редкие лысины-прогалины. Они до того малы, что на них, если и потребуется, самолета не посадишь. Только я об этом подумал, как двигатель зачихал. Я оглянулся на пассажиров. Сидят

тесным рядком вдоль салона на сиденьях-боковушках. Напротив меня — молодая женщина. От симпатично курносого носика и глаза ее — темно-карие, почти коричневые, казались почему-то курносыми. Она вроде бы беспричинно, ни на кого не глядя, но словно прислушиваясь к чему-то, часто улыбалась. Вот-вот, кажется, рассмеется счастливо, но, словно спохватившись в последний момент, женщина сглатывала улыбку, поджимая губы, и тревожно, быстро взглядывала на пассажиров: не смотрят ли на нее. Краска смущения — до бровей-полулуний.

По темным округлым пятнам на бледном лице, когда с него сходил румянец, я догадался о ее положении. Прислушивается она не к чему-то неопределенному — ворохнется у нее под сердцем или ножкой топнет в бок, и будущая мать не может сдержать улыбки.

Совсем еще молодая, девчушка просто, а вот нате вам! Летит она, слышал я на вокзале в аэропорту, к папе с мамой. У родителей, казалось ей, и легче, и проще будет. Так присоветовали. И она не побоялась отправиться даже самолетом. Что ж, доброго пути.

Вторым в ряду от кабины пилота — сухощавый, остроносый, в очках — дядя. Кроме острого носа, примечателен тем, что, я еще в буфете заметил, постоянно жует. Извлечет из вместительного кармана дождевика бутербродики, завернутые в целлофан, и трапезничает. Предлагает бутербродики и соседям, подмигивая: угощайтесь, мол, вкусно.

Очки в золотой оправе при подмигивании наперекосяк прыгают вверх и закрывают кустистую с проседью бровь. Соседи отказываются. Пассажир после этого, словно разрешение получил, — кушайте на здоровье! — развернет бутербродик, целлофан аккуратненько сомнет и в карман положит, а хлеб с колбасой, держа кончиками пальцев, начинает покусывать, жует медленно, прочувственно, словно индийский йог. Чудак какой-то, а, видать, добрый дядя, в одиночку питаться не привык, потому и угощает. А не хотите — что поделаешь? — приходится и в одиночку. Казалось, при таком аппетите дядя должен быть гораздо солиднее телом.

За остроносым в очках разместилась пожилая дородная женщина, характером, видать, от рождения спокойна, она и в самолете дремлет. Вот таким и же-

вать поминутно нужды нет, полнота и здоровье словно от воздуха, на нем и держится.

В самом дальнем углу, у завинченной входной двери самолета, занимает место последний пассажир. Лицо разгоряченное, кожаная потертая, по швам аж белая, тужурка — распахнута, выглядывает полоска наградных планок. Человек, словно легко сплевывая, нет-нет да произнесет какое-то словцо, будто мысленно продолжает спор с невидимыми супротивниками, и брови его при этом то сходятся у переносицы, то, морщиня лоб, плывут кверху, расходясь. «Удивили, мол, вот удивили! А надо бы...» — брови хмурятся, и словцо слетает, сплевывается.

В общем, каждый живет своим, каждый просто живой человек. И то, что мотор зачихал, пока никого не тревожит. И меня тоже.

Я вспомнил рассказ Валентина, Костю Колпакова, у которого мы чуть было шинель не увезли. Так, значит, он оказался летным конструктором?

— Не Колпаков ли этот попутчик в кожаной тужурке?

Мои ребята — само сосредоточение, словно предчувствуют неладное. Минц пересел ближе ко второму пилоту, вежливо попросив переместиться очкарика и беременную. Молодая женщина оказалась между Рыжиковым и Птицей-Девицей. Засмущалась, но прежнего румянца на ее лице я не заметил, испугалась, наверное. В ее положении — это вполне естественно, за двоих переживает.

Щегол изредка посматривает на соседку, помаргивая своими пышными ресницами. О чем думы, Щегол? Ты еще совсем молод, все у тебя впереди. Скоро в армию призовешься. Служба солдата еще шире раскроет твои, словно циркулем выкруженные, глаза. Кем будешь? Если заразился от Минца радиолюбительством, возможно, и в радисты пойдешь. Радио на вооружении всех родов войск, считай, всеохватная специальность: на самолете — радио, на подлодке — радио, на танке — радио, артиллерия и все прочее держится на радиосвязи, радиоуправлении. С какими словами не совокупляется понятие радио?

Рыжиков уставился на спящую дородную, любопытствует: в чем гвоздь характера. Спокойствие и беспечность — одного поля ягоды? Свойства избранных

или привычка? Не первый раз летаю, думает Рыжиков, а каждый раз, как впервые, — волнуюсь, как ни пробую отвлечься на постороннее, ну хотя бы на вас, товарищ дородная?

А что? Бывают такие сони. Вот мы с Птицей-Девицей храпанули на сеновале в колхозе и подъема не слышали. Не завопи бабка у загоревшейся избы — и мы могли бы изжариться, не проснувшись. Сон — сила неодолимая, если, конечно, на душе спокой. Думает Виталий Рыжиков и глаз с дородной тети не сводит, словно пытается свои мысли передать женщине по линии телепатии, хоть малость забеспокоить товарища, да и самому отвлечение.

Минц Добрый Вечер о чем-то со вторым пилотом переговаривается. То Минц припадает к плечу летчика и что-то крикнет ему на ухо, то пилот к Минцу. За рокотом мотора голосов не слыхать. Вот ребята и целуют друг друга в ушные мочки. Посмотреть со стороны — смехота, а по глазам можно посчитать — серьезный у них, деловой разговор. Вот летчик показывает Минцу на что-то. Минц кивает — знаю, мол. Знаком.

И в действительности получается, что Добрый Вечер не только «информатор» обо всем и вся, как называла его Лиля, но и мастер на все руки — и токарь, и пекарь, врач и аптекарь. О других окружающих друзьях-товарищах покалякать охоч и про свои достоинства, как бы между прочим, вскользь, расскажет. Мало ему близнаходящихся собеседников, изобрел рацию, с заокеанскими ведет беседы. А вот не сказал мне, зачем на заводскую трубу верхолазил. Не ради своей модернизированной рации рисковал Минц, а ради югославской девочки. С Францем связался, сообщение передал и обо всем прочем поговорил. Кажется, вовсе не думал, что сорваться может и расшибиться насмерть. Недаром народ присказки слагает: береженого бог бережет. Легким вывихом отделался Минц.

Нагнулся второй пилот, руку куда-то к борту потянул, плечо его сначала медленно, а потом все быстрее заходило вперед-назад, вперед. Знаю, рычаг помпы там, топливной помпы, это им второй пилот работает. Минц не оборачивается, весь — внимание к этому самому рычагу.

«Что случилось?» — мысленно спрашиваю я Вален-

тина, даже губами шевелю. Сердцем чувствую — случилось что-то, важное происходит, а я не в курсе. Самое страшное — неведенье. А может быть, это только для меня? Или я лишь так считаю?

Говорят — умер легко. Шел, упал и не поднялся. Или лег в постель, заснул и не проснулся. А другому — смертные муки-боли, метания, холод и жар. Знаешь, что умрешь, а не умираешь, вроде бы живым на огне горишь, а когда сгоришь?

И все же по-темному и мгновения прожить не хочет человек и до последнего надежду имеет, не ждет, а борьбой живет и, бывает, невозможное случается, побеждает запророченную ему разными знатоками участь. Нет, лучше знать все.

— Валя-Валёк, что там?

Валентин не мог мне ответить, он не слышал меня. Я видел его только в спину: сильную шею да бугры мышц под кожанкой. Мотор чихал все чаще, а вот и перебои.

* * *

Первым забеспокоился пассажир в кожаной тужурке. Я поймал его настораживающийся взгляд, брови сошлись на переносице, но слово не слетело.

Человек в тужурке и в полете все еще спорил, потому и выглядел таким разгоряченным. Сейчас, когда начались перебои в моторе, он, видимо, сразу же забыл о своем личном и посмотрел на меня. Взгляд его успокаивал, ничего, мол, где наша не пропадала. Колпаков? Нет, видать, другой. Ровесник. В годах.

Остроносый в очках перестал жевать, сунул недоеденный бутерброд в карман дождевика. Будущая мать прижала обе руки с растопыренными пальцами к груди, живот от этого округло обозначился.

Влюбленные, что рядом со мной, — к хвосту, девушка и парень с рюкзаками у ног, они поначалу никого, кроме себя, не замечали и сидели, взявшись за руки — ладошка в ладошку, — теперь смотрели на кабину пилота.

Только дородная женщина продолжала дремать, оставаясь в счастливом неведении.

Я молча переводил взгляд с одного пассажира на другого. Самолет терял высоту. Я понимал — в лесу благополучной посадки не жди.

И за каким чертом вздумалось этой курносоглазой лететь рожать к папе и маме? Наваждение какое-то. И сама, и ребенка...

Первая же мысль о ребятах — Минце, Рыжикове, Щегле. И зачем сорвал их с места? Пусть бы себе «шабашили», прожили бы еще всю сотню лет и ума со временем набрались. Ведь в жизни ничего не дается даром. А ты навязался им со своими понятиями. Может быть, ты и вправду «железобетонный», как именовали тебя в институте. Суешь свой нос, куда тебя не просят, а в итоге и людям беда, и тебе самому. Все бы чего-то искал, добивался, дрался и ходил со ссадинами-вмятинами да синяками, не на лице, так на сердце. К чему все это, не семнадцать тебе, не фронт здесь и врагов никаких нет, хоть у статистиков справку наводи.

«Шабашники» — нестоящее явление, не смертоносное. А вот ребятам, взбаламученным тобой, кажется, уже не жить, а могли бы, ребята-то с огоньком в крови. Работали бы себе, ума набирались.

Я перевел взгляд на остроносого в очках, чтобы только не смотреть на беременную. А этот откуда и куда? Мало ему в одной земной точке бутербродов? Да их где угодно, не то что в Самаре, в тридцать втором! — хоть подавись, жуй и живи до ста лет и больше...

А эти влюбленные? Откуда они? Должно быть, втемяшили себе в голову — рюкзаки за плечи и — в необычное свадебное путешествие по туристским тропам. Медовый месяц наедине с природой, от людей подальше, дабы ложкой дегтя меда не изгадить. Уж больно охочи до оригинальности. А ради чего? Чтобы потом всю жизнь помнить? Вот и попомните.

Первая любовь, та еще, довоенная, была ли она у меня? Ведь девушка-то вышла замуж, не любила, выходит? Почему с грустью да еще в такие мгновения вспоминаешь о ней? И семьей обзавестись не можешь? Значит, та, первая, была и есть настоящая любовь. Только через годы проясняется...

Встречал и влюблялся. И вроде бы любил. Только ненадолго хватало этой любви. Ошибался. Да и та, первая, ошиблась. Не получилось у нее. Развелась. Одна теперь. Пойди к ней, может, и простила бы твои прегрешения. Но ты не можешь ей простить. И не

простишь. А почему? Есть что-то в нас, в крови, что ли, что разуму не поддается. Отталкивает, и все. Пусть остается одинокой, раньше думать надо было... «Думать», а не любить? Кольцо...

Говорят, если бы не война, все было бы по-другому, хорошо. А может, не война, не обстоятельства виной, а мы сами — человеки со своими чувствами и предубежденностью: в мире — ты и я, ты мне принадлежишь, а я тебе, и никому более. Если же эта цепь — ты мне, я — тебе — где-то нарушилась, хотя бы в одном звене, — не соединить ее, не сковать, не сварить, вот и вся любовь вышла. Век проживи, может, и поймешь так ли это, нет ли. Смолоду любовь береги — и честь сбережешь.

Я посмотрел на влюбленных. Зря я на них. Никакие они не туристы. Пора не та. Все туристы дома. Дело какое-то у ребят. И остроносый в очках тоже не так просто на небесную дорогу вышел. Да и дородную тетю, от века спокойную, что-то забеспокоило — похудеть не забоялась — полетела. И курносоглазой приспичило не просто — в спокойствии оно, конечно, хоть родить, хоть умирать легче...

Пассажир в тужурке зачем-то посмотрел на закрытую намертво, на винты, дверь и усмехнулся. Наверное, о парашюте подумал. Был бы парашют, необыкновенный, спасательный на всех!

Кто он, этот, в тужурке? Бывший летчик? Танкист? Десантник? Во всяком случае — солдат. Не паникует. Внешне держать себя умеет. И это хорошо.

Человек в кожанке улыбнулся. Вот, черт, умеет читать мысли на расстоянии. Наверное, о чем-нибудь веселом подумал. Я ответил ему улыбкой: «Где наша не пропадала!»

Когда на смерть идут — поют,
А перед этим можно плакать.

Прав поэт. Плакать нам уже поздно. Но и петь что-то не хочется...

Валентин потянул штурвал на себя, стараясь хоть немного приподнять нос самолета. Двигатель, тяжелым снарядом на излете, рявкнул и затих.

Сразу стало слышно, как буреломит воздух, обте-

кая фюзеляж. Черные пики ощетинившегося леса, с лысинами-прогалинами в пятачок, заполнили смотровое стекло пилота.

Потерял заданную скорость, не удержать и высоту. Идти на посадку? Самый удачливый полет венчает приземление. Но куда приземляться? В лес? На эти пики? Явная гибель...

Просмотрели что-то технари перед полетом. Просмотрели. Земля тянет к себе. Не оторвешься, как ни рви штурвал. Все сильнее сила земли. Знают и пилоты, и пассажиры, воочию видят, что ждет их, если не свершится чуда. Паники нет, она только может приблизить конец. И это понятно должно быть каждому.

Ну что же, два раза не умирают. Жизнь не песня, дважды не споешь, хоть тресни, — значит, пой до конца...

* * *

В бою, когда до встречи с вражеской машиной остаются короткие отрезки мгновений, тобой овладевает привычное и много раз проверенное предельное напряжение воли, четко работает мысль. Необыкновенная собранность, способность реакции на всякую неожиданность — решают исход боя.

Валентин Гусаков хотел смотреть на жизнь крупно, с высоты. Это чувство сделало его пилотом, а будучи пилотом, он овладел и этим свойством. Может, первым доказательством тому был его «несхемный» бой с «рамой». Ведь по схеме, прочерченной штабистами, он не мог увернуться от пулеметов «фоккера». А он не только «увернулся», он сбил этого «фоккера».

Бой продолжается. Полет не окончен. Валентин не потерял надежды спасти самолет, а главное — людей. Он что-то приказывает своему помощнику. А что? Человек не знает даже своего сердца. Когда откажет оно и почему? Покалывало? Билось воробьем в силках? Замирало? Ничего этого вроде не было. А вот раз — и готово. Жизнь закончена, какой бы она ни была.

Собственное сердце... А как надо любить мотор, машину в целом, чтобы в критическую минуту понять ее боль и обезвредить. Догадки, как молнии в грозовом небе...

Может, в двигатель не поступает горючее? Стрелка показывает — баки наполнены. Давление масла —

нормальное. Горючка? Все, наверное, в ней. Где-нибудь забился провод. Какой-то клочок ваты или пакли от небрежно набитого сальника и — амба. Механическая помпа не осиливает, не может пробить.

С ручной далеко не улетишь, но помочь она может. Ведь иногда стоит подтолкнуть плечом буксующий грузовик — и он, сердечный, глядишь, пошел.

Второй пилот уже давно гоняет вперед-назад рычаг помпы. Взмок парень, но продолжает «доить». Его сменяет Минц, — разве только удар о землю остановит их.

Самолет, планируя, выкруживает спираль за спиралью. Хорошо, когда эта спираль упруго ввертывается в небо, а вот если в землю...

Каждую пику дерева черного осеннего леса можно различить. Колеса шасси чиркнули по хвойным мягким верхушкам. Валентину удалось отвернуть в прогалину. Он толкнул ручку от себя — машина, набирая скорость, ринулись вниз, к земле. Сосны, выскакивая стволом из-за ствола, понеслись навстречу. В последний момент, выиграв в падении скорость, пилот рванул штурвал на себя. Самолет «перепрыгнул» гриву леса и по кривой снова пошел на снижение. Опять шасси зачиркало по хвойным верхам, и тут мотор чихнул словно простуженный. Минц еще ожесточеннее заработал рычагом помпы. Раз-два, раз-два, раз... р-аз...

Я отрываю взгляд от Минца. Лицо беременной женщины искажает судорожная страшная гримаса. Неузнаваемо-прекрасная. Обхватив дрожащими руками живот, она сползла до полу, носки зашнурованных желтых сапожек задирались кверху, вот-вот коснутся моих ног.

Птица-Девица с одной стороны, а Рыжиков с другой, полуобняв женщину, поддерживают.

«Что с ней? — сквозит мысль. — Обморок?» Пытаюсь подняться. Самолет кренится на борт, и я падаю на спину, а беременная оказывается лежащей вдоль прохода. Лицо ее продолжает непроизвольно корчиться, глаза закатываются, белым поражают белки.

«Схватки!» — догадываюсь я. Рыжиков уже сидит на полу, голова женщины у него на коленях. Со спины под мышки ей Виталий просунул руки и не дает, бедной, метаться. Щегол же, сбросив с себя новенький синего штапеля плащ и укрыв им женщину до подбород-

ка, засучивает рукава и что-то там делает, стоя на коленях между откинутых в стороны ног беременной.

«Что он там делает? Что?» Я оглядываю пассажиров, словно жду от них ответа. Глаза двоих влюбленных округлились, как у Птицы-Девицы, они еще крепче вцепились друг в друга руками, судорожно перебирая пальцами. Словно не женщина, а они испытывали родовые муки. Пассажир в очках застыл с открытым ртом, так и не дожевав очередного бутербродика. Человек в кожаной тужурке, улыбаясь, стоит позади Щегла и зачем-то похлопывает его по плечу, будто подбадривает и успокаивает. Толстуха, склонив на плечо голову со сползшей на глаза шляпой, так же безмятежно спит.

— Раз-два, раз-два, раз, раз, еще раз, — продолжает гонять помпу Добрый Вечер, а глазами так и ест Птицу-Девицу, словно кричит ему: ну как там? Да скорее же!

— Нож! — угадываю я по губам крик Щегла. Выхватываю свой складняк, раскрываю лезвие, протягиваю и теперь окончательно понимаю: роды, преждевременные, от страха, должно быть. Человек в тужурке хватает домашнюю сумку беременной, раскрывает ее. В руки Птицы-Девицы летят пеленки, целая простыня... Запаслась, видать, сердешная!

— Раз-два, раз-два, раз, раз, еще раз, — гоняет рычаг помпы взад-вперед Минц Добрый Вечер, с лица его градинами катится пот.

Крик новорожденного, словно для того, чтобы все услышали его, подхватил мотор. Человек в кожаной тужурке принимает из рук Щегла младенца и кутает в простыню, умело, будто всю жизнь занимался этим.

— Мальчик! — говорит Птица-Девица и устало опускается на свое сиденье. Молодая мать уже пришла в себя, оглядывается по сторонам, ищет взглядом. Человек в тужурке показывает ей белый сверток. Женщина улыбается. Бледная, в испаринах на лбу, с разметавшимися волосами, она кажется еще прекрасней, чем до родов!

Валентин потянул штурвал и дал полный газ. Мотор заревел дико радостно. Самолет рывком оторвался от черных верхушек леса и медленно пополз в небо. Буреломный ветер за фюзеляжем стал стихать. Земля, раздаваясь вдаль и вширь, успокоилась и снова пора-

жала взгляд своей огромностью. Впервые за эти трудные минуты полета Валентин взглянул на меня.

Я подмигнул ему обоими глазами. Порядок.

* * *

Шумят на ветру молодые вязы, да и как им не шуметь, не стремить свои кроны к солнцу, от вечного корня они, его величества рабочего класса.

Содержание

Анатолий Федорович Леднев

ПАРНИ НАШЕГО ДВОРА
Роман

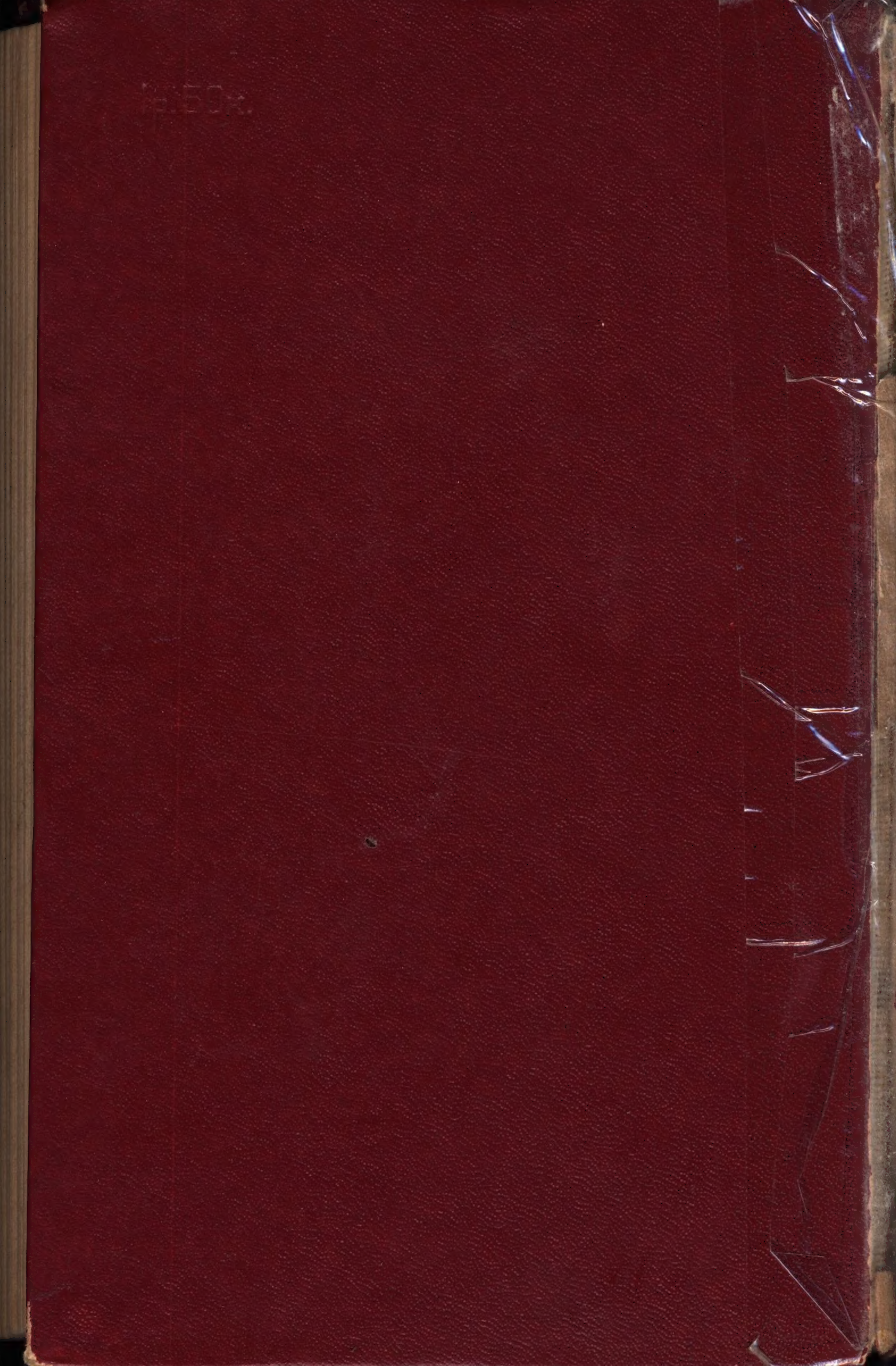
Редактор **С. Лисицкий**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **Л. Киселева**
Корректоры **З. Князькова, И. Николаева**

ИБ № 1004

Сдано в набор 20.01.78. Подписано к печати 6.06.78. А09385. Формат 84×108[1]/32. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 19,49. Тираж 75 000 экз. Заказ № 682. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Рязанская областная типография
390012, Рязань, Новая, 69/12



Анатолий Леднев
Парни нашего двора